

Б. Ф. Егоров



ОТ ХОМЯКОВА ДО ЛОТМАНА



STUDIA PHILOLOGICA

Б. Ф. Егоров

ОТ ХОМЯКОВА
ДО ЛОТМАНА



ЯЗЫКИ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ
МОСКВА 2003

ББК 83.3(2Рос=Рус)
Е 30

Издание осуществлено при поддержке
Российского гуманитарного научного фонда
(РГНФ)
проект 02-04-16096

Егоров Б. Ф.

Е 30 От Хомякова до Лотмана – М.: Языки славянской культуры,
2003. – 368 с. – (Studia philologica).

ISSN 1726-135X
ISBN 5-94457-135-7

В книгу известного литературоведа и культуролога проф. Б. Ф. Егорова вошли 23 научно-популярные статьи, в основном из областей, которыми автор много лет занимался. Главные из них: славянофилы и своеобразие русской культуры и национального характера. Свообразие рассматривается в сравнении с западноевропейскими и японскими культурными чертами. Такие же сопоставления в сходстве и отличии затем проводятся применительно к отдельным личностям – в условно названных пяти «плутарховых парах» писателей и мыслителей, от «В. Боткин и А. Герцен» до «М. Бахтин и Ю. Лотман». Бахтинская тема естественно переходит в группу статей о творчестве этого выдающегося философа и литературоведа, а вслед за последней статьей этой группы «Невельский кружок» так же естественно следует раздел «Литературное краеведение» со статьями о В. Жуковском, Н. Огареве, Ап. Григорьеве. Из новейших разысканий Б. Ф. Егорова составлен раздел «Православная церковь и литература», включающий статью «Православные мыслители о Пушкине» и очерки об А. М. Бухареве и А. М. Иванцове-Платонове.

83.3

Outside Russia, apart from the Publishing House itself (fax: 095 246-20-20 c/o M153, E-mail: koshelev.ad@mtu-net.ru), the Danish bookseller G•E•C GAD (fax: 45 86 20 9102, E-mail: slavic@gad.dk) has exclusive rights for sales on this book.

Право на продажу этой книги за пределами России, кроме издательства «Языки славянской культуры», имеет только датская книготорговая фирма G•E•C GAD.

ISBN 5-94457-135-7



9 785944 571359

© Б. Ф. Егоров, 2003

© Ю. С. Саевич. Оформление серии, 2003

ОГЛАВЛЕНИЕ

От автора	7
---------------------	---

Национальный характер

Русский характер.	11
Национальное своеобразие русской критики	35
О сложностях межнациональных отношений	54

Славянофилы

Славянофильство	67
Славянофильство, западничество и культурология	76
О национализме и панславизме славянофилов	89
А. С. Хомяков — литературный критик и публицист.	102
Некоторые особенности русских славянофилов на фоне японского традиционализма	143

Православная церковь и литература

Православные мыслители и литературные критики XIX века о Пушкине	149
Бухарев и русская интеллигенция	156
А. М. Иванцов-Платонов — ученый, публицист, литературный критик.	161

«Плутарховы пары»

В. П. Боткин и А. И. Герцен	173
Н. А. Добролюбов и Н. Г. Чернышевский	178
Булгаков и Гоголь (Тема борьбы со злом)	203
Общее и индивидуальное: братья Бахтины	210
М. Бахтин и Ю. Лотман.	216

Вокруг Бахтина

Слово о М. М. Бахтине	237
Диалогизм М. М. Бахтина на фоне научной мысли 1920-х годов	240
Невельский кружок Бахтина и типология кружков . . .	250

Литературное краеведение

Жуковский и Тарту	255
Н. П. Огарев и Нижний Новгород	268
Ап. Григорьев в Петербурге	324
Ап. Григорьев в Оренбурге	340
Литература	352
Библиографический список первоначальных публикаций	353
Именной указатель	355

ОТ АВТОРА

В эту книгу входят статьи, охватывающие почти полвека моей деятельности литературоведа и культуролога и характеризующие разные этапы и склонности. В середине прошедшего столетия я на пути к докторской диссертации о русской литературной критике 1840-х — 1860-х гг. основательно начал заниматься славянофилами и попутно, находясь в эстонском Тарту и часто бывая в Горьком-Нижем Новгороде, разрабатывал краеведческие темы, с юности меня привлекавшие. От славянофилов я позднее переходил ко все более заманивавшей проблематике национального характера. Неожиданное личное знакомство с М. М. Бахтиным подтолкнуло всерьез изучать его наследие. А постоянный интерес к сопоставлениям по сходству и по контрасту всегда тянул меня к «плутарховым» парам, к сравнительным характеристикам наших выдающихся предков и современников. В советское время даже общим славянофильским мировоззрением было чрезвычайно трудно заниматься под прессом идеологической цензуры, а уж чисто православными мыслителями и их проблемами — просто невозможно. Поэтому, как только забрезжила перестроечная свобода, я смог радостно реализовать давно накапливавшиеся богословские материалы вокруг славянофильства.

Подчеркну, что статьи публикуются без модернизации и добавлений. За последние десятилетия и даже годы появилось так много ценных книг и статей по моим темам, что, скажем, энциклопедическая статья «Славянофильство» должна бы расшириться по крайней мере в два раза. Я же решил представить читателю именно те тексты, которые были напечатаны в соответствующее время. Пусть читатель увидит исторические прикрепенности и исторические возможности наших трудов ушедших лет, пусть увидит, как мы старались в весьма лживое время быть максимально правдивыми. Я тогда далеко не все мог сказать, что хотел, но за то, что сказано, мне не стыдно.

Б. Егоров

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР

РУССКИЙ ХАРАКТЕР

Сейчас принято говорить — «менталитет», но я остановился на традиционном названии, оно как-то лучше сопрягается с прилагательным «русский». Тема, нужная для данной книги, очень сложна и многоаспектна. Уже неоднократно заявлялось, что Россия настолько обширна и разнообразна по своим географическим, социальным и этническим параметрам, что чрезвычайно трудно находить для всех русских общие знаменатели. Архангельский помор и терский казак, подмосковный крестьянин и сибирский охотник — весьма не похожие и по облику, и по характеру люди. Скажем, суровые условия Севера требовали для выживания несравненно большей работоспособности и смекалки, чем благодатный солнечный Юг (полная аналогия на Западе, таковы же отличия типичного скандинава или англичанина от типичного итальянца). Не говорю уже о сословных различиях, весьма существенных для XIX века. Нельзя сбрасывать со счетов и индивидуальные психологические различия, не связанные ни с социальными, ни с региональными признаками: одни все свои радости и беды держат при себе, другие широко о них оповещают; одни постоянно плачутся, винят жизнь за недоданное, а другие радуются наличному, благодарят Бога за счастье...

Ап. Григорьев, много думавший о сути русского характера, пришел в конце концов к убеждению, высказывая его в ряде статей и писем, о **двойственности** нашего менталитета: есть у нас и смиренные, и «хищные», покорные семейному началу и бунтари против него, в былинах сосуществуют образы «святого» Ильи Муромца и «ёрника» Чурилы Пленковича.

Наверное, какие бы черты мы ни привлекали к анализу, всегда найдутся русские люди с подобными свойствами, как найдутся и с противоположными. Чтобы все же получить представление о национальном характере, нужно: во-первых, помнить не о стопроцентном наполнении народной жизни какими-то признаками, а лишь о заметном преобладании их, а, во-вторых, постараться сузить объекты регионально и сословно до относи-

тельно однородной массы. Мне представляется, что наиболее «густо» национальный характер воплощает крестьянство центральных и относительно южных («центрально-черноземных») губерний страны, т. е., главным образом, крепостное крестьянство. Ап. Григорьев считал, что задавленное крепостничеством крестьянство не может служить эталоном национального характера, для этого следует привлекать свободное купечество (а также промышленников). Но, во-первых, купцы и промышленники — лишь тонкий слой над народной массой, во-вторых, они сохранили многие крестьянские черты и обычаи, в-третьих, многие их «свободные» черты в зародышевых формах наличествовали и в крестьянстве.

Наиболее сильное идеологическое, «ментальное» воздействие на русский народ в течение многих веков оказывали четыре фактора: православная религия, крепостное право, обширное монархическое государство-империя, «деревенскость», т. е. малое количество городов (теснота, обилие городов в Западной Европе, интенсивность информации, развитие торговли и промышленности — все это создавало совсем другой менталитет западных народов).

Религия внедряла в народное сознание добротные общехристианские идеалы, но были и дополнительные, так сказать, византийско-православные принципы, которые весьма существенно определяли народное мироощущение. Прежде всего это неукоснительная правота **только одной** позиции, одной идеи, одной церкви. Истинная церковь — одна, все остальное враждебное, чужое: не только, скажем, мусульманство или иудаизм, но и другие конфессии христианства, любое сектантство, любая ересь (слово «ересь» до наших дней дошло как синоним чепухи, бессмыслицы, ошибочности).

Ю. М. Лотман и Б. А. Успенский показали в своих работах коренное отличие православной картины потустороннего мира от католического, где существует промежуточная стадия между раем и адом — чистилище; для православия же нет никаких третьих, переходных зон: или рай, или ад! Соответственно и в земном мире деление происходит по армейскому принципу: «На первый-второй рассчитайсь!» — или свое, или чужое. Чужие религии, чужие нации, чужие одежды... «Немец» ведь название более широкое, чем житель Германии, — это вообще чужой, немой, **не мой**, не умеющий говорить по-моему (такие средневековые представления докатились до наших дней; рассказ студентов-венгров, живу-

щих в украинском Закарпатье и едущих домой из Москвы: в купе с ними — какой-то гражданин, который первый час выдержал венгерскую речь, а потом раздраженно обратился к соседям: «Вы что, по-человечески не умеете говорить?»).

Следующее звено этой цепи — решительная борьба со всеми враждебными идеями и принципами, выкорчевывание любых отклонений в своей среде и восприятие любого «чужого» человека как опасного агитатора за совсем не наши ценности.

Враждебность к чужому соседствовала с сильным традиционализмом: все новое, даже в минимальных дозах, воспринималось в штыки, как идущее от лукавого. Иными словами, в народном сознании воспитывалось явное отчуждение от новаторства и творчества. Настоящая трагедия возникла в связи с реформами патриарха Никона в середине XVII века: суровый и фанатичный Никон считал, что именно он знает истину в последней инстанции и потому смело проводил реформирование (он-то считал, что очищает от искажений!) церковных обрядов; но многие верующие люди остались на старых позициях и готовы были идти на казнь или даже на самоожжение, чтобы не поддаться дьявольским новшествам; реформы Никона, однако, были признаны официально, тоже стали традицией — и в последующих веках велась изнурительная борьба двух традиций, старообрядческой и никонианской, каждая из которых истолковывалась сторонниками как единственно истинная.

Соборный, именно собирающий паству характер православной церкви вместе с патриархальным¹ укладом русской деревни воспитывал **общинность**: каждая деревня представляла собой общину, где даже наряду с помещичьей землей почти всегда была земля своя, крестьянская, и она принадлежала не личностям и не семьям, а всей общине; общинно арендовали и поме-

¹ Патриархальность — характерная черта русской народной жизни, начавшая разрушаться лишь в XIX веке: ее отличала четкая иерархия отношений в большой семье (с женатыми детьми, обилием внуков), возглавляемой отцом, и общность материальной жизни в этой семье и т. д. Были мнения, что и черты матриархата до нового времени сохранялись в России. Недавно Е. Данилова полушутя-полусерьезно доказывала, что Пушкин в поэмах и сказках изобразил отечественный матриархат: «Русский мир у Пушкина — это прежде всего женский мир, женские счеты, женские страсти» (статья «Татьяна — это я...» — Общая газета. 1995. № 42. С. 9), а русские мужчины у классика — слабые, пассивные и даже не очень умные... Ну и ну!

щичью землю, и луга для покосов. Земля принадлежала общине, миру, да и сами крестьяне принадлежали не только помещику, но и миру (сейчас мы оба мира, и «покой», и «общность людей», пишем одинаково, а до 1918 г., до языковой реформы мир-покой писался через и «восьмеричное», т. е. «и», а мир-общность через и «десятеричное», т. е. «і»; в названии толстовского романа присутствовал «мир» как антипод войны, а Маяковский назвал свою поэму нарочито обобщенно: «Война и мир»).

Общинность развивала солидарность, взаимопомощь, христианскую доброту к ближнему. Впрочем, не только к ближнему. Даже к «чужому», если он — странник, бедняк, нищий. В XIX веке, а не только в средневековье, бедные крестьяне, у которых к зиме или к весне уже кончился хлеб (и вообще какая бы то ни было еда), шли «в кусочки». т. е. шли побираться, просить кусочки хлеба, а в относительно зажиточных домах кусочки заранее припасали (иногда даже специально нарезали). Мир — и вообще патриархальный и в частности русский деревенский — очень **добрый**. Уже замечено, что и в языке эта доброта нашла свое отражение. В западноевропейских языках просьба к человеку выражается оборотом «если вам нравится» или «для вашего удовольствия», а в русском, если не считать нейтрального «пожалуйста», — обращением к доброте просимого: «будьте так добры».

Суровые условия русского климата тоже приучали к солидарности: только взаимопомощью можно было выжить. Не в этой ли общинной «помочи» коренится замечательная черта русской интеллигенции — отдача себя другим?

У людей глубокой религиозности добро сопрягалось с **любовью**. Архимандрит А. М. Бухарев в своей христологии главным стержнем делал любовь. К сходным идеям пришел в 1870-х гг. Достоевский: «А приняв закон любви, придете к Христу же. Вот это-то и будет, может быть, второе пришествие Христово <...> все это случится, или по крайней мере начнет случаться при нас. Как падут Бисмарки (его автор считал символом «железа и крови» — Б. Е.). Все застанется врасплох. Россия. Православие. <...> Ждать смирения, то есть победить зло красотой моей любви и строгого образа воздержания и управления собою» (Достоевский, 24, 165). Но реально христианской любовью были пронизаны лишь избранные, соборность же и доброта — явления в народе значительно более массовые.

Общинно-общественный уклад русской жизни, усиленный христианскими правилами, породил представление о превосходстве целого-общего над индивидуальным-частным. Как всегда, и эта сторона жизни и мировоззрения нашла отражение в нашем языке. Не «я хочу», а «мне хочется», не «мое имя такое-то», а «меня зовут так-то». Вроде бы какая-то внешняя, чуть ли не божественная сила управляет нашей личностью. По-русски очень коряво и слишком хвастливо звучит «я и мой приятель», скорее скажем: «мы с приятелем». По-английски это выглядит, если буквально перевести, нелепо: вас поймут так, что какая-то группа людей вместе с вами, не меньше двух человек, общается с приятелем; правильно по-английски надо сказать именно «приятель и я». А по-русски не очень-то прилично «якать», потому и образовался не совсем точный оборот (в тюркских языках тоже затушевывается «яканье»).

Наше «мы» поэтому часто носит какой-то размытый, неясный характер: то ли двое нас, то ли пятеро, то ли это — целое общество. По-итальянски, если группа людей разговаривает с одним человеком, то существуют две формы местоимения: «мы без вас» и «мы, включая вас». А по-русски в любом случае «мы»². Когда царский манифест начинался с «мы», то не очень ведь понятно, кто имеется в виду: император вел речь от имени всей России или же он себя представлял во множественном числе. Скорее — последнее (далее ведь следовало имя царя), но это тоже и обобщение, и некоторое стирание границ.

С другой стороны, западные языки более вежливы. Как при проходе через дверь джентльмен пропустит собеседника вперед, так и в языке англичанин не скажет «я и приятель», а обязательно — «приятель и я»; в ответ на телефонный вопрос: «Мож-

² На «размытости» русского «мы» построен замечательный диалог между инженером Бобыниным, эзком, и сталинским министром госбезопасности Абакумовым в романе А. И. Солженицына «В круге первом» (1968). В ответ на хмурый вопрос министра, представляет ли свободно ведущий себя в министерском кабинете эзк, с кем он говорит, тот прямо отвечает: «кто-нибудь вроде маршала Геринга?» — а на второй вопрос Абакумова: «Не видите между нами разницы?» — Бобынин каламбурно отвечает: «Между вами? Или между нами? <...> Между нами отлично вижу: я вам нужен, а вы мне нет» (глава 18). Не знаю, как этот каламбур перевести по-итальянски: там уже первое «между нами» будет понятно как имеющее в виду лишь министра и Бобынина.

но позвать Ивана Ивановича?» — русский ответит «Это я» или «Я у телефона», а англичанин — «This is he», т. е. «Это он». Вежливое третье лицо широко распространено у немцев; при обращении на «вы» немец употребляет не второе, а третье лицо множественного числа: не «вы», а «они»; англичане же настолько вежливы, что изгнали в процессе многовекового развития языка форму второго лица единственного числа, у них нет «ты», а есть только «вы» — даже при обращении к ребенку или кошке.

Еще одно лингвистическое сопоставление, показывающее, что при всей вежливости английский язык очень жалуется личности, его «самость»: в русском языке нет точного аналога английского понятия *self-sufficiency*, что означает, во-первых, самодостаточность, т. е. возможность обеспечивать себя, не полагаться на внешние источники, а во-вторых, большую уверенность в своих способностях или в своем достоинстве. В русском есть понятие «самостоятельность», но оно, общее с «государственной независимостью», равно относится и к человеку, и к обществу, а в английском *self-sufficiency* применимо только к личности, для государства есть свои термины: *autonomy*, *self-rule*, *self-government* и т. п. Таких личностных акцентов в западных языках немало.

Общинность не только «принижала» человека, но она в какой-то степени ставила под контроль его личную жизнь: он не мог утаить от соседей безнравственные поступки, скажем, тайно пьянствовать или развратничать. От глубокого средневековья в русской деревне шел обычай выносить напоказ простыню новобрачных после их первой ночи — важно было не только своей семье, но и всем соседям доказать невинность невесты.

С другой стороны, распространение стыда на довольно обширные сферы человеческого поведения (стыдливость — один из существенных элементов патриархального бытия) закрывало, даже заковывало внешнее проявление многих эмоций: например, неприлично было открыто, на всеобщее обозрение демонстрировать свои интимные чувства, показывать, скажем, сильную любовь или сильную ненависть; женщинам даже открыто смеяться было неприлично, нужно было прикрывать рот рукой или платочком.

Народные песни о любви к родине, к своей местности, к матери неизвестны: такие высокие чувства прятались в глубине души, а не выворачивались наизнанку. Это сейчас страстный певец может кричать, обращаясь к тысячной или даже милли-

онной аудитории, о своей любви к России или к родимой матушке, в народном быту это было совершенно невозможно. И песни о любви к зазнобушке сдержанны — даже вошедшие в народную культуру городские, профессионально сочиненные песни вроде «Когда я на почте служил ямщиком...» (это народная переделка стихотворения Л. Н. Трефолева, в свою очередь, переведенного с польского оригинала В. Сырокомли).

Скромность и стеснительность тесно связаны с нравственным аскетизмом, который пропагандировался византийско-православной церковью. Идеалом объявлялась монашеская жизнь, да и в мирском быту прославлялось воздержание, довольство малым, сведение до минимума материальных, плотских интересов и желаний. Вместе с общинностью создавался идеал своеобразного «уравнительного коммунизма»: бедность более ценностна, чем богатство, богатым быть — оказывалось чуть ли не постыдным; нигде прямо не говорилось, что хорошо трудиться и хорошо зарабатывать — это плохо, но притчами о духовном превосходстве бедняка, о раздачах своих богатств верующим человеком и превращении в бедняка, подобными притчами воспитывался культ бедности. О деспотизме, кажется, притчи не сочинялись, но ведь при деспоте легко достигалось всеобщее равенство и братство: под властителем все были равны в бедности и аскетизме...

Конечно, рабская жизнь крестьянина и практически не способствовала стимулированию работоспособности и накоплений богатства. Рабство на Руси значительно более раннее явление, чем крепостная зависимость, установленная в XVII—XVIII веках: холопство Киевской и Московской Руси, усиленное татаро-монгольским игом, мало чем отличалось от крепостного крестьянства нового времени. Почти полная отдача произведенной продукции чужому дяде совершенно не вдохновляла на упорный труд, наоборот, воспитывала лень и безответственность (ведь ответственность за свои поступки может быть только у свободного человека). Это те черты, которые создали обломовщину (не только в барской, но и в народной среде), которые многих рабов в душе совершенно не подготовили к жизни после реформ 1860-х гг., и они, эти рабы, особенно представители барской дворянни, плакали по ушедшим крепостническим временам: достаточно колоритно это отражено в художественной литературе, хотя бы в некрасовской поэме «Кому на Руси жить хорошо».

Лень и безответственность раба легко сопрягалась с обманом и воровством — здесь и религиозные заветы не помогали. Более подробно об оттенках обмана и воровства в новое время рассказано в других моих трудах, а здесь подчеркнем, что корни этих пороков уходят в глубокую древность. Средневековый холоп, не выдержав ужасного гнета и голода или по окончании договорного срока, уходил-убегал от феодала, но, в случае поимки, хозяин для большего закабаления обвинял его не только в побеге, но еще и в воровстве, призвав соответствующих лже-свидетелей; это означало добавление срока холопского служения; знание о таком конце, конечно, само собой толкало беглеца на утаскивание чего-либо ценного: все равно при поимке обвинят в воровстве, а в случае удачи останется какой-то прибыток.

Множество русских народных сказок строит сюжеты на воровстве: герои воруют яблоки, перо жар-птицы, коня и проч. и проч. — и эти акции трактуются как подвиг, а не как порок! Наверное, еще больше сказок про обманы: знаменитые «Лиса и волк», «Мужик и медведь» прославляют надувательство, сказочники явно издеваются над обманутыми простачками.

Характерно, что на суровом и свободном Севере, который не затронуло ни татарское иго, ни крепостное рабство, процветала честность: дома никогда не запирались, не было конокрадства, не было обмана при торговле. Надо сказать, и позднейшее развитие купечества в центральной России создавало нравственную обстановку честности, ибо в свободной среде выгоднее быть честным!

В русском фольклоре чрезвычайно мало произведений о крестьянском труде. Кажется, есть только былинный образ Микулы Селяниновича. И совсем нет русских сказок про упорный и творческий труд (это уже в новейшее время писатели вроде Н. Лескова или П. Бажова как бы компенсировали недостачу и изобразили в своих сказах творческих, работающих умельцев), зато сколько угодно сказок имеется про чудесные подарки герою — одна сказка про Емелю-дурачка чего стоит. Не трудом, а чудом существует такой герой. Любопытно, что вера в чудесное подношение существовала не только в народной среде. Безалаберный Ап. Григорьев, вечно пребывавший в загулах и в безденежье, готов был зарабатывать статьями, переводами, поэзией, но еще больше верил в божественное чудо, буквально надеясь, что Гос-

подь Бог подбросит ему — на улице или во дворе — кошелек денег. Поразительная разница с западным протестантом! Тот тоже верил в божественное покровительство, в то, что Бог отличает лучших, но нужно иметь право быть таким лучшим и потому усердно трудиться, в поте лица зарабатывать свое богатство. Можно фатально ждать божьего внимания и благоволения, но при этом не менее фатально трудиться и трудиться. Фатальному ожиданию своей судьбы Ап. Григорьев противопоставлял свободное ее испытание, он как бы лез на рожон, желая увидеть, как Бог относится к нему, но лез не в труде и поте, а в «безобразиях», как он деликатно выражался, в пьяных загулах, в излишествах купленной любви и т. п. — ему, видимо, казалось, что Бог так скорее его заметит, простит грехи и поможет материально. А в «атеистическом» варианте вера не в труд, а в чудо точно выражена в арии Германна из «Пиковой дамы»:

Труд, честность — сказки для бабья...

Сегодня — ты, а завтра — я!

Так бросьте же борьбу,

Ловите миг удачи...

«Безудерж» — тоже русская национальная черта, она в новое время очень хорошо показана Достоевским, который использовал в своих художественных образах, особенно — в Мите Карамазове, и тип Ап. Григорьева, очень близко ему знакомого. Но эти черты уходят в народное средневековье. «Безудерж» — оборотная сторона рабства, крайности порождают крайности противоположные. Пьяные излишества «внутри» холопского или крепостного состояния — лишь начальный этап, а далее могли следовать побег, сколачивание разбойничьих шайк, разинщина и пугачевщина. И в этом беспределе, лишенном основ, домашнего очага, конечно, развивались не созидательные начала, а разрушительные. Жги барские усадьбы, вешай и расстреливай всех неподчиняющихся, разрывай до основания старый мир... Но побег не обязательно вели к разбоям и разрушениям. На Руси были очень распространены странничество и скитальчество; они могли и не иметь обычно религиозного оттенка, могли быть просто бродяжничеством. Стремление к свободе в таком случае выражалось в виде ухода из насиженных мест, но без всякого насилия или мести. Не борьбой, а уходом протестовал человек.

В более ограниченном виде агрессивный «безудерж» был удалством. *Удаль* — своеобразное русское понятие, не имеющее точного аналога в других языках (об этом подробно писал Д. С. Лихачев): это удивительная смесь широты натуры, храбрости, озорства на грани проступков. В художественном варианте удалец-озорник воплощен в герое новгородской былины — Ваське Буслаеве. Он, силач и богач, буянит на пирах, постоянно затевает драки, жестоко избивая новгородских мужиков; поездка с дружиной в Иерусалим и купание в Иордане — не столько религиозная потребность, сколько желание приключений; сама смерть Буслаева — результат приключенческих поисков: несмотря на запрет прыгать вдоль большого камня, Василий прыгает (в некоторых былинах еще и задом прыгает!), падает, разбивает голову.

Неспроста такой герой появился в свободном Новгороде. Раб, порывающий путы, склонен к крайностям «безудержа», доходя до пожаров и убийств. Новгородский удалец тоже не тихоня, но все же до пугачевщины ему далеко. Свободные купцы и промышленники нового времени тоже были часто склонны к диким развлечениям: грандиозные пиры или катания на тройках, разгромные бития стекол, зеркал, посуды в ресторанах. Но более интересна частая и иногда тоже «безудержная» благотворительность: пожертвования на построение храмов и просто вклады в церкви и монастыри, культурное меценатство.

Рассмотрим теперь «имперское» воздействие. Русь и потом Россия непрерывно расширялись — вплоть до середины XX века. Первые века это происходило стихийно и без всяких указаний сверху: на юге и востоке страны границы отодвигались благодаря беглым крестьянам, превращавшимся в казаков, затем — благодаря переселенцам, купцам и т. д. Конечно, совсем свободных земель было мало, приходилось воевать, покорять разрозненные племена аборигенов. А начиная с Иоанна Грозного завоевательные акции проводились уже планомерно, организованные верховной властью. И войны уже шли жестокие, кровавые, многолетние — не с дикими племенами, а с соседними государствами. Но государства эти оказывались более слабыми, чем Россия, особенно укрепившаяся петровскими преобразованиями, и поэтому войны, как правило, были победные. Приобретенные территории становились частью России. Варварский большевистский лозунг «Если враг не сдается — его уничтожают» тогда не был в ходу, вместо него негласно

фигурировал другой — «...его покоряют». Это понятие входило в народное сознание и делало его тоже имперским.

Д. С. Лихачев в своих работах неоднократно подчеркивал, что русскому характеру не свойственны завоевательные тенденции, что в летописях описываются лишь оборонительные войны, что роман «Война и мир» сюжетно остановился на 1812 г., когда война шла на русской территории, и не включает заграничный поход русской армии. Все это так. Но можно в противовес привести много художественных произведений, начиная с фольклорных, в которых описываются сибирские экспедиции Ермака, завоевание Казанского царства, подавление польского восстания и проч. и проч. Ясно, что война с иностранным агрессором, вторгнувшимся на родную землю, оценивалась как справедливая, священная, но в том-то и дело, что войны захватнические, которые вела страна, не воспринимались как злодейские, темные, несправедливые. Если сосед косо на нас смотрит, что-то нам враждебное говорит, да еще и к войне готовится — так самое милое дело его усмирить, покорить. В народном сознании, в народном творчестве не известно ни одного голоса, ни одной ноты протеста против завоевательной войны. Как бы само собою подразумевается, что великая держава имеет права на любое расширение своей территории, и неважно, хотят ли народы Прибалтики, Польши, Молдавии, Кавказа, Средней Азии стать частью России. Главное — Россия хочет! Массовое, народное сознание ни на секунду не собиралось стать на позицию завоеванных наций, взгляд был со стороны России.

Характерно, что имперские основы мировоззрения существовали и в интеллигентской среде. Некоторые декабристы (особенно — Пестель) подчеркивали централизованный общегосударственный принцип, отрицали федеративное устройство. Декабристы мечтали присоединить к России не только Аляску, но и Калифорнию и северные острова Тихого океана, чтобы северная часть океана была внутренним русским морем. Государственным был известный либерал-западник Б. Н. Чичерин. И даже В. Г. Белинский проповедовал имперские идеалы, и не только во время «примирения с действительностью», но и в самые радикальные годы своей деятельности: прославлял Иоанна Грозного и Петра I, пренебрежительно относился к украинской культуре и оправдывал репрессии против украинских «сепаратистов»

и т. д. Сопrotивление имперству и захватничеству в кругах русской интеллигенции началось лишь во второй половине XIX века, и то не массово (М. Е. Салтыков-Щедрин, Л. Н. Толстой, В. Г. Короленко).

Наконец, четвертый фактор — «деревенскость». Большинство населения страны вплоть до советских времен было сельское. Типичная деревня состояла всего из нескольких дворов-семей. В центральной России деревни были расположены довольно часто, в двух-трех-пяти верстах одна от другой, но чем дальше на восток, на север, тем населенные пункты все больше отдалялись один от другого. В этой шире, на этих просторах человек оказывался включенным лишь в жизнь узкой группы соседей, где все было известно, где каждый знал каждого «как облупленного», а информация из внешнего мира поступала чрезвычайно скудно. Когда соседи живут тесно, это может приводить к конфликтам и стрессам, но зато интенсивнейшим образом распространяется самая разнообразная информация, человек насыщается ею, отбирает, творит, соревнуется, тут традиции, повторы оттесняются на периферию, а на первый план выходит новаторство, поиск, прогресс, движение... Античная цивилизация никогда бы не стала за несколько веков такой грандиозной и всемирной, если бы на узком пространстве Средиземного моря и его берегов не общались Египет, Иудея, Финикия, греческие государства, затем — Рим...

Русские деревни были весьма далеки от подобной тесноты, жителям не грозили стрессы... Время текло медленно, в нем не было заметно движения вперед. Побеждало циклическое время, регулярное повторение суток, лунного месяца, времен года. Именно циклическое время усиливало неподвижность и традиционализм. Традиционализм как бы стирал время, сводил его на нет, все повторялось, все было уже знакомо. Цикличность и традиционализм фактически уничтожали всматривание в будущее и оглядки в прошлое. «И повторится все, как встарь...». На следующий год будет то же, что и в нынешнем, и в прошедшем было то же самое. Это стирание времени ослабило историческую память, память о предках. У нас никогда не существовало китайского конкретного почитания предков, когда каждый должен помнить своих праотцев и прапраотцев до седьмого колена! У нас же в деревне не всегда помнят имена своих дедов и бабок, не то, что до седьмого колена! Сказоч-

ная формула «тридцать лет и три года» совсем не означает точный срок в 33 года, она так же размыта и абстрактна, как формула «в тридевятом царстве — в тридесятом государстве».

Пространство сперва, наверное, было тоже размытым и неточным, как и время: «Поля не меряны, овцы не считаны». Но потом, с появлением барской и личной земли, пространство стало куда более четким и запоминающимся. Всякие переделы участков научили крестьян, без знаний законов геометрии, очень точно мерить и делить-переделивать, межи ставить.

Образованные сословия нового времени восприняли черты народной души, народного характера и мировоззрения, но в усложненных и мозаичных вариантах. Менее всего оказались связанными с народным менталитетом либералы-западники с их толерантностью и вниманием к «чужому», с главной пропагандой личностного начала. Больше всего заимствовали от народного мироощущения славянофилы: общинность-соборность, традиционализм, православие, имперскость. А отдельные черты народного сознания разнообразно и широко перешли и к отдельным личностям, и к целым группам.

Пожалуй, самое заметное воздействие — это распространение **крайностей**, «безудержа». Как бы в противовес давно уже устанавливающейся тяжелой, неподвижной, чуть ли не гармоничной в своей закостенелости структуре общественно-политической жизни вдруг возникали взрывные личности (и даже группы), нарушающие порядок. «Как беззаконная комета в кругу расчисленном светил», — заметил Пушкин. Такие кометы появлялись в самых разных сословиях — среди купцов, духовных лиц, в привилегированном дворянстве и не совсем привилегированном разночинстве. Больше всего кометность заключалась в гастрономических и сексуальных излишествах, в вызывающем гаерстве, ерничестве поведения (М. Петрашевский любил гулять в немыслимых костюмах, а однажды в женском платье, замотав шарфом свою большую, черную бороду, пришел в церковь, откуда был выдворен полицейским; писатель И. Кушчевский, умирая, завещал, чтобы его чуть ли не 20 домашних собачек участвовали, особым образом наряженные, в похоронной процессии, и собачки в самом деле потом шли за гробом хозяина). Некоторые помещики во времена крепостного права проявляли «безудерж» в отвратительно деспотических формах: зверские издевательства над людьми, устройство гаремов, грабежи, при

полном пренебрежении законов (относительно смягченные варианты таких типов изображены в воспоминаниях С. Аксакова, в «Дубровском» Пушкина). Грандиозные проигрыши в карты имений и людей — тоже относятся к этой категории (отец А. С. Хомякова проиграл миллион рублей, разорив семью). Грандиозные взятки — тоже (не венчанная еще жена Александра II княгиня Юрьевская брала миллионные взятки с железнодорожных предпринимателей, чтобы именно им была предоставлена концессия).

Безответственность и своеволие порождали «безудерж» даже в коронованных особах. Дикие тиранические выходки Павла I, стоившие ему, в конце концов, жизни. Чрезмерные любовные похождения Николая I. Непродуманные, с потолка взятые решения императоров. Приехал Николай I в Дерпт, посетил замечательную университетскую библиотеку, расположившуюся в отреставрированной части сгоревшего в средние века собора; царь возмутился: разве можно в храме устраивать библиотеку (знал бы он, чем заполнят храмы большевики!) — и потребовал немедленно построить специальное здание; средств не дали, здание не построили, библиотека, слава Богу, осталась в соборе. Александр II в честь своей коронации, не подумав о последствиях, объявил амнистию всем заключенным, в том числе, говоря нашим языком, и уголовникам, а не только политическим узникам; зимой 1856/57 года Петербург оказался во власти шпаны и бандитов, лишь через несколько месяцев в столице стало более или менее спокойно.

Любопытна крайняя степень «безудержа», так сказать, «безудерж безудержа», то, что в моей семье называется «принципом корзиночки» (трехлетний внук отломал прутик у плетеной корзиночки и, переживая свой проступок, разломал ее в мелкие кусочки — очень по-русски!). Нечаянно разбить тарелку — и потому грохнуть со стола всю посуду. Случайно выругаться — и разразиться дикой бранью. Не остановиться после сильной выпивки — а впасть в многодневный загул. Герой лесковского «Очарованного странника», начав с одной купюры, брошенной под ноги полюбившейся цыганки, вышвыривает затем всю большую — и чужую! — сумму денег. Очень этот принцип корзиночки был присущ страстному Ап. Григорьеву.

Даже достаточно уравновешенный граф А. К. Толстой пропел гимн русскому размаху:

Коль любить, так без рассудку,
Коль грозить, так не на шутку,
Коль ругнуть, так сгоряча,
Коль рубнуть, так уж сплеча!
Коли спорить, так уже смело,
Коль карать, так уж за дело,
Коль простить, так всей душой,
Коли пир, так пир горой!

(1854)

Больше всего поражает российский «безудерж» в идеологической сфере. В этом отношении отличались и левые, и правые, и радикалы, и матерые консерваторы. Реформировать русскую лексику желал не только консервативный адмирал Шишков (всем известны его «мокроступы» вместо «галош»), но и весьма революционный декабрист Пестель, который предлагал русифицировать даже достаточно обрусевшие названия оружия; саблю переименовать в рубню, а пику — в тыкню. Идеи П. Я. Чаадаева относительно ничтожества России и православия в культурной истории человечества и необходимости приобщения к католицизму — еще более великая крайность. Многократные печатные пожелания К. Н. Леонтьева остановить развитие России, «заморозить» ее, чтобы предохранить от сближения с Западной Европой, — не меньшая крайность, только с другой стороны.

А уж сколько крайних идей выразил за свою жизнь Белинский — не пересчитать. То он оправдывает все деяния самодержавия, то восстает против него и вообще против деспотов всего мира и предлагает уничтожить большую часть человечества ради счастья меньшей части; то восхваляет народ, то относится к нему с глубоким скепсисом. Сам он хорошо понимал свой грех «... мне не суждено попадать в центр истины, откуда в равном расстоянии видны все крайние точки ее круга; нет, я как-то всегда очутюсь на самом краю» (Белинский, XII, 51; письмо к В. П. Боткину от 28 июня 1841 г.). Чехов в «Записной книжке» изумительно точно описал эту черту русского характера: «Между „есть Бог“ и „нет Бога“ лежит целое громадное поле, которое проходит с большим трудом истинный мудрец. Русский же человек знает какую-нибудь одну из двух этих крайностей, середина же между ними ему неинтересна». (Записная книжка I.)

Трудно представить себе степень озлобленности идеологических кружков и групп друг на друга. Только случайности помогли не состояться нескольким дуэлям между западниками и славянофилами — из-за публичных оскорблений. В 1857 г. в Москве на квартире вице-президента Художественного общества А. Д. Черткова произошла не дуэль, а дикая кулачная драка С. П. Шевырева с графом В. А. Бобринским, драка славянофила с западником. Граф ругал крепостной строй, измывательство над крестьянами, сетовал, что самое русское имя становится позорным, а Шевырев нападал на графа с бранными обвинениями в антипатриотизме; кончилось дело тычками, перешедшими в настоящую драку. Дюжий граф так исколотил немолодого Шевырева, сломал ему ребро, что тот слег после драки в постель, — это неблагородное сведение счетов стоило Шевыреву отставки с профессорского места в университете и чуть ли не высылки из Москвы (вельможные заступники в Петербурге отстояли избитого — царь отменил высылку), граф же был выслан в свое имение.

А сколько выражалось чуть ли не радости по поводу попадания противника под какие-либо правительственные репрессии. А. М. Бакунину, отцу знаменитого Михаила, видимо, настолько был неприятен круг Н. И. Надеждина, что запрещение журнала «Телескоп» (с приложением «Молва») за напечатание «Философического письма» Чаадаева и ссылке редактора Надеждина он отметил радостной эпиграммой:

Молва глумиться перестала,
В чаду задохся Телескоп —
Надежда в западню попала
И современный стих галоп!

Интересна запись Пушкина в дневнике от 3 апреля 1834 г., о запрещении «Московского телеграфа» Н. А. Полевого; пушкинский круг, даже добрейший Жуковский, не осудил запрещение; правда, Жуковский высказал благородную оговорку: «Жуковский говорит: — Я рад, что „Телеграф“ запрещен, хотя жалею, что запретили. „Телеграф“ достоин был участи своей» (Пушкин, VIII, 43).

Но особенно отличались крайностями революционеры. И началось это задолго до массового революционного движения второй половины века. Уже декабристы вынашивали планы царе-

убийства. Горячо обсуждались возможные кровавые акции среди некоторых петрашевцев. И все ведь планировалось ради народного счастья! С дикой наивностью и планы, и цели выразил в стихотворной прокламации московский гимназист сороковых годов Жохов:

Не признаем мы власти Николая,
Романов нам теперь не царь.
Ура!!! Да здравствует свобода золотая,
Романов — подлая бессмысленная тварь!
Он упадет под нашими ножами,
Ему дадим мы знать себя —
Растопчем мы его ногами,
Свободу, равенство любя.

Пойманный с этой «прокламацией» Жохов избежал тюрьмы и ссылки: Николай I презрительно приказал лишь высечь юношу.

Радикальные мечтания расширили и разнообразили шестидесятники и более поздние народники. То они намеревались выкрасть наследника престола и под угрозой его убийства заставить царя провести демократические реформы, то предлагали вырезать десятки тысяч господ, чтобы установить в России справедливый строй. Но главный «безудерж» народников — длительный террор.

Оговоримся: представление о том, что именно Россия является родиной террористических актов, весьма односторонне. Политические убийства известны с глубокой древности. Европейский XIX век начался с покушения немецкого студента Карла Занда на презираемого молодежью драматурга и публициста Августа Коцебу (Занд заколол его кинжалом в 1819 г.), да и потом Запад отнюдь не отличался благонравием. В русских царей стреляли не только соотечественники, но и бунтующие поляки (в Николая I стреляли из леса во время его переезда через Польшу в 1846 г., в Александра II — поляк А. И. Березовский в Париже в 1867 г. — оба покушения не удались).

Но, пожалуй, самое крупное «пред-русское» по размаху покушение было в Париже в 1858 г.: группа итальянских заговорщиков во главе с графом Ф. Орсини хотела убить Наполеона III, мстя ему за равнодушие к борьбе за объединение Италии. Наполеон подъезжал с императрицей к оперному театру, сбегались толпы народа смотреть на царственную чету, и в это время четыре рево-

люционера стали метать смертоносные бомбы. Были убиты лошади, взорвана карета, ранено 150 и убито 10 человек, сбежавшихся к карете, а чету Бог миловал, они нарочно появились ненадолго в царской ложе; Наполеон лишь был ранен в щеку осколком оконного стекла.

Однако никакая страна в XIX веке не могла сравниться с Россией по масштабам и интенсивности терроризма. Покушались на царей (убит был, впрочем, только Александр II), на министров, губернаторов. Вот краткий перечень основных террористических актов, организованных первой народнической организацией «Земля и воля» (1876—1879) и ее дочерней — «Народная воля» (1879—1887):

24 января 1878 г. Вера Засулич неудачно стреляла в петербургского градоначальника Ф. Ф. Трепова.

25 мая 1878 г. в Киеве Г. А. Попко убил жандармского офицера барона Гейкинга.

4 августа 1878 г. в центре Петербурга (напротив современного Русского музея) С. Кравчинский ударом кинжала убил шефа жандармов Н. В. Мезенцева (и, тотчас вскочив в поджидавшую его пролетку, невредимо ускакал!).

9 марта 1879 г. Г. Д. Гольденберг в Харькове убил губернатора Д. Н. Кропоткина.

13 марта 1879 г. Л. Ф. Мирский неудачно стрелял в Петербурге в генерала А. Р. фон Дрентельна, сменившего убитого Мезенцева на посту шефа жандармов.

2 апреля 1879 г. А. К. Соловьев неудачно стрелял на Дворцовой площади в Петербурге в царя Александра II.

Осенью 1879 г. было подготовлено несколько мест с подложенным под рельсы динамитом, чтобы взорвать поезд с едущим из Крыма Александром II; но тогда не было радио, запал нужно было взрывать искрой от электрической батареи, соединенной с динамитом длинными проводами; под Харьковом дежурные народовольцы не смогли вовремя соединить провода, поезд промчался; близ Курского вокзала в Москве дежурные взорвали лишь второй поезд, следовавший за царским, с прислугой (19 ноября 1879 г.).

Народоволец столяр С. Н. Халтурин смог поступить на работу в Зимний дворец и получить жилье в подвале, над которым помещалась комната конвоя, а над конвоем — царская столовая; 5 февраля 1880 г. во время обеда царской семьи Халтурин зажег

бикфордов шнур, идущий к сундуку с динамитом, и ушел прочь; взрыв, сохранив царя, убил и искалечил 50 солдат конвоя.

Летом 1880 г. под Каменный мост на Гороховой улице в Петербурге, зная о проезде царя, народовольцы заложили 100 кг динамита, провода провели к мосткам в отдалении, батарею должны были принести в корзине с бельем, но А. И. Желябов и М. В. Тетерка проморгали: пришли уже после проезда царской кавалькады.

20 февраля 1880 г. И. И. Млодецкий неудачно стрелял в графа М. Т. Лорис-Меликова, назначенного главой комиссии по борьбе с террористами.

1 марта 1881 г. седьмое покушение на царя (считая от выстрела Каракозова в 1866 г.) закончилось его смертью: бомба И. И. Гриневицкого унесла жизнь и Александра II, и самого метателя.

18 марта 1882 г. Н. А. Желваков убил в Одессе прокурора Стрельникова.

16 декабря 1883 г. В. П. Конашевич и Н. П. Стародворский на петербургской квартире предателя С. П. Дегаева убили знаменитого полицейского сыщика Г. П. Судейкина.

1 марта 1887 г. в Петербурге перед самым покушением на Александра III была схвачена группа А. И. Ульянова, брата Ленина.

Покушения и убийства продолжались и в XX веке — уже учениками народовольцев — эсерами; террористов казнили, ссылали на каторгу; от их актов гибели оказывавшиеся при взрывах ничем не повинные люди. Сколько было ужасных смертей!

Разрушительный «безудерж» расшатывал основы. Еще больше расшатывали общероссийские, повсеместные реформы: ведь после 1861 г. образовалась совсем новая Россия. Всюду возвышалась роль не общины, не общества, а личности. Из народа выходили талантливые купцы, промышленники, денежные тузы. В самой деревне появились богачи, «кулаки». Личностное начало захватило вообще все слои народа, разъедавая общину. А. Н. Энгельгардт в цикле очерков «Из деревни» (печатались в «Отечественных записках» 1870-х гг.) убедительно показал, как крестьянки, нанятые им для обработки льна, настаивали на выделении каждой своей доли материала, а если трудились сообща, то производительность была очень низкой, сильные и старательные принаравливались к темпу слабых.

Но когда в начале XX века П. А. Столыпин с большой энергией стал проводить свою хуторную реформу, надеясь на всеобщий вы-

ход крестьян из общины ради получения собственной, личной земли, то и традиционализм, и страх перед новшествами взяли верх: лишь одна четверть общинников выделилась на хутора. Разброд и разлад был великий. Но уже назад повернуть было невозможно. Традиционная мировоззренческая и нравственная почва перепыхивалась и вздыбливалась, к XX веку русский народ подходил в растерянности. К. Н. Леонтьев предсказывал, что и Россия, и Запад неуклонно идут к социалистическому строю, т. е. к новому феодализму, еще более деспотическому, чем прежний, «к новому рабству». И в России эти переходы даже легче осуществить: «Почва рыхлее, постройка легче» (Леонтьев, 7, 526, 530). Накарка! В самом деле, **рыхлость** тоже можно отнести к русскому менталитету.

Важно отметить еще одну существенную черту исконного русского менталитета, не исчезнувшую в «образованном» XIX веке: **превознесение обычая над законом**. Еще в XI веке киевский митрополит Иларион (первый митрополит из русских) в знаменитом «Слове о законе и благодати» противопоставил ветхозаветной законности христианскую благодать. В народной традиции сквозь века прошло пренебрежение к закону, хотя нельзя сказать, что на Руси законов не было. Были, целые книги законов были созданы, и тем не менее... «До Бога высоко, до царя далеко» — в этой распространенной на Руси поговорке вместо «царя» можно также поставить «закона». Страна большая, подавляющее большинство населения вообще понятия не имело, какие там законы существуют. В крестьянской среде судебные дела решались сходкой, миром, по-божески. Позднейшие екатерининские совестные суды тоже ведь приговоры вершили по совести, а не по закону. Были соответствующие суды чести и в офицерстве (они рассматривали чаще всего проступки, вообще не подпадавшие ни под какие своды законов). А многие представители высших сословий пренебрегали законом не столько по незнанию, сколько при полной уверенности в своей силе и безнаказанности. От царских палат до далеких барских усадеб нарушались законы. А люди страдали.

Теоретически пострадавший мог именно, восстанавливая справедливость, обратиться к закону, подать в суд и так далее — но ведь тот же обычай охлаждал обиженного, который знал, чем в реальности обернется такая жалоба. Это все дошло до XIX века, и неверие в закон существовало не только в крестьянской среде. Не верили и весьма привилегированные особы. Выше у нас шла речь, как московский генерал-губернатор граф А. А. Закревский

пытался, минуя официальные ступени, выдать свою не разведенную (и при живом муже) дочь за другого человека. Или еще пример с другим графом, более молодым и менее именитым.

Граф Е. А. Салиас решил послать бедствующему Ивану Кельсиеву, своему товарищу по Московскому университету, участнику студенческих волнений 1861 г., сосланному в г. Верхотурье (Пермская губ.), некую сумму денег и наивно полагал, что деньги вернее дойдут, если их послать через верхотурское начальство: дескать, я был должен ссыльному Кельсиеву, прошу передать ему мой долг. И вскоре он получил ответ от местного начальника, смысл которого следующий: «Вы, как граф, по всей вероятности, человек богатый, и не могли быть должны ссыльному Кельсиеву. Какого характера и для какой цели прислана вами сумма, — я отлично понимаю. Вследствие чего позвольте вас поблагодарить за новый гарантас, который я себе купил» (Салиас, 1898, 502). Друзья графа советовали жаловаться, но другие и он сам резонно решили: если даже с этого разбойника в чиновничьем мундире взыщут деньги, все равно будет плохо, — ссыльному тогда житья не будет. Поэтому граф махнул рукой.

Покойный профессор Ленинградского университета Г. А. Бялый колоритно рассказывал, как он в начале XX века, будучи гимназистом, читал русские народные сказки своему деду, патриархальному и, кажется, неграмотному еврею. Судьба припекает сказочного мужика, но он и не думает сопротивляться, а лишь фатально тянет: «Что-о же делать!» Дед при этих словах вскакивает и начинает возмущаться: как что делать?! надо бороться! — и т. д. Разница между русским и еврейским менталитетом...

Белинский, перечисляя в известном письме к Гоголю самые насущные социальные проблемы России, говорил и о необходимости соблюдать хотя бы те законы, которые есть. Он понимал, что законов явно недостаточно. Например, России явно не хватало законов, охраняющих права личности. Возьмем, к примеру, авторское право. Оно очень слабо охранялось законом. Никак не наказывался плагиат (увы, он до сих пор у нас ненаказуем!). Да что там плагиат, даже просто пиратская перепечатка произведения практически не подлежала судебному разбирательству, хотя в теории права автора оберегались. Так, в Цензурном уставе 1828 г. существовал § 137, по которому сочинитель или переводчик книги имел «исключительное право

пользоваться всю жизнь свою изданием и продажей оной по своему усмотрению как имуществом благоприобретенным». Это — о книге. А если речь о небольшом стихотворении или рассказе?

Пушкин несколько раз уязвлялся нахальным воровством и опубликованием без спроса его произведений. Когда он вернулся в 1829 г. из Закавказья («Путешествие в Арзрум»), то увидел в альманахе «Северная звезда», издававшемся враждебным пушкинскому кругу литератором М. А. Бестужевым-Рюминым, шесть своих стихотворений, в том числе ставшее потом знаменитым послание к Чаадаеву «Любви, надежды, тихой славы...». Пушкин тут же сел сочинять протест, в котором с грустью утверждал: «Неуважение к литературной собственности сделалось так у нас обыкновенно, что поступок г-на Бестужева нимало не показался мне странным». И закончил Пушкин заметку угрозой: «... при первом таком же случае принужден буду прибегнуть к покровительству законов» (Пушкин, VII, 93). Но беда-то в том, что Пушкин не верил в результативность таких законов. Видимо, поэтому он и прервал заметку, она осталась в черновике, никуда он ее не отдал.

И подобное бесправие существовало на протяжении всего XIX века — тщательно составленного закона об интеллектуальной и художественной собственности, о переводах, о перепечатке, о плагиате — так в России и не появилось (только в 1911 г. было принято подробное «Положение об авторском праве», которое, ясно, просуществовало всего шесть лет). В 1869 г. И. С. Тургенев пообещал издателю журнала «Вестник Европы» М. М. Стасюлевичу рассказ «Странная история», но уступил первоуродство немецким знакомым, опубликовавшим рассказ, — естественно, в переводе — в Германии. Не отличавшийся высокой нравственностью А. А. Краевский, издававший тогда газету «Голос», без всякого согласования с Тургеневым, опубликовал у себя обратный перевод с немецкого, опередив запланированную публикацию в «Вестнике Европы».

В 1877 г. у Тургенева украли другое произведение, «Рассказ отца Алексея», и повторилась почти та же история: писатель пообещал этот рассказ Стасюлевичу для «Вестника Европы», сообщив, впрочем, что он уже опубликован во французском переводе в одном парижском журнале; но еще до выхода майского номера «Вестника Европы», где появился русский подлинник,

А. С. Суворин пиратски перевел с французского рассказ и опубликовал его в своей газете «Новое время» под заглавием, как и во французском тексте, — «Сын попа». Протесты Тургенева и Стасюлевича успеха не имели.

Вот так и возникали фатальные «Что же делать!». При этом причудливо смешивались наглое беззаконие властителей с традиционным превознесением обычая над законом и неверием в законы. Конечно, были у нас и люди борьбы, протеста — и советы другим давали. Чернышевский в романе «Что делать?» поставил вопрос, который в отличие от восклицания, не подводит черту, а, наоборот, требует продолжения и развития, — и постарался ответить на этот вопрос.

Но все-таки в нашем национальном характере было много и фатализма, неверия в возможность изменить существующее. Это был своеобразный противовес «безудержу» и революционным акциям, а в конкретных исторических условиях побеждала то одна, то другая крайность, в иных же случаях они причудливо смешивались, вплоть до фатальной революционности.

И наконец, еще одна, уходящая в средневековье, национальная черта — сильная иерархичность, постоянная память об уровнях, презрение к стоящим на низших ступенях и, наоборот, подострастие к высшим. Взгляд сверху вниз замечательно ярко обрисовал молодой С. Т. Аксаков, совсем не похожий на почтенного мемуариста славянофильских времен. В погодинском журнале «Московский вестник» (1830, № 1) Аксаков опубликовал ядовитый рассказ «Рекомендация министра», за который и журналу, и автору сильно влетело. Повествуется о визите к министру чиновника с рекомендательным письмом «его сиятельства» с просьбой о теплом престижном местечке; министр чертыхается, но вынужден диктовать чиновнику уже свое рекомендательное письмо к ниже стоящему начальнику; а потом следует разнос: как смел чиновник при обращении после имени-отчества получателя поставить восклицательный знак: «...ведь он не министр и не равный мне: пристало ли моему знаку восклицания стоять перед ним во фрунте? Точку, сударь, ему — точку». Затем следует еще один разнос: в конце чиновник написал «имею честь быть», что допустимо для простого смертного, но министр может лишь «пребыть».

А «бывающие» привыкали стоять во фрунте перед «пребывающими», ломать шапки и даже коленопреклоняться. Когда на Сенной площади в Петербурге во время холерной эпиде-

мии начался дикий народный бунт (22 июня 1831 г.) — ходили слухи об умышленном отравлении врачами простых людей — то не помогли вызванные войска, но достаточно было приехать на площадь Николаю I и гаркнуть: «На колени!» — и вся многотысячная бунтующая толпа бухнула на колени... Лишь после реформ 1860-х гг. стали стираться иерархические границы. Но, с одной стороны, пережитки старого долго-долго сохранялись в душах; например, некоторые солдаты из охраны Петропавловской крепости, распропагандированные сидевшим там С. Г. Нечаевым (который умел зашаманивать!) и сосланные за это в Сибирь, долгие годы сохраняли преклонение перед «сильной личностью»: «Все они отзывались о нем с особенным чувством, похожим на страх, и признавались в своем подчинении его воле. «Попробуй-ка, откажись, когда он что-нибудь приказывает! Стоит взглянуть ему только!», — говорил один из них» (Фигнер, 1, 258). И это применительно к арестанту, посаженному, как знали солдаты, за убийство товарища! Что же и говорить о преклонении перед государственным начальством... С другой стороны, освобождение от иерархического подчинения у человека с рабским сознанием часто приводило к «безудержу» чувств и поступков: к хамству, к насилию, к злорадному издевательству. Так что в XX век русский характер входил в богатом и причудливо перемешанном спектре различных признаков.

Уже когда эта глава была написана, мне удалось достать интересную и ценную книгу К. Касьяновой «О русском национальном характере» (М., 1994). Не со всеми положениями автора я согласен, но радостно, что творческий работник, использующий богатый практический материал, в том числе и социологическую статистику, приходит к выводам, близким к идеям этой главы. Вот черты русского национального характера, выделенные автором и соприкасающиеся с выше изложенным: терпение, приглушенность в выражении чувств, сосредоточенность, инерционность (упрямство), эмоциональная невоспитанность, традиционализм и обрядность, самоограничение, смирение и чувство вины, предпочтение ценностных действий по отношению к целевым, превосходство морального над юридическим.

НАЦИОНАЛЬНОЕ СВОЕОБРАЗИЕ РУССКОЙ КРИТИКИ

Это одна из самых интересных и глубоких тем, имеющая прямое отношение к теории критики. В то же время это одна из самых трудных для науки тем, так как исследователь, изучающий национальное своеобразие, должен сопоставлять критику различных национальных регионов. Но сам он принадлежит к определенной национальной культуре, находится внутри ее, поэтому невольно точка зрения человека этой культуры отражается в анализе. Славянофилы считали это для себя достоинством, ибо были убеждены, что по отношению к зарубежному материалу русский ученый будет более беспристрастным, чем аборигены, а отечественный материал он будет знать лучше и глубже, чем чужеземец.

Однако ученый любой культуры испытывает трудности по отношению к обоим сравниваемым объектам. Он действительно что-то может знать хуже в чужеземном кругу материалов, по сравнению с местными исследователями, а без знания чужого очень трудно выделить в своем значимое, важное, отличающее: изнутри легко пропустить самое существенное, непохожее на других, ибо оно может оказаться настолько обычным, вьевшимся до костей, что уже перестает замечаться.

Исследователь должен стремиться к историчному объективному анализу, он должен строить модели отдельных национальных культур при постоянном учете параллельного существования других.

Именно зародыши исторического анализа у немецких романтиков способствовали тому, что события международного масштаба в культурной столице мира, Париже, стимулировали у них исследование своей национальной специфики в ее отличии от французской; с другой стороны — буквально с другой стороны — вопрос о немецком национальном характере подняла француженка де Сталь в замечательной книге «О Германии» (1810). Вся русская публицистика и наука XIX века, поднимавшая вопрос о самобытности, от адмирала Шишкова и до поздних славянофи-

лов, тоже оглядывалась на Францию как на антипод для сравнения. Конечно, много в этих трудах было и антиисторичного, но сопоставительная ориентация на зарубежные культуры присутствовала там всюду.

К настоящему времени появилось немало ценных трудов о национальном своеобразии русской литературы¹, но исследования об особенностях русской критики по сравнению с литературной критикой зарубежных стран нам неизвестны². Имеются лишь разрозненные и весьма приблизительные, нечеткие отступления на эту тему в работах об отдельных литераторах и критиках. Отметим, например, сопоставительные экскурсы в статье А. Г. Цейтлина «Белинский — мастер русской литературной критики». К сожалению, в этих очерках, наряду с общими справедливыми характеристиками зарубежной критики, содержится много неточностей и ошибок, свидетельствующих о нетвердом знании материала. Исследователь пишет: «Утверждение на Западе буржуазного строя приглушило развитие просветительской критики. Буржуазия, добившись политического господства, стремилась стабилизировать установившийся капиталистический строй <...>. Публицистическая критика в эту пору отходит на второй план, теряет свое влияние на массы. Отдельные имена вроде Берне в Германии или Брандеса в Дании являются исключением, не отменяющим собой правила. На протяжении всего прошлого века тенденции этого рода оттесняются в странах Европы тенденциями психологическими, импрессионистскими, эстетскими. Для западной критики XIX в. характерны психологические штудии Сент-Бёва, импрессионистские силуэты Жюль Леметра, эстетические парадоксы Оска-

¹ См.: Венгеров С. А. В чем очарование русской литературы XIX века? Пб., 1912; Бурсов Б. И. Национальное своеобразие русской литературы. 2-е изд. Л., 1967; Берковский Н. Я. О мировом значении русской литературы. Л., 1975; Купфелянова Е. Н., Макогоненко Г. П. Национальное своеобразие русской литературы: Очерки и характеристики. Л., 1976; Фридендерф Г. М. Национальное своеобразие и мировое значение русского романа // История русского романа. В 2 т. М.; Л., 1964. Т. 2. С. 591—626.

² Были лишь попытки соотнести философские и теоретико-эстетические взгляды русских революционеров-демократов с концепциями зарубежных мыслителей; см., например: Гуляев Н. А. В. Г. Белинский и зарубежная эстетика его времени. Изд-во Казанского ун-та, 1961. Немало подобных трудов опубликовано за рубежом.

ра Уайльда»³. Здесь очень странно сближение Берне и Брандеса, совершенно непохожих критиков; слишком узко Сент-Бёв назван психологистом и т. д.

Были ошибки и другого рода. А. Ш. Гурштейн в статье «Забытые страницы Огарева (О литературных взглядах Огарева)»⁴, наоборот, пытается связать революционных демократов с западноевропейскими критиками и поэтому доказать, что последние были пропитаны «социологизмом» уже со второй четверти XIX века, особенно с 40-х годов. Гурштейн более основательно знает материал, чем Цейтлин (хотя, главным образом, по Плеханову), но он явно преувеличивает «социологичность» европейской критики.

Следовало ожидать, что — теперь уже многочисленные — западные русисты, хорошо знающие историю критики своих стран, проведут ценные параллели и сопоставления, исследуя русскую литературную критику, но даже в самом фундаментальном в мировом литературоведении пятитомном труде Рене Веллека «История современной критики» (вышло пока четыре тома), повествующем не только о западных странах Европы и США, но и о России, встречаются лишь вскользь брошенные беглые экскурсы вроде следующего: «Белинского трудно сравнивать с современниками вроде Сент-Бёва, который мог быть лаконичным и утонченным, софистичным и рафинированным, когда обращался к различным аудиториям. Белинский скорее похож своей расплывчатостью (*diffuseness*) и уклонениями в сторону на таких критиков из английских журналов, как де Куинси, Вильсон, Маколси. Но у него была такая впечатляющая грандиозность (*impressive massiveness*), такая страстная преданность родной литературе и общественному прогрессу своей страны, что на Западе не могло быть ничего подобного»⁵; Ап. Григорьев «выступает как теоретик и отпрыск (*offshoot*) немецкого романтизма; как ранее Карлейль, он развивал одну точку зрения с поразительной силой и применял ее к истории

³ Сб. Белинский — историк и теоретик литературы. М.; Л., 1949. С. 168—169.

⁴ Литература и марксизм, 1930. № 2. С. 32—45; перепечатано в кн.: Гурштейн А. Ш. Избранные статьи. М., 1959. С. 85—102.

⁵ *Wellek R. History of Modern Criticism. 1750—1950. Vol. 3. New Haven; London, 1965. P. 264.* (Здесь и далее перевод иностранных текстов мой. — Б. Е.)

русской литературы, но в его мыслях существует неясный конфликт, который, должно быть, уменьшил силу воздействия, и его очерки отдельных писателей не выходят из странного круга анализов социальных типов»⁶.

Интересную, хотя и несколько обобщенно-расплывчатую характеристику русской критики в отличие от западно-европейской дает Джузеппе Берти, прогрессивный итальянский историк и литературовед, в предисловии к сборнику статей Белинского, Герцена, Чернышевского, Добролюбова: «Во Франции, несмотря на шумное вторжение немецкой культуры, которая, собственно, была порождена именно французским романтизмом, Вильмен и Сент-Бёв предприняли, в противовес гегельянцам, плавание на мелкой воде (*piccolo sabotaggio*), то есть их мысли не хватало глубины, в них чувствуется ограниченность. Вильмен так и не вышел из границы *индивидуального романтизма* де Сталь и своего личного друга Шатобриана. Сент-Бёв прошел, напротив, через сенсимонистскую школу *социального романтизма*; в этом большое его преимущество. Но что-то оба и потеряли. Наш Франческо де Санктис, родившийся и выросший в той вековой колыбели гуманистической культуры, какой была Италия, был философски самым образованным и творческим из европейских литературных критиков, был среди них всех самым глубоким и представительным и в то же время отличался блестящей интуицией, присущей эпохе романтизма, равновесием и завершенностью итальянской мысли. Белинский был другим человеком, другим характером, родившимся в другой стране, в других условиях. Вторгшийся в русскую культуру как гений бури, со всеми сражаясь, что показательно для мысли молодой и девственной, Белинский в те годы выглядел совершенно новым элементом в европейской культурной жизни. Но будучи широкой и пылкой натурой, он принес пользы в общем куда больше, чем вреда, и смог решить задачи явно более величественные, более трудные

⁶ Ibid. Vol. 4. 1975. P. 270. Следует учесть, что Веллек знает русскую критику (хотя он и читает ее в подлинниках) не так хорошо, как западную. В третьем томе Н. К. Михайловский назван у него марксистом (и лишь в четвертом «возвращен» в народники); в четвертом томе в статье Добролюбова «Забитые люди» первое слово переведено как «Forgotten», т. е. «забытые»; эти ошибки повторены во всех изданиях: в 1972 г. третий том вышел третьим изданием, в 1975 г. четвертый том — четвертым изданием.

и, без сомнения, более обширные, чем те, которые стояли перед нашим де Санктисом. Белинский произнес слово, которое осталось в русской истории и которое никто потом не мог из нее вычеркнуть. Он нашел магистральную дорогу русского реализма, реализма критического и революционного, плодотворную дорогу, на которой выросла русская литература и развилась русская политическая и социальная мысль»⁷.

Из трудов, полностью посвященных сопоставлению отдельных русских и западных критиков, мне известна только статья литературоведа ГДР М. Вегнера «Н. Г. Чернышевский и Герман Геттнер»⁸, впрочем, содержащая, главным образом, теоретико-эстетические параллели и лишь частично затрагивающая непосредственно вопросы литературно-критического характера. А в целом, если обозреть даже обстоятельные исследования о русской критике, вышедшие из-под пера зарубежных ученых, то мы не найдем там соответствующих сопоставлений (типологических или исторических)⁹, разве что авторы мельком указывают на западных предшественников, чьи методы влияли на творчество русских критиков. Следует еще оговориться, что в Советском Союзе и в странах социалистического содружества появилось немало исследований о влиянии русской критики на зарубежные, но эта тема выходит за рамки нашей работы.

Нет сомнения, обнаружить своеобразные черты какой-либо области национальной культуры в относительно долгий промежуток времени — для нас речь идет о XIX веке, — когда нужно

⁷ Berti G. Introduzione // Il pensiero democratico russo del XIX secolo. Firenze. 1950. P. IX—X. На этот отзыв мне любезно указал А. Л. Григорьев. Здесь и далее в цитатах курсивные подчеркивания принадлежат авторам текста.

⁸ Wegner M. N. Černyševskij und Hermann Hettner // Zeitschrift für Slawistik, 1963. Hf. 5. S. 709—724.

⁹ См., например: Proctor Th. Dostoevskij and the Belinskij School of Literary Criticism. The Hague-Paris, Mouton, 1969 (книга посвящена литературной критике Белинского, Чернышевского, Добролюбова, Писарева, Михайловского); Coquart A. Dmitri Pisarev (1840—1868) et l'ideologie du nihilisme russe. Paris, 1946; серию статей французского слависта Шарля Корбе (Corbet) о Чернышевском и Добролюбова в ежегоднике «Revue des études slaves» (Paris). Т. 24, 1948; Т. 29, 1952; Т. 32, 1955. Подробнее обзор иностранных исследований о русских критиках см. в кн.: Григорьев А. Л. Русская литература в зарубежном литературоведении. Л., 1977.

выделить и своеобразие, «особность» по сравнению с другими культурами, но одновременно и свою многолетнюю *общность*, несмотря на различия классовые, групповые, эпохальные, индивидуальные, — не так-то просто! Тем более что за рубежом мы встречаем такое обилие, такой богатый спектр различных методов, жанров и стилей, что, казалось бы, любому явлению и любой идее в русской критике найдется соответствующий аналог в критике иностранной.

В этом смысле попытки на основании отдельных параллелей делать обобщающие выводы о национальных отличиях, конечно, носили и носят антинаучный характер: скажем, на основании того, что Бальзак непосредственно не был связан со своим народом (крестьянством), а Л. Толстой с русским — был, попытаться доказать, что французские писатели далеки от народа, а русские — близки ... Подобные методы анализа не просто антинаучны. Так как подспудно они заранее предполагают выводы о *преимуществах*, о превосходстве русской культуры над иностранными, то в целом они идейно и морально унижительны: они вольно или невольно унижают сравниваемые иноземные культуры и уж явно невольно унижают родную, ибо русская культура, русские искусство и литература настолько реально велики и всемирны, что не нуждаются в нарочитых, придуманных параллелях, «приподымающих» свое за счет принижения чужого.

И все-таки, осознавая все трудности проблемы, мы попытаемся обрисовать хотя бы в самых общих чертах национальное своеобразие русской критики (для более или менее полного охвата аспектов данной темы потребовалось бы написать целую книгу), облегчая свою задачу следующими ограничениями. Впервые, важно сузить сопоставительный материал. Русские критики знали (могли знать), и в русской периодике переводились или излагались¹⁰ критические работы, главным образом, трех ведущих национальных культур Запада: Франции, Германии, Англии; лишь частично, изредка — Польши, США, Италии, Скандинавских стран. Действительно, французские, немецкие, ан-

¹⁰ Например, переводились и реферировались книги и статьи многих знаменитых критиков Запада (Сент-Бёв, Гюго, Низар, Планш, Шаль, Готье, Тэн, Золя, Эннекен, Гёте, Шиллер, Шлегели, Тик, Ваккенродер, Берне, Гейне, Менцель, Рётшер, Фишер, Гайм, Геттнер, Шерер, Кольридж, Карлейль, Маколей, де Куинси, М. Арнольд и др.).

лийские критики были в течение XIX века законодателями литературных мод, и их методы и идеи могут рассматриваться как воплощение, как квинтэссенция всей западной критической культуры. Поэтому зарубежный материал, который знали русские критики, является также первостепенным в типологическом отношении. Показательно, что прямое влияние иностранной критики на русскую очень невелико и, следовательно, указанный круг деятелей может служить объектом именно типологического сравнения.

Во-вторых, когда речь заходит о типологическом и о типическом, то следует обращать внимание не только на абсолютную несхожесть, но и на относительную: это особенно важно тогда, когда подобные явления встречаются и у одного народа, и у другого, но у одного они приобретают массовый, подавляющий характер, а у другого — случайны или единичны.

Например, основные черты критического метода Л. Берне вполне сопоставимы с идеями русских революционных демократов, а Ф. Меринг, став марксистским критиком, пошел значительно дальше их в методологическом отношении. Но революционно-демократическая и марксистская критика на Западе в XIX веке все-таки была исключением, хотя и типическим исключением, островом в море чисто литературных, «автономных» методов. А в России наоборот — эстетская критика была островком в море общественно-активной журналистики. И именно потому, что она была окружена общественно-активным фоном, она была вынуждена постоянно обращаться к социальной жизни, хотя бы демонстративно отталкиваясь от нее, а часто и невольно вовлекаясь в общественно-политические споры. С другой стороны, известные уступки Меринга «автономии» художника тоже, вероятно, объясняются «островным» положением критика в чужом море.

В-третьих, целесообразно ограничить исследуемый материал *профессиональной* критикой, печатающейся в наиболее известных, наиболее характерных для эпохи журналах и газетах, именно широко диктующей и пропагандирующей свои взгляды.

При таких условиях можно выделить немало существенных отличий русской критики XIX века от ее западных параллелей. Прежде всего следует сказать, в добавление к вышеотмеченным, о наиболее общих, наиболее характерных чертах русской жизни прошлого века, о ее своеобразии по сравнению с жизнью стран

Западной Европы: это относительная молодость, относительная патриархальность, относительная целостность, относительная синтетичность всех институтов и форм.

В странах Западной Европы, даже в отсталой Германии, уже в средние века социально-политическая сущность жизни, да и все формы гуманитарной культуры, были уже достаточно сложными, многослойными и многоструктурными; мощнейшие толчки Возрождения и послеренессансных революций еще более усложнили и раздробили все области человеческого существования. Уже до Маркса почти все выдающиеся мыслители, от Паскаля до Кьеркегора, заговорили о разобщенности и раздвоении людей в позднефеодальном и буржуазном мире.

Романтики, введя понятие «двойника», закрепили это свойство и в художественно-психологическом анализе, и в критике (ср., например, подчеркивание Н. Полевым контрастов между Державиным-человеком и поэтом в рецензии на его собрание сочинений)¹¹. Реалистическое критическое сознание тем более подчеркивало всеобщее расслоение. Белинский, например, дал следующую «идеальную» характеристику древних греков, противопоставляя их народам современной Европы: «...жизнь их отличается полнотою, многосторонностью и какою-то целостностью, так что религия была у них искусством, искусство — религиею, жречество было тесно слито с администрацией; воин во время мира учился мудрости, а мудрец во время войны сражался за отечество, художник был гражданином, а простолудин не мог жить без театра. Не так, как в новом мире, где ученый дичится света и боится запаху пороха, военный, как достоинством, хвалится безграмотностью и гордится невежеством, а художник поставляет себе за честь и обязанность жить вне современных интересов общества <...>. Сама литература у новейших народов раздроблена на множество отраслей, так что знакомый с одною почитает себя вправе не знать других»¹².

¹¹ Н. П. Сочинения Державина. В 4 т. СПб., 1831 г. // Московский телеграф. 1832. № 15. С. 362—398; № 16. С. 523—555; № 18. С. 213—244.

¹² Белинский В. Г. Полн. собр. соч. В 13 т. М., 1954. Т. 5. С. 629—631. Все дальнейшие ссылки на это издание даются в тексте с указанием тома (римскими цифрами) и страницы. Ср. текст этого отрывка из статьи Белинского о значении слова «литература», опубликованный по черновой рукописи: Поляков М. Поэзия критической мысли: О мастерстве Белинского и некоторых вопросах литературной теории. М., 1968. С. 103—105.

Маркс в своих концепциях, в том числе и в теории отчуждения, обобщил все представления о подобных вещах, объяснил закономерность всеобщего расслоения, распада на клеточки и сферы в буржуазном обществе. Гуманитарные науки, не без влияния большого количества университетов, разбросанных по всей Европе, углублялись в себя, непрерывно дифференцируясь и разобщаясь; люди специализировались и тоже разобщались; в журналистике научные издания отделялись от художественных, литературная критика отделялась от социально-политической публицистики; ученый, литератор, публицист, критик отделял свою личную жизнь от общественно-печатной (иногда даже противопоставлял эти две жизни). Многовековая культурная традиция усложняла и изощряла каждую область, оттачивала методы и формы творчества, но одновременно многослойность, «многоэтажность» этой культуры приводила ко все большему отдалению от первоизданности, естественности жизни (от «примарности», *primaire*, как сказали бы французы) и усиливала *этикетность*, необходимое следствие изощренной и устоявшейся культуры (ибо становилось неприлично выражать естественные чувства; наоборот, прилично было показывать их отсутствие); многопоколенная традиция укореняла ритуалы, формальные стороны в самых различных сферах жизни, так что, например, сложные и утонченные правила вежливости приобретали антиестественный характер; ритуалы и лицемерие, опять же, еще больше отделяли одного человека от другого, да часто и служили уже формой осознаваемой «самозащиты», отделения от других по собственному желанию.

Ренессансное расковывание и развитие личности приводило в последующих веках к гипертрофии эгоизма и отчуждения, к страшным последствиям, которые особенно дали себя знать в XX веке.

Американская и французская революции XVIII века, наполеоновские войны всколыхнули мир, многое изменили и перепахали, создали ощущение динамической подвижности мира и всеобщей взаимосвязанности, но так как Европа вслед за этим лишь усилила и углубила свою буржуазность, то первоначальные центробежные и дробящие силы снова возобладали. Революционные идеологи именно разобщенность и отчуждение считали одним из страшных пороков буржуазного общества. Но нужны были грандиозные общественно-политические события

XX века: первая мировая война и Октябрьская революция в России, чтобы даже немарксистски настроенные прогрессивные деятели Запада осознали наличие в их странах двух взаимоисключающих друг друга тенденций: дальнейшего буржуазного «разложения» мира, с одной стороны, и с другой — все большей взаимосвязанности, солидарности, взаимозависимости честных людей не только западного региона, но всего земного шара; осознали и стали глашатаями второго пути. Пожалуй, наиболее точно это выразил Хемингуэй в эпиграфе к роману «По ком звонит колокол» (цитата из совсем не современного Джона Донна!): «Нет человека, который был бы как Остров, сам по себе: каждый человек есть часть Материка, часть Суши; и если Волной снесет в море береговой Утес, меньше станет Европа, и также, если смоем край Мыса или разрушит Замок твой или Друга твоего; смерть каждого Человека умалывает и меня, ибо я един со всем Человечеством, а потому не спрашивай никогда, по ком звонит Колокол: он звонит по Тебе».

На западном фоне русская жизнь XIX века выглядела значительно более молодой, «непричесанной», целостной (и в то же время парадоксально неустойчивой). Потрясшие Россию реформы Петра I не могли сразу пронизать все слои общества и всю патриархальную культуру Московской Руси, как не могли охватить страну в целом и революционные ситуации XIX века, хотя сгущению атмосферы неустойчивости они немало способствовали. Конечно, процесс социального расслоения развивался неуклонно, он был совершенно необратимым: дворянство отрывалось от деревни, от народа, крестьянская деревня тоже расслаивалась, чиновничество, отрываясь от низших слоев народа, располагалось по иерархическому ранжиру, возникали волчьи нравы буржуазного общества; но относительная патриархальность все-таки сохранялась: благодаря феодальной отсталости, благодаря колоссальным пространствам России, оторванности периферии от центров.

Тем более что в течение прошлого века по крайней мере трижды создавались такие исторические условия, когда многие слои образованного общества, да иногда и простого народа, заражались иллюзией *национального единства*, всеобщей сплоченности в свете общих интересов. Это война 1812 года, эпоха перед реформой 1861 года и борьба за освобождение южных славян в 70-х годах. Интересно, однако, что иллюзии развеивались от со-

бытия к событию, и следующая эпоха оставляла в лагере опьяненных иллюзией все меньше и меньше приверженцев. (На Западе же даже наполеоновские успехи не могли сплотить французскую нацию: слишком была обижена революцией феодально-монархическая верхушка общества.)

С другой стороны, все русские революционеры домарксистского периода, от Радищева и декабристов до народников включительно, верили, что, за исключением крайне узкой правящей верхушки и отдельных отщепенцев в средних и низших слоях общества, нация в целом заинтересована в радикальных преобразованиях, то есть что существуют общенациональные цели и интересы.

Наконец, еще один фактор, существенно определявший национальную специфику. Относительно молодое государство, подвижно и ускоренно развивавшееся, воспринимало себя как *страну будущего*, у которой открыты дороги и у которой все впереди. На этом парадоксально сходились западники и славянофилы, революционные демократы и либералы (хотя, разумеется, представления о будущем были весьма разнообразны и контрастны).

При таких социально-политических и общекультурных предпосылках можно выделить несколько коренных крайностей, антиномий, характерных соответственно для Запада и для России в области литературной критики, естественно теснейшим образом связанной и с литературой, и с философией, и с общественной мыслью; и лишь ограничивая себя, мы рассматриваем особо литературную критику.

1. Многовековое «разделение труда» на Западе специализировало литературную критику как журнальную науку об искусстве, о художественном в первую очередь. И немецкие гегельянцы (Рётшер, Фишер), и английские защитники «чистого искусства» от Кольриджа до О. Уайльда, и даже французские позитивисты, во главе с И. Тэнном, утверждавшие воздействие на писателей и художников «расы, среды и момента», *ориентировались* все-таки на произведения литературы и искусства. Если и выдвигались на первый план нравственные проблемы (в немецкой критике можно назвать, например, Берне, во французской — Планша, в английской — Вордсворта и др.), то все-таки акцентировалось воздействие искусства на жизнь, а не наоборот.

Русские же критики, не только публицисты, не только декабристы, шестидесятники, народники, марксисты, но и глашатаи

«третьего» пути вроде Ап. Григорьева и даже большинство апологетов «чистого искусства», например П. В. Анненков и А. В. Дружинин, *ориентировались на жизнь, на отображение жизни в искусстве*. Разница была лишь в интенсивности этого интереса и в его направленности: Чернышевского и Добролюбова интересовали прежде всего социально-политические проблемы, Григорьева — нравственно-психологические; Белинский жаждал отображения пороков крепостнического строя, Дружинин — светлых, «солнечных» начал бытия. Да кроме того, революционные демократы в качестве вторичного аспекта рассматривали и влияние искусства на жизнь, эстеты же этой проблемой не занимались. Но искусство как отражение действительности анализировалось подавляющим большинством русских критиков.

Вал. Майков очень удачно в статье «Нечто о русской литературе в 1846 г.» определил отличие между Гоголем и Достоевским: «Гоголь — поэт по преимуществу социальный, а г. Достоевский — по преимуществу психологический. Для одного индивидуум важен как представитель известного общества или известного круга; для другого самое общество интересно по влиянию его на личность индивидуума»¹³. Перефразируя это определение, можно сказать, что для большинства русских критиков XIX века человек важен прежде всего как представитель общества, для большинства западных — самое общество интересно по влиянию его на личность индивидуума (например, раса, среда и момент — три фактора, три фундамента, определяющих искусство, ценны для И. Тэна как фон, на котором рассматривается оригинальность творчества художника).

Западные критики, даже не будучи сторонниками искусства для искусства, почти всегда обращают внимание на специфически художественные аспекты произведений. Так Сент-Бёв, один из самых «социальных» критиков Франции, анализируя романы В. Гюго, не забывал упрекнуть писателя в художественных просчетах:

«В «Последнем дне заключенного» он с поразительным красноречием, но в тоне несколько более раздраженном, чем это подобает, когда речь идет о милосердии, провозгласил уважение к человеческой жизни»¹⁴. И тот же критик отметил в рецен-

¹³ Майков В. Н. Соч. Киев, 1901. Т. 1. С. 207.

¹⁴ Сент-Бёв Ш. Литературные портреты: Критические очерки. М., 1970. С. 141.

зии на «Госпожу Бовари» Флобера: «...здесь появляются подробности весьма резкие, щекотливые и чуть ли не способные возбудить чувственность; до этой грани, безусловно, не следовало доходить. К тому же книга не есть сама действительность и никогда не может быть ею»¹⁵.

А у нас даже Ап. Григорьев, постоянно ратовавший за специфику искусства, за литературу как особую форму жизни, именно эту грань между действительностью и искусством постоянно стирал. Наиболее прямо и утрированно выразил такое «нехудожественное» отношение к искусству и жизни Белинский в письме к В. П. Боткину от 2—6 декабря 1847 года: «Ты, Васенька, сибарит, сластена — тебе, вишь, давай поэзии да художества — тогда ты будешь смаковать и чмокать губами. А мне поэзии и художественности нужно не больше, как настолько, чтобы повесть была истинна, т. е. не впадала в аллегория или не отзывалась диссертациею. Для меня дело в деле. Главное, чтобы она вызывала вопросы, производила на общество нравственное впечатление. Если она достигает этой цели и вовсе без поэзии и творчества, — она для меня тем не менее интересна, и я ее не читаю, а пожираю» (XII, 445).

В русской литературной критике XIX века весьма велик удельный вес публицистики, публицистических отступлений, этического анализа, эзоповых приемов для разговоров на запретные социально-политические темы. А когда появлялись критики, нарочито отрывавшие эстетический анализ от этического, то их творчество воспринималось как выражение «чрезвычайно нерусских критических приемов»¹⁶. Это хорошо показал С. Г. Бочаров в статье о К. Леонтьеве¹⁷.

2. Как следует из вышесказанного, *западная критика прежде всего ориентировалась на писателя, на знатоков, на квалифицированных читателей; русская — на широкие читательские круги*. Во многих и многих западных статьях даются указания писателю, как ему творить в будущем, по какой дороге идти; довольно часто прогнозируется дальнейшая эволюция художника. А русский

¹⁵ Там же. С. 461.

¹⁶ Грифцов Б. А. Судьба К. Н. Леонтьева // Русская мысль. 1913. № 2, отд. II. С. 58.

¹⁷ Бочаров С. Г. «Эстетическое охранение» в литературной критике: (Константин Леонтьев о русской литературе) // Контекст — 1977. М., 1978. С. 142—193.

критик предпочитал прогнозировать жизнь, прогнозировать тенденции в развитии коллизий и характеров, обращаясь при этом не столько к *отдельному* писателю, сколько к *массовому читателю*. И рекомендации выдавались читателю: читать, не читать, читать с коррективами.

Поэтому в статьях русских критиков господствуют обращения к читателю, риторические приемы, пропаганда идей и произведений литературы, и наоборот, здесь очень мало советов писателям; в крайнем случае, следовало беспощадное разоблачение писателя, без особого стремления к изменениям его индивидуальных социально-политических или литературных воззрений.

3. Русские критики (по крайней мере, значительное их большинство) отличались большой общественно-публицистической активностью, которая была связана с их глубокой убежденностью в *необходимости изменить социально-политические институты*, обновить жизнь, ускорить слишком медленный ход истории. Критики действовали «волнуясь и спеша», *торопя события* и используя литературу для такого поторапливания.

У западных же критиков в целом наблюдается значительно более *общественно спокойное отношение к жизни и литературе*, более остраненное, «непрактичное» внимание к художественным процессам, *большее желание изучить их, чем изменить* или использовать их для изменения жизни. Западная критика XIX века с этой точки зрения несравненно «академичнее» русской. Критические страсти, правда, отдаляли и западную критику от «чистого» литературоведения, но это были страсти, главным образом, личного порядка (например, насколько по своему индивидуальному художественному методу был близок или далек от вкусов критика рецензируемый писатель). Эти личные пристрастия подчиняли себе и социальные вопросы.

4. Для русской критики очень характерна *крупномасштабность суждений, идей, идеалов*: перспективы развития литературы и жизни мыслились не в рамках малых и автономных коллективов, а в масштабе деятельности целого народа, страны или даже всего мира (если не всей вселенной!).

Дифференциация и специализация различных сфер западной действительности приводила, наоборот, к нарочитой ограниченности и к индивидуальной спецификации выводов, к нежеланию обобщать до грандиозной всеохватности бытия, к *концентрации*

внимания на частном, отдельном, оригинальном и самостоятельном, непохожем ни на что другое. Наблюдая со стороны за развитием русской культуры, известный испанский философ М. де Унамуно в 1920 году фактически подчеркнул именно две последние отмеченные нами особенности, рассматривая, правда, судьбы русского романа, а не критики: «В России роман это не жанр, не литература. И не беллетристика. Это вселенная, это целый мир, облеченный в плоть. Это также история; история, которую не только рассказывают, но и творят»¹⁸. Характеристику Унамуно можно смело перенести и на особенности русской критики...

5. Спецификация и «автономность» влияли в западной критике на жанры и композицию статей. Статья была как бы замкнутой, завершенной, посвященной *отдельному* (писателю, методу, произведению). Поэтому программно *преобладали жанры литературного портрета и монографической рецензии*. В русской же критике эти жанры, введенные в оборот Карамзиным, впоследствии лишь в особых условиях достигали своего расцвета. В целом же здесь преобладали синтез, разомкнутость анализа, открытость композиционных кульминаций и завершений, поэтому в русской критике имели успех, *преобладали жанры проблемных и обзорных статей*; а если в программной статье и анализировалось отдельное литературное явление, то от него следовал переход к общим проблемам общественного или литературного характера.

Господство одних жанров на Западе, других в России бросается в глаза при концентрации статей в отдельных томах собраний сочинений ведущих критиков. Еще более наглядное доказательство — сопоставительная демонстрация самых известных критических статей. В упомянутом многотомном исследовании по истории новой критики Р. Веллек к каждому тому прилагает хронологическую таблицу с указанием наиболее значительных критических работ и трудов по философии, эстетике, теории литературы — по отдельным странам. И если подсчитать статьи разных жанров критики в Англии, Франции, Германии, то окажется, что там будет много десятков литературных портретов и единицы — обзоров и проблемных статей (мало и рецензий, что объясняется стремлением Веллека отобрать лишь самые фунда-

¹⁸ Цит. по: Эджерстон В. Достоевский и Унамуно // Сравнительное изучение литератур: Сб. ст. к 80-летию академика М. П. Алексева. Л., 1976. С. 191.

ментальные, обобщающие статьи). Наоборот, в России, по таблице Веллека, преобладают обзоры и проблемные статьи; имеются также монографические рецензии (главным образом, в трудах революционных демократов), носящие программный характер и, собственно говоря, выходящие за рамки жанра рецензии на отдельное произведение.

6. Пропитанность культуры «отдельностью» приводит в западной критике к выделению личностного начала (великолепен гегелевский образ: «После заката всеобщего солнца мотылек летит на ламповый свет частного»).

Индивидуальность писателя, оригинальность произведения и особенно личность критика, его ярко выраженная частность (что не уничтожает претензий многих критиков на общеобязательность их суждений) — очень заметны в западной критике.

В русской критике более типична *приобщенность критика к миру, к науке, к общественной группе, к редакционному кружку, с почти постоянной оглядкой на народ, на народные нужды и на народное мнение*. Писателей, произведения, читателей критик будет тоже приобщать к коллективу, к группе (недаром принципиально стоявший вне журнальных групп Ап. Григорьев выглядел в середине XIX века странным, оригинальным, нетипичным). В связи с этим заметно преобладание в русской критике XIX века личной формы *мы над я*. Преувеличенное развитие *я* критика, глубоко личного (иногда даже индивидуалистического) начала в творчестве Вал. Майкова и Писарева свидетельствует об их относительной исключительности, единичности в национальном мире и явном их «западничестве».

7. Характерная для многовековой многослойной культуры ритуальность, этикетность обусловила в западной критике *этикетные, вежливые формы, способствующие закрытию от читателя интимных, частных сторон облика критика*. Как, например, по английскому обычаю неприлично на вопрос о здоровье начать рассказ о реальных болезнях вместо стандартного ответа о благополучии, так и в критике считались неудобными откровенные лирические излияния о своих сомнениях, слабостях, реальных событиях. При всей подчеркнутой личностности суждений критик соблюдал общепринятые нормы «поведения», иногда еще надевал на себя литературную маску, совершенно отделяющую повествователя статьи от реальной личности критика (в русской критике таким «западным» человеком был О. И. Сенковский —

но только именно в смысле маски, закрывания от читателя своего подлинного лица при внешней гипертрофии «ячества», личности, а вовсе не в смысле этикетности: Сенковский был скорее распоясанно груб в своих статьях).

Для русской же критики показательна *предельная откровенность суждений*, выражавшаяся в нелицемерной прямоте восторженных похвал и еще больше — резких неприятий; в обнаженной честности признаний (например, Белинский совершенно не стеснялся публично и неоднократно признаваться в своих прежних ошибках и в незнании каких-то фактов или целых гуманитарных областей), в благородном единстве слова и дела, то есть единстве жизненного поведения и декларируемых идеалов. Тот же Белинский писал К. Д. Кавелину об отличительной черте своей критики (из скромности преуменьшая талант): «... я знаю, что моя сила не в таланте, а в страсти, в субъективном характере моей натуры и личности, в том, что моя статья и я — всегда нечто нераздельное» (XII, 455). А с другой стороны, Герцен справедливо характеризовал славянофила К. Аксакова: «... он за свою веру пошел бы на площадь, пошел бы на плаху, а когда это чувствуется за словами, они становятся страшно убедительны»¹⁹.

Поэтому при сопоставлении заметна *умеренность, относительная ровность тона и мыслей* западных критиков и *крайности, страстный экстремизм русских* (здесь еще немалую роль играли отмеченные выше динамизм, устремленность в будущее, открытость русской культуры). Прежде всего, разумеется, вспоминается облик «неистового Виссариона», так удачно очерченный Герценом: «Его слог часто бывал угловат, но всегда полон энергии. Он сообщал свою мысль с тою же страстью, с какою зачинал ее. В каждом его слове чувствуешь, что человек этот пишет своею кровью, чувствуешь, как он расточает свои силы и как он сжигает себя; болезненный, раздражительный, он не знал границ ни в любви, ни в ненависти» (VII, 238).

Да что Белинский! Даже тихий, умеренный, искавший золотую середину С. С. Дудышкин довольно часто высказывал весьма экстремальные мнения о русской литературе: то он отказывает в «народности» Пушкину, то нападает на Некрасова, то ожесточенно клеймит характер лермонтовского Печорина.

¹⁹ Герцен А. И. Собр. соч. В 30 т. Т. 9, М., 1956. С. 163. Следующая ссылка — на это издание.

Самые-самые резкие критические споры на Западе (вроде полемики Байрона и «Эдинбургского обозрения» с поэтами «озерной школы» в начале XIX века или, в особенности, нападок Г. Гейне на Л. Берне в 1840 году) бледнеют по сравнению, например, с «расколом в нигилистах» (спор «Современника» с «Русским словом»), также как никакие критические памфлеты и инвективы Запада не могут сравниться по силе страсти, гнева, откровенности с письмом Белинского к Гоголю. Русская критика предпочитала называть вещи своими именами; если воспользоваться образами пушкинской эпитаграммы, она говорила о недруге: «Козел в очках, плюгавый клеветник», в то время как на Западе было принято унижать иносказательно: «Господин парнасский старовер, бессмыслицы оратор...»

Открытость, обнаженность, откровенность в сочетании с демократизмом идеологии, с постоянным вниманием к тяжелой судьбе родины, народа создали уникальную психологическую черту русской интеллигенции XIX века — *больную совесть*. Принято считать это качество дворянским, как своего рода ответственность, чувство стыда за угнетение крестьян, за крепостной и послекрепостнический эксплуататорский строй. Действительно, большая совесть очень характерна для передового дворянства XIX века, но она не менее характерна и для демократического разночинства, также чувствовавшего и ответственность, и стыд за все, что творилось в царской России и над народом, и над интеллигенцией.

8. Несколько «факультативными», охватывающими не подавляющую массу русской критики, но, однако, изрядную ее часть, являются еще — в противовес западной *обдуманности, отточенности, формальной «закругленности»* — *экспромтность, первозданность, даже некоторая хаотичность, «непричесанность» статей*, проникающие прежде всего в композицию и стиль критических произведений. Таково большинство статей Белинского; критик понимал эту свою особенность, признаваясь, например, в письме к В. П. Боткину от 28 февраля 1847 года: «Все лучшие мои статьи нисколько не обдуманы, это импровизации, садясь за них, я не знал, что я буду писать» (XII, 339); неоднократно Белинский признавался в этом и публично: «Я и сам не знаю, любезные читатели, как оно будет длинно. Может быть, из него выйдет и преуморительный уродец: избушка на курьих ножках, царь с ноготок, борода с локоток, а голова с пивной котел. Что делать, не я первый, не я последний; у нас это так в моде» (I, 40).

Еще более хаотичен и «экспромтен» Ап. Григорьев, тоже хорошо знавший свой «грех» и так характеризовавший свою статью «О правде и искренности в искусстве» (1856): «Статья явилась на свет решительно в муках раскаяния, каким-то неправильно развившимся эмбрионом, с головой, значительно разросшейся за счет туловища, и, как эмбрион, на своих ногах ходить не могла»²⁰. И Н. Н. Страхов подтверждал, со слов самого Григорьева: «Начиная свою статью, он никогда не знал ее конца, так он сам мне говорил незадолго до смерти»²¹.

Отдельные черты бесплановости, хаотичности в построении статьи можно еще найти у Н. Полевого (который мог, например, в статье о «Борисе Годунове» пообещать продолжение — «Окончание в следующей книжке» — и так его и не выполнить), а также у Н. Надеждина, у славянофилов. Зато статьи Вал. Майкова, Чернышевского, Добролюбова, Писарева, некоторых семидесятников, марксистов отличаются продуманностью, размеренностью и в этом отношении сближаются с западной традицией.

Перечисленные признаки придают русской критике XIX века неповторимое своеобразие, но не являются самодовольной индугенцией, не свидетельствуют о превосходстве русской критики над зарубежной. В ней иногда, к сожалению, встречались и утраты, и промахи: например, непризнание, непонимание сложного творчества позднего Пушкина (30-х годов), впоследствии распространявшееся на Пушкина в целом; очень трудным для русской критики предстал многосторонний Гоголь; наконец, следует прямо сказать, что критика оказалась неподготовленной к достойной встрече романов двух гениев русской литературы — Толстого и Достоевского, предоставив все глубокие статьи о них XX веку.

Конечно, подобные упущения не снижают громадного историко-литературного и теоретического значения классической русской критики. Современным критикам есть на что опереться в истории отечественной культуры. Совершенствуя свое мастерство, они могут чрезвычайно широко использовать наследие прошлого.

²⁰ Григорьев Ап. Литературная критика. М., 1967. С. 406. Любопытно, что Григорьев почти повторяет образ Белинского — о царе с ноготок, с головой, как пивной котел: получился вольный или невольный перифраз из Белинского.

²¹ Страхов Н. Н. Воспоминания об Аполлоне Александровиче Григорьеве // Эпоха, 1864. № 9. С. 11.

О СЛОЖНОСТЯХ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ *

Как правило, человек един в своих чувствах и поступках по отношению к разным объектам. Натура отзывчивая, отдающая себя людям поможет не только ближнему, но и совсем незнакомому, попавшему в беду. Если душа полна любовью к Родине, то мало вероятно, что человек будет груб и жесток с родителями. Если характер — уверенный в себе, властный, рвущийся распоряжаться, то такая личность станет учить всех и жаждать командовать всеми: женой (мужем), детьми, товарищами, соседями, случайными спутниками в дороге...

Последний пример относится к самому главному признаку мещанина, отличающему его от интеллигента. Среди других качеств интеллигента ведущими оказываются терпимость, европейская «толерантность», мягкость и ненавязчивость (напомню, что «джентль», составная часть английского слова «джентльмен» означает мягкость доброту, кротость), доверие к другому человеку или, по крайней мере, представление о том, что другой имеет право на свои вкусы и свое понимание мира. Мещанин, наоборот, уверен в единственности истины и вкуса, а также в своем преимущественном праве на истину в последней инстанции, в обладании вкусом и истиной в последней инстанции, поэтому он претендует и на право внедрять их в человечество. Понятия «мещанин» и «интеллигент» я употребляю не в сословном, социальном смысле, а в психологическом: мещанином может быть профессор или художник, а интеллигентом — простой крестьянин.

[В каких только областях не проявляется мещанская натура! Если учитель вопит, что его ученики носят не те брюки и не те прически, он — мещанин. Если директор Дома культуры не разрешает включать их любимые мелодии и танцевать

* При публикации в журнале «Радуга» статья была сокращена; восстанавливаем в квадратных скобках изъятые. К статье прилагается газетная заметка, тесно связанная с темой.

любимые танцы, он — мещанин. Если к вам пришел знакомый и начал убежденно доказывать, что мебель нужно расставить иным способом и обои купить другие, он — мещанин].

Мещане всегда за унификацию, за сильную власть, они всегда националисты, ибо уверены, что именно их нация самая лучшая в мире, а все другие обязательно неполноценны и должны у нее учиться. Венгерская супружеская пара (венгры советские, живущие в Закарпатье) едет в поезде домой; с ними в купе — тихий славянин. Супруги, естественно, разговаривают между собой по-венгерски. Славянин терпел, накаляясь душевно, а потом взорвался: «Вы что же, по-человечески говорить не умеете?!». Именно так: человеческий — это его родной язык, а остальные же — дикарские, нечеловеческие... А представляете себе такого героя в роли администратора, крупного начальника? Да еще в другой республике? Ох и наломает он дров, — вызовет волну ненависти людей коренной нации не только к своей особе, но и к своим соплеменникам. Ведь сплошь и рядом представитель не твоей нации, другой, воспринимается именно как *типичский* представитель, концентрирующий в себе все достоинства и недостатки этого другого народа.

Национальные взаимоотношения — одна из самых сложных и деликатных сфер человеческого общежития. Стало уже банальностью подчеркивать, что мы много лет пренебрегали этими сложностями. Но далеко ли мы продвинулись в реальных делах, когда начали говорить об этом? Да и говорим мы часто не до конца, многого не договариваем.

Например, все ли русские понимают, что постоянное употребление выражений типа «великий русский народ» косвенно унижает другие нации нашей страны, при упоминании которых не принято употреблять слово «великий»? Хотя, например, украинцы или армяне вполне заслужили такое историческое и культурное право, но... будешь применять термин «великий» — угодишь в националисты! Русскому можно, армянину — нельзя. Но дело не только в этом. Ведь целый ряд наших наций и народностей и по количеству населения, и по древности культуры не могут претендовать на титул «великие», а это не менее щекотливо: получается, что все они как бы невольно принижаются.

Лет пятнадцать назад был у меня интересный разговор с одним польским патриотом, трагически переживавшим историческую судьбу своего народа (он считал, что Польша претендовала

на роль одной из самых значительных стран мира, но в XVII веке «проиграла историю», не удержавшись в пределах Московии). Я стал развивать свои тогдашние мысли о различии в национальной психологии у больших и малых народов. «А вы поляков считаете малым народом?» — «Да», — ответил я просто-душно, мысленно сравнивая количество русских и поляков. — «Вы не правы, — возразил он, помрачнев, — мы средняя нация, нас в мире почти 40 миллионов». Я впервые тогда понял, как легко при всей теоретической доброжелательности обидеть национальную честь человека; где уж там «великим», даже количественно «большим» можно задеть национальную гордость.

Большой русский писатель Михаил Булгаков (надеюсь, тут уж никто меня не упрекнет в чрезмерности!) первую половину своей жизни прожил в Киеве, в окружении украинской языковой и фольклорной стихии, в обстановке интенсивного развития украинской гуманитарной культуры, роста украинской интеллигенции. Но, воспитанный в русской семье, Булгаков как-то прошел мимо всего украинского: видимо, он, подобно В. Белинскому, воспринимал «малороссийский» язык не как самостоятельный, национальный, а как своеобразный диалект, местную разновидность русского языка. Казалось бы, к XX веку, после Шевченко и Леси Украинки, после Франко и Коцюбинского писателю можно было бы и осознать самостоятельность украинского не только народного, но и литературного языка, вообще — самостоятельность украинской культуры. Но вот — не осознал! Поэтому получилось так, что единственное значительное изображение национального украинского у Булгакова — сатирические сцены прихода петлюровцев в Киев из романа «Белая гвардия» и пьесы «Дни Турбиных». Ясно, что украинские патриоты не могут сочувствовать такой ограниченности художника и болезненно воспринимают идею открыть в Киеве музей-квартиру М. Булгакова, в то время как многие выдающиеся представители украинской культуры не только персональных музеев, даже небольшого стенда в краеведческом музее не имеют. Сатирические сцены у Булгакова — большая заноза в патриотической душе украинских интеллигентов.

За последние годы, благодаря гласности, мы много раз наблюдали подобные невольные уколы и обиды. Может быть, наиболее показательный пример — рассказ Виктора Астафьева «Ловля пескарей в Грузии» («Наш современник», 1986, № 5). Каза-

лось бы, что там особенного: ну, писатель посердился на грузинских торгашей, ну, добродушно высмеял двух незадачливых рыболовов. А между тем массовые протесты общественности дошли до того, что грузинская делегация покинула заседание всесоюзного съезда писателей, а руководство журнала потом печатно извинялось за публикацию. Дело же вот в чем. Большой художник, воистину народный писатель России невольно, бессознательно противопоставил национальные черты: повествователь, русский человек, выглядит в рассказе честным, умным, ловким умельцем, а появляющиеся на страницах грузины — или грязно-алчные торговцы, или просто жадные недотепы. Есть на что обидеться!

Так нельзя. Нужно думать не только о своей национальной чести. Интересно, как понравилось бы В. Астафьеву, если бы какой-либо известный грузинский писатель поиздевался в своей рассказе над эпизодическими русскими персонажами: что, разве не нашлись бы, как образцы, русские подонки под кавказским небом?

Но грузины, слава Богу, предпочитают в литературе и искусстве высмеивать свои недостатки, освобождаясь от своей грязи. Фильм Т. Абуладзе «Покаяние» является благороднейшим примером такого рода. Никто из честных грузин не обидится на его мощные разоблачения. Вспомним, что еще Пушкин удивлялся; сам он может ругать Россию сколько угодно, но ему неприятно слышать подобную брань из уст иностранца.

Есть в отмеченном выше пороке и другая некрасивая сторона: покрывание «своих», желание выгородить соплеменников. В прошлом году от попутчика-армянина (не интеллигента!) я слышал гневные тирады по поводу коррупции и nepотизма (кумовства) в Грузии и Азербайджане. «А что же, — спросил я с улыбкой, — в Армении ничего такого нет?» — «Есть, конечно, но в минимальных размерах, не сравнимых с Грузией или Азербайджаном». А из газет-то, если не из живой практики, мы знаем, насколько небезгрешна и эта республика. Согласитесь, уважаемые читатели, что этот недостаток, проистекающий от болезненно повышенного чувства патриотизма, был бы вполне извинителен, если бы не охаивание чужого.

[Восхваление своей нации (разумеется, без унижения других) — скорее смешная, чем отвратительная черта. Представьте, что человек постоянно превозносит до небес свою матушку.

Ну и на здоровье. Вряд ли окружающие станут злиться на него, скорее начнут подтрунивать и подсмеиваться. Но согласитесь, с другой стороны, что есть в таком превознесении и опасная подкладка; если мое такое прекрасное, значит все другое — похуже? Невольно, хочешь — не хочешь, начинаешь унижать других. А нужно постоянно думать о других, оглядываться, как оглядываешься окрест, проходя в толпе на перекрестке, нужно вернуть выражению «чувство локтя» его первоначальный смысл (а сейчас все более в моду входит циничная его переделка: «чувство локтя у того, кто сумел всех растолкать и прийти первым»)].

И еще не забудем про стыд. Мне кажется, что нормальному человеку просто совестно хвастаться, совестно восхвалять свое: мать, сына, Родину. Честно скажу: мне как-то неловко за поэтов и публицистов, которые громогласно и многократно воспевают своих родителей или свое Отечество; так и кажется, что писатель сомневается в отношении к ним других людей и хочет убедить их... Но пусть другие сами об этом скажут, а ты постарайся сделать так, чтобы «твои» были в самом деле хорошими. Восхваление «своего» унижает не только других, но и себя. Один остряк заметил: «Сам себя не похвалишь — сидишь, как оплеванный». Реально-то получается наоборот: униженным, оплеванным оказывается похвальбушка.

Недаром истинными патриотами были люди критической мысли, революционеры, сатирики. М. П. Погодин, консерватор, монархист, близкий к славянофилам и сам склонный скорее воспевать Россию, чем бранить ее, тем не менее в некрологе рано умершему ученому и журналисту В. П. Андросову («Москвитянин», 1841, № 11) заметил: «Он любил искренно отечество, но любовь его выражалась не столько в похвале хорошему, сколько в осуждении дурного».

Конечно, невозможно все свести к хулам, к сатире, к разоблачению. На одном негативизме далеко не уедешь. Да настоящие художники никогда такими и не были. У Салтыкова-Щедрина, например, сквозь ядовитые очерки еще как прорывались строки сердечной любви к Родине, к своему народу. Но его положительные персонажи — из крестьян ли, или из разночинной молодежи, — полнокровные образы, а не голые декларации. И никогда Щедрин не скрывал, не замазывал драматизма межнациональных отношений в царской России: намекал, учитывая цензурные запреты, на завоевательную политику правительства в

Средней Азии, откровенно размышлял о различиях русского и еврейского буржуа-капиталиста и т. д.

С щедринских времен много воды утекло, много межнациональных аспектов и проблем отмерло, но много и новых возникло. [О них не принято было говорить. Есть анекдот об одном ленинградском крупном чиновнике хрущевских времен: когда приехала представительная делегация породненного с Ленинградом города Гавра, состоялась беседа, где руководитель французской делегации сообщил наиболее существенные цифры городской статистики и соответственно спрашивал у нашего чиновника данные по Ленинграду. Пока речь шла о численности населения, о рождаемости, о свадьбах, то наш работник браво сыпал сведения, но когда его спросили о смертности, то он гордо ответил: «В Ленинграде нет смертности!» Если этот рассказ и фантастический, то все равно он очень жизненный. Уверен, что на вопрос о национальных сложностях чиновник не задумываясь бы ответил: «У нас нет таких проблем». Увы, они есть.] Сталинские репрессии по отношению к целым народам, замазывание трудностей в года «застоя» снова обострили ряд нерешенных вопросов. То, что они существуют, показали события в Алма-Ате и Прибалтике, волнения крымских татар, конфликты на Кавказе и на Украине.

Для того, чтобы бороться с трудностями, преодолевать напряженность, нужны прежде всего откровенные научные и художественные исследования прежних перекосов и грехов. У нас уже появляются прекрасные произведения на эту тему, в том числе одно — просто выдающееся: повесть А. Приставкина «Ночевала тучка золотая...» Изображение душевной близости двух несчастных мальчишек, русского и чеченца, стоит десятков казенных докладов и статей о необходимости дружбы народов.

Конечно, необходимы и реальные преобразования нашей организационной системы, в первую очередь — освобождение местных руководителей от тягостной централизованной опеки в области промышленности, сельского хозяйства, просвещения и т. д. Много лет прошло, но я не забыл и никогда не забуду перекошенное от гнева лицо министра культуры Грузинской ССР и его срывающиеся слова: «Глупая девчонка, ничтожная чиновница, клерк, но она сидит в Москве и лучше меня знает, сколько библиотек должно быть в нашей республике! Я не могу открыть по своей воле небольшую сельскую библиотеку!»

А сколько было у бюрократов страха: разве можно давать республикам самостоятельность! Тем более в области культуры! Ведь это будет рассадник национализма! Не думали при этом о том, что как раз их-то действия и есть благодатнейшая почва для возникновения националистических настроений! Вспоминается один киевский эпизод. Юбилей Т. Г. Шевченко. Толпы людей вокруг памятника Кобзарю. Прекрасный университетский хор исполняет знаменитое «Завещание» на языке поэта. Для украинцев оно стало народной песней, святыней, люди подтягиваются, снимают головные уборы... Высоко и достойно. И вдруг по окончании ни с того, ни с сего — «Подмосковные вечера». Тоже ведь хорошая песня, но какой глупостью, каким кощунством она выглядит в таком контексте! А это верно какому-нибудь чиновному идиоту втемяшилось, что если исполнить одну украинскую песню, то как бы не обвинили в перекосе... А перекос-то как раз тут, в этой отвратительной перестраховке. Вся моя русская патриотическая душа на дыбы поднялась от позора, от гнева, от стыда... Представляю же, каковы были чувства и думы стоящих вокруг украинцев. Вот так мы и насаждали сверху национализм, боясь его и якобы борясь с ним... Хочется надеяться, что эти времена — в прошлом.

Считаю, что необходимы какие-то государственные меры и в такой щекотливой области, как изучение коренного языка той или иной республики. Ведь не секрет, что пользуясь равноправием русского и местного языков, многие пришельцы не хотят изучать местный язык. А такое пренебрежение обижает местных жителей, возникает еще один напряженный момент в целом ряде других. Люди, приехавшие в Эстонию из других союзных республик, должны изучать эстонский язык, это так же естественно, как и то, что поселившиеся в РСФСР эстонцы, узбеки и т. д. не могут обойтись без знания русского языка.

Стоило бы не ограничиваться одними благородными лозунгами (мы ведь знаем, к чему привели многолетние призывы хорошо работать — без экономической поддержки). Почему бы, например, не ввести материальное стимулирование? В некоторых учреждениях прибавляют к зарплате 5 или 10 процентов за знание иностранного языка. А в этом случае можно было бы ввести стимулирование в виде наказания: скажем, если ты работаешь в Эстонии и не знаешь эстонского языка, то с тебя вычитают ежемесячно 5% зарплаты. [В первую очередь эту меру стоило

бы применять не на заводах и не в колхозах-совхозах, а в учебных заведениях, в учреждениях культуры и среди руководящего аппарата. Для равноправия можно было бы ввести такое наказание и для эстонцев, не владеющих русским языком. Требования можно было бы установить нетрудные: умение вести житейский разговор, чтение и перевод газетного текста и т. п.] Уверяю вас, материальное ущемление окажется куда более действенным, чем все призывы и уговоры. [А польза выйдет большая. Преодоление языкового барьера — первый шаг к сближению, не говоря уже об ощущении равенства, равноправия (в скобках замечу, что прибавка в зарплате преподавателям русского языка в школах Эстонии, по сравнению с другими учителями — отвратительная мера, способная не улучшить преподавание русского языка, а вызвать к нему неприязнь).]

А. Приставкин в интервью газете «Советская культура» (23 января 1988 г.) хорошо сказал об этом: «...говоря о социальной справедливости, нужно помнить о факторе национальной справедливости. Всем народам должны быть даны равные возможности, как это утверждено нашей Конституцией». Воистину так.

Я знаю, есть в моей республике группы людей, которые считают, что русскому человеку в РСФСР живется значительно хуже, денег на развитие хозяйства отпускается значительно меньше, чем жителям других республик. На некоторых научных конференциях приводились соответствующие цифры. Разумеется, если эти цифры объективны, необходима их публикация в открытой печати и необходимы открытые меры по ликвидации несправедливости. Но не мешает также привести данные, сколько из произведенного в каждой республике отправляется за ее пределы и, соответственно, сколько республика получает: все ли здесь равномерно и равноправно? Скажу по чести, мне одинаково больно наблюдать как поезда мешочников из Псковщины, едущих в Эстонию за продуктами и промтоварами, так и периодическую нехватку мясных продуктов в Эстонии, богатейшей мясо-молочной державе... Будем надеяться, что современные законодательные меры изменят положение, ликвидируют диспропорцию.

Однако никакие законы не могут охватить всей сложности жизни, всей деликатности межнационального общения. И здесь еще раз позвольте напомнить о различии между мещанином и интеллигентом и о важности воспитания интеллигентности. Мещанину нет дела до особой культуры, особой психологии дру-

гого народа, а если и есть дело, то он не скрывает раздражения и подозрительности: что, мол, еще там за особость!? Только мое значительно и перспективно, все чужое — скучно и опасно. Более опасно, чем скучно. Поэтому по возможности инородца нужно прижать, зажать, а если можно, то и искоренить. Во всех бедах родной страны виноваты, по мнению мещанина, инородцы или чужестранцы.

Интеллигент наоборот, берет ответственность на себя, в грехах винит в первую очередь себя или своих предков, хотя и не оправдывает, естественно, вину других народов, выступавших, скажем, агрессором. [Но интеллигент даже в своих антипатиях терпим и сдержан. В. Короленко в публицистических заметках о поездке в США интересно рассказывает о беседе с одним американцем по поводу антисемитизма; американец начал издалеку, заявив, что не любит зеленого горошка, но не будет ни запрещать, ни протестовать: ведь другие могут любить его; то же и с евреями, перешел он к главной теме; он не любит их, но никаких акций против них не будет предпринимать; может быть, другие их любят! Короленке понравилась такая откровенная терпимость. Вряд ли, впрочем, интеллигент будет так обобщенно воспринимать всю нацию в целом, положительно или отрицательно.] Интеллигент прекрасно понимает, что в каждой нации есть две нации, да и вообще он прежде попытается разобраться, понять, изучить все про и контра, а тогда уже выносить обобщенный приговор. Интеллигент всегда любознателен, ему интересна чужая культура, интересен чужой язык; познавая чужое, он расширяет свой кругозор, лучше понимает особенности своего, родного. Интеллигент, любя свое, понимает, что другой может так же любить свое собственное, поэтому он, уважая себя, уважает и другого, он со вниманием относится к различиям национальных традиций, национальной психологии (кстати сказать, как мало у нас серьезных исследований о таких различиях!).

В эстонской печати были интересные упоминания о большей открытости русского национального характера по сравнению с эстонским, открытости, способной перейти в бесцеремонность. Последнее позвольте переадресовать русскому мещанству, а от общенациональной открытости не отказываюсь... Давайте же вместе, люди разных народов, стремиться уменьшать количество своих мещан и воспитывать побольше интеллигентов.

Приложение

(моя заметка в «Книжном обозрении» 22 июля 1988 г., № 30)

Мне очень близка статья «Воспитание чувств» («КО» № 20 от 13 мая), как и другие работы Л. Разгона. Но с одной идеей автора решительно не могу согласиться: «Интернациональное воспитание, мне кажется, нужно начинать с того, чтобы искоренить подчеркивание национальности, начало которому было положено в сталинские времена».

Во-первых, почему в сталинские? Чуть ли не все выдающиеся представители русской культуры, начиная по крайней мере с Ломоносова и Фонвизина, подчеркивали при случае свою «русскость», свою национальность. Думаю, большинство великих иностранцев делало то же самое. Делают это и представители культур народов СССР, если только им не зажимают рот местные и центральные чиновники, боясь крамолы национализма.

Во-вторых, ужасно звучит по отношению к национальности императив «искоренить» (пусть даже предлагается уничтожение не нации как таковой, а лишь ее подчеркивания). Это, якобы, антисталинизм, но просвечивают-то сталинские методы! Искоренять можно фашизм, расизм, человеконенавистничество. Но нации-то здесь причем? Во времена смешения культур и языков, забвения традиций, своеобразного усреднения человека национальность становится тем самобытным, неповторимым началом, которое украшает народ и личность, как украшает всякого принадлежность к определенному географически-культурному региону («сибиряк», «волжанин», «ленинградец», «одессит» и т. д.). Смеею думать, что национальное и региональное — более долговечные категории, чем, скажем, классовое. Очень хорошо сформулировал эту тенденцию А. Яковлев: «... по мере отмирания классовых различий, дальнейшего развития общих черт образа жизни и духовного облика людей больше дают о себе знать различия неклассового характера — профессиональные, культурно-бытовые, возрастные, национально-языковые» («Коммунист», 1987, № 8, с. 20).

И почему нужно не подчеркивать (скрывать, что ли?) свою принадлежность к нации, области, семье? Такое возможно лишь при неравенстве наций или других категорий людей. Похоже, в странах англосаксонского мира до сих пор не изжито пренебрежительное отношение к цветным народам, да и сами представители этих народов как бы чувствуют нечто вроде комплекса не-

полноценности. На недавнем телемосте симпатичная, миловидная американская индианка жаловалась: «Полюбить могут лишь блондинку с голубыми глазами». В таком мире, может быть, и стоит проповедовать «неподчеркивание».

Не будем лицемерами: и в нашей стране сколько угодно еще национальных пристрастий. Так надо бороться с шовинизмом, а не с названием своей национальности. Шовинизм отличается от истинного патриотизма именно возвеличиванием своего за счет чужого, а не просто подчеркиванием своего.

Ни к чему, конечно, подчеркивать на каждом шагу свою национальную принадлежность, а тем более хвастаться своими предками (национальными, региональными, семейными): лучше самому стремиться быть достойным всего хорошего, что отличало твоих предков, и пусть другие тебя похвалят. Но помнить о своем роде-племени, не стыдиться, а гордиться предками (конечно, если они того заслужили), хранить их заветы и честь, одновременно уважительно относясь к другим племенам и семьям, — куда более почетная задача, чем заниматься уничтожением национальных свойств.

СЛАВЯНОФИЛЫ

СЛАВЯНОФИЛЬСТВО

— направление в русской общественной и литературной мысли 40—60-х гг. XIX в., отстаивавшее в противоположность западничеству особые, «самобытные», внеевропейские тенденции в развитии России, ее истории и культуры. Термин «славянофильство», как и «западничество», условен, не раскрывает всей сложности воззрений деятелей группы, введен в оборот противниками; сами славянофилы с неодобрением относились к нему и называли свое учение «славяно-христианским», «московским», «истинно русским». В современной литературе встречается расширительное понимание термина, применяемого и к идеям национально-освободительного движения южных и западных славян XIX в., и к русским деятелям типа А. С. Шишкова или даже к «евразийцам» 1920-х гг.

Учение славянофильства начали создавать А. С. Хомяков и И. В. Киреевский во 2-й половине 30-х гг. (программная статья «О старом и новом», 1839, Хомякова, «В ответ А. С. Хомякову», 1839, И. Киреевского); свои взгляды вожди славянофильства развивали и уточняли до конца жизни. В 40-е гг. к «старшим» славянофилам (к ним относятся также П. В. Киреевский, А. И. Кошелев) примкнули «младшие» — Ю. Ф. Самарин, К. С. Аксаков и И. С. Аксаков, а также Д. А. Валуев, А. Н. Попов, В. А. Елагин, В. А. Черкасский, Н. П. Гиляров-Платонов и другие. Отдельными чертами мировоззрения к славянофилам близки М. П. Погодин, С. П. Шевырев, Н. М. Языков.

Славянофилы требовали уничтожения крепостного права, желали всеобщего просвещения, освобождения человека и искусства от пут бюрократичной государственной власти, от сервилизма и угодничества. Однако, будучи консервативными мыслителями, они решительно расходились с западниками в отношении к монархии и к европейским политическим формам. Славянофилы сознавали, что развитие интеллектуальной и технической культуры на Западе сопровождалось угасанием духовной жизни и прежде всего — нравственности. Они проницательно охарактеризовали реальные недостатки западноевропейской

буржуазной цивилизации: омещанивание, обездушивание, «обезбоживание» человека, превращение общества в сумму эгоистичных и меркантильных индивидов. При этом «западными» объявлялись также социалистические учения, революционные движения, резко враждебного отношения к которым славянофилы никогда не скрывали; отсюда их откровенная вражда к русской революционной демократии, к радикальной журналистике.

Спасение родины от участи Запада славянофилы искали в сохранении и развитии православия и патриархально-общинных основ, уходящих корнями в быт и нравы допетровской Руси. Нельзя сказать, что защитники старины не видели в древней и средневековой Руси отвратительных черт самоуправства, темноты, косности (см. стихотворение Хомякова «Не говорите: то былое...»). Но в поисках нормы они идеализировали религиозно-нравственные и социальные начала Киевской и Московской Руси, создавая модель утопического общинного строя, где господствовало единство всего народа — от царя до крестьянина, где гармонически сочетались интересы всех и каждого, интересы бояр и холопов, где все было основано на христианской вере и идеальной этике, на началах любви, добра, братства, «соборности».

Возникло противопоставление реальной Зап. Европы и идеальной России. (У либеральных западников, наоборот, идеальный Запад в противовес «отсталой» России). В Европе, утверждали славянофилы, власть завоевывается насилием, основана «на крови»; отсюда — разделение на враждебные нации и сословия; стремление к личной пользе, напряженность и конфликтность жизни; подчинение церкви государству; рационализм, разобщенность, всеразлагающий рассудок; сила материальная; следование формальностям и закону. В России — добровольное объединение и добровольное призвание правителей, отсутствие сословной вражды; общественное, общинное, «соборное», совестливое как главные черты характера; свободная, независимая церковь; соединяющий разум, цельность, единство; сила духовная; следование истине и обычаям отцов. Кардинальным становилось различие судеб личности, ее свободы и расцвета. На Западе, по мнению славянофилов, становление личности сопряжено с ее «отъединением», изоляцией от «всех»: в России же условием расцвета личности должно быть «смирение» — «не баранья покорность» факту и событию, а «самоотречение» во имя закона отцов, общины, народа, «мира» и главное — единства православной церкви.

Восстановление внутренне целостной личности, ее духовной полноты и свободы неотделимо от такого самоотречения (славянофилы противопоставляли народное не общечеловеческому, а эгоистически-личному).

Явная неудовлетворенность существующим общественным строем в России (и самодержавием, и наступающими буржуазными отношениями), истинная любовь к народу и боль за него (стих. Хомякова «России») заставляли славянофилов желать перемен (после смерти Николая I в сознании славянофилов появились черты либерально-дворянской идеологии). Но «золотой век» был для них в прошлом (что сближало их с консервативными романтиками Запада), хотя они и не чаяли его возврата. Поэтому славянофилы хотели не ломки устоев, а удержания, укрепления и расширения патриархально-общинных основ, которые объективно, разумеется, слишком мало походили на идеальные конструкции в сознании их творцов. Однако искреннее недовольство существующим, желание перемен принципиально отличали славянофилов от представителей «официальной народности» и близких к ним М. П. Погодина и С. П. Шевырева. Недаром николаевское правительство так подозрительно к ним относилось: оно желало беспрекословного идейного подчинения, рабского следования «высшим» предначертаниям. «Третье отделение» и московские власти, постоянно надзиравшие за славянофилами, считали их скрытыми бунтовщиками; в Петербург поступали многочисленные доносы; славянофилов заключали в Петропавловскую крепость (Ю. Ф. Самарина, И. С. Аксакова), им запрещали выезжать за границу, носить русскую одежду и бороду.

В 1845 г. славянофилы попытались, по договоренности с издателем Погодиным, сделать своим органом журнал «Москвитянин»; они успели выпустить только 3 номера, т. к. возникли разногласия с Погодиным. Ревниво и враждебно наблюдая за громадным успехом альманахов Н. А. Некрасова «Физиология Петербурга» и «Петербургский сборник», явившихся манифестом натуральной школы и революционно-демократической критики Белинского, славянофилы выпустили в свет «Московский литературный и ученый сборник на 1846 год» и таковой же на 1847 год. В 1852 году славянофилы снова издали «Московский сборник», предполагая довести выпуск до четырех книг ежегодно. Однако первый же сборник вызвал недовольство правитель-

ственных кругов за похвалы Н. В. Гоголю и критику петровских реформ. Второй сборник был запрещен: в защите общины цензоры усмотрели пропаганду фурьеризма. Основные участники сборников, в т. ч. Хомяков, братья Киреевские, братья Аксаковы, были отданы под надзор полиции. Славянофилы отныне должны были представлять свои сочинения в Главное управление цензуры, что было почти равносильно запрещению печататься. Не менее строго относилась к сочинениям славянофилов церковная цензура; труды Хомякова на религиозные темы признали вредными, и он вынужден был публиковать их за рубежом (в России опубликованы через 20 лет после его смерти). Лишь после смерти Николая I славянофилы добились разрешения на издание журнала «Русская беседа». Несмотря на все это, славянофилы с фанатичной убежденностью и трагическим смирением продолжали доказывать, что Россия — единственная страна, которую ждет великое будущее, что православная церковь — выше и чище католической и протестантской и что именно русский народ призван осуществить «начала православия» как высшей духовной ценности жизни. Своеобразное «избранничество» русского народа мыслилось славянофилами не в расовом, а именно в духовно-нравственном превосходстве.

В пылу полемики между западниками (прежде всего Белинским) и славянофилами в 40-х гг. особенно обнажилась острота противоречий между ними. Белинский резко критиковал славянофилов за утопизм, идеализацию старины, антиевропеизм, неприязнь к натуральной школе. Десятилетие спустя, уже ретроспективно, Н. Г. Чернышевский в «Очерках гоголевского периода русской литературы» писал: «Мы никогда не разделяли и не чувствуем ни малейшего влечения разделять мнения славянофилов, но по всей справедливости должны сказать, что если понятия их и надобно признать ошибочными, то нельзя не сочувствовать им как людям, проникнутым сочувствием к просвещению. Отчасти в увлечении жаром полемики, еще более потому, что смешивали истинных славянофилов с людьми, которые пустоту и кичливость своих мнений прикрывают напыщенными родомонтадами на отрывочные и непопятные мысли, заимствованные напрокат у славянофилов (очевидно, намек на Погодина и Шевырева. — Б. Е.), эту школу обвиняли во вражде к науке, в обскурантизме, в стремлении возвратить Россию „ко дням Кошихина“ и т. д. Упреки эти... несправедливы,— по крайней мере

относительно таких людей, как гг. Аксаковы, Кошелев, Киреевские, Хомяков, решительно несправедливы. Горячая ревность к основному началу всякого блага, просвещению, одушевляет их. Нет нужды лично знать их, чтобы быть твердо убеждену, что они принадлежат к числу образованнейших, благороднейших и даровитейших людей в русском обществе» (Полн. собр. соч., т. 3, 1947, с. 78). В 1861 в ст. «Народная бестолковость» Чернышевский говорил об «утопичности» программы славянофильства. А. И. Герцен в 60-е гг. часто ставил в один ряд Хомякова вместе с Белинским и Грановским, как замечательных представителей московской интеллигенции николаевской эпохи (см. «Колокол», 1862, 1 июня, № 135, с. 1118; 1863, 1 апр., № 160, с. 1320); Н. П. Огарев, издавая в 1861 сборник «Русская потаенная литература XIX столетия», включил в него, наряду с произведениями А. С. Пушкина, А. И. Полежаева, М. Ю. Лермонтова, поэтов-декабристов, также стихи Хомякова и К. Аксакова. Правда, Герцен (как и Чернышевский) всегда помнил об отличии своего круга от славянофильского: «У нас была одна любовь, но не *одинакая*. У них и у нас запало с ранних лет... чувство безграничной, обхватывающей все существование любви к русскому народу... И мы, как Янус, или как двуглавый орел, смотрели в разные стороны, в то время как сердце билось *одно*» («Колокол», 1861, 15 янв., № 90, с. 753).

Философские воззрения славянофилов в целом идеалистичны; восприняв идеи Платона, христианских богословов, позднего Ф. Шеллинга, И. Киреевский и А. Хомяков утверждали независимую от субъекта объективность бытия, считая при этом, что явлениям и предметам действительности предшествует божественная мысль; истинное познание, истинная наука возможны поэтому лишь на основе религиозной веры. В мышлении славянофилов выявились характерные черты русской идеалистичной философии: онтологизм, примат нравственной сферы и утверждение общинных корней личности; забота о «свободе личности», как следствии ее полноты и цельности; вера в сверхъестественную тайну жизни.

Эстетическая система славянофилов подчинялась историософским и религиозно-нравственным концепциям. Отвергалось «чистое искусство»; Хомяков часто противопоставлял свободу художества несвободе художника: настоящий художник, сын своего века, всегда будет выражать определенные идеи, тем он и не сво-

боден, но если он высказывает эти идеи естественно и искренне, то создает свободное искусство (см. Полн. собр. соч., т. 3, М., 1900, с. 372, 419). Художественное творчество, по мнению славянофилов, должно было или отражать те свойства действительности (особенно народной жизни), которые подкрепляют их теоретическую доктрину (патриархальность, гармоничность сельской общины; религиозность, «смирение», «общинность» русской натуры), или, наоборот, критически представлять все, что не соответствует идеалу. Отсюда налет дидактизма, нравоучительности, пророчества в искусстве славянофилов (особенно в стихах Хомякова, К. Аксакова) и усиленная императивность тона и стиля, что соответствовало нормативному характеру эстетики славянофилов (пафос норм, идеала, строгая, бескомпромиссная оценка современного искусства с этой точки зрения) и ее этическому уклону: художник отчетливо представлял себе конечную цель жизни, идеал, он соотносил с ними явления действительности и искусства, прославлял приближающееся и приближающее к идеалу, клеймил все мешающее и далекое от идеала. При этом личное, подчиняясь общему, уходило на задний план, ибо нормативное трудно уживается с индивидуальным. Однако после Пушкина, Лермонтова, Гоголя невозможно было возродить строго нормативную эстетику; и это сказалось в художественной практике самих славянофилов. Весьма значительным, связанным с лучшими традициями русской литературы, оказалось творчество близкого к славянофилам С. Т. Аксакова. Поэзия славянофилов интересна, главным образом, гражданскими инвективами (Хомяков, К. Аксаков) и попытками создать народную эпопею (И. Аксаков).

Демократичная русская литература 40—50-х гг. реалистически рисовала картины распада феодально-крепостнического общества и поэтому становилась знаменем западничества, особенно — его радикального крыла во главе с В. Г. Белинским. Славянофилы враждебно относились почти ко всем писателям круга Белинского, называя большинство их произведений «западными» и «отрицательными». Им оставалось признать весьма ограниченный круг литературных произведений — прозу С. Т. Аксакова, отдельные сочинения Гоголя, некоторые рассказы «Записок охотника» И. С. Тургенева, повести Кохановской (Н. С. Соханской), поэзию Хомякова, К. С. Аксакова, И. С. Аксакова, стихи А. К. Толстого и Ф. И. Тютчева. Это приводило к на-

сильственному сужению богатства и разнообразия художественной литературы. Важная заслуга славянофилов в культуре и искусстве — постановка вопроса о национально-исторических истоках современной русской культуры, стремление изучить эти истоки: подвижническое собирание народных песен П. Киреевским, интересная попытка К. Аксакова создать теоретичную грамматику русского языка, показав отражение в грамматическом строе языка национально-психического склада народа (см. книги «О русских глаголах», 1855; «Опыт русской грамматики», 1860).

В конце николаевской эпохи оказались подорванными основы славянофильства — надежда на возрождение патриархально-общинного строя. Реформа 1861 г. окончательно убила целостность теории (хотя «старшие» славянофилы и не дожили до нее). Позднее славянофильство представляет собой дробление системы, превратившись или в политический панславизм (И. Аксаков, Ю. Самарин), или в религиозный фанатизм (Т. Филиппов, К. Леонтьев), или в «научный» национализм (Н. Данилевский). В 60-е гг. «почвенники» (Ф. Достоевский, А. Григорьев, Н. Страхов; пытались найти синтез славянофильства и западничества. Влияние Хомякова и Киреевского на последующие поколения славянофилов несомненно, но последователи выделили из цельной системы взглядов своих учителей и утрировали отдельные части. Элементы учения славянофилов можно найти и у русских мыслителей XX в. («евразийцы», Н. А. Бердяев, Н. О. Лосский и др.).

Значительно влияние «старших» славянофилов на деятелей национального возрождения в славянских странах, находившихся под гнетом Австро-Венгрии и Турции: на чехов — В. Ганку и Ф. Челаковского, словаков — Л. Штура, А. Сладковича, частично на болгарских писателей — И. Вазова и Л. Каравелова, на журналистов и литераторов Сербии, Хорватии, Македонии. В раннюю эпоху освободительного движения в этих странах многие деятели еще не отделяли симпатии широких слоев русской общественности к поработанным славянским братьям от консервативных социально-политических воззрений некоторых славянофильских мыслителей. К тому же они воспринимали у славянофилов не столько общую систему, сколько именно идею славянского единения и сочувствие борьбе западных и южных славян против иноземного ига.

В дореволюционный период появилось немало работ о славянофильстве как философском, политическом, историческом

явлении. Выделяются статьи революционных демократов и Г. В. Плеханова; насыщены материалом книги А. Н. Пыпина, М. И. Сухомлинова, С. А. Венгерова. О литературно-эстетических взглядах и художественном творчестве славянофилов написано мало. Религиозно-философское освещение славянофильства (Вл. Соловьев, Н. Бердяев, П. Флоренский) продолжали после 1917 г. эмигранты (В. Зеньковский, Н. Лосский, Е. Кузьмина-Караваева и др.). Из зарубежных трудов наибольшую ценность представляет книга А. Валицкого; по фактич. материалу ценны монографии Е. Мюллера и П. Христофа.

В советской науке оживленный интерес к славянофильству возник в 1939—1941 гг.: историки Н. Л. Рубинштейн и С. С. Дмитриев раскрыли противоречивость славянофильства, наличие в нем прогрессивных черт. В послевоенные годы появились статьи А. Дементьева и Н. Сладкевича о литературе и журналистике славянофилов. Позже были изданы (в большой серии «Библиотеки поэта») собрание стихотворений и поэм И. Аксакова (1960) и А. Хомякова (1969). В конце 60-х гг. вновь обострился интерес к проблеме славянофилов, к их пониманию народности искусства и национальной традиции, к этическим аспектам жизни и культуры. Существенным откликом на интерес к славянофильству явилась дискуссия в журнале «Вопросы литературы» (1969, № 5, 7, 10, 12), где одни авторы подчеркивали консервативность или «реакционную утопичность» славянофильства, другие полемически выделяли его позитивные и прогрессивные черты, третьи стремились показать сложную противоречивость явления и призывали к расширению исследований о славянофильстве.

Соч.: Ранние славянофилы: [Хрестоматия] / Сост. Н. Л. Бродский. М., 1910; *Киреевский И. В.* Полн. собр. соч. Т. 1—2. М., 1911; *Хомяков А. С.* Полн. собр. соч. Т. 1—8. М., 1900; *Аксаков К. С.* Полн. собр. соч. Т. 1—3. М., 1861—80; *Самарин Ю. Ф.* Соч. Т. 1—10, 12. М., 1877—1911; *Аксаков И. С.* Соч. Т. 1—7. М., 1886—87; *Гилляров-Платонов Н. П.* Сборник соч. Т. 1—2. М., 1899. *Лит.:* *Плеханов Г. В.* Западники и славянофилы // Соч. Т. 23. М.; Л., 1926; *Белинский В. Г.* Рус. лит-ра в 1844 г. // Полн. собр. соч. Т. 8. М., 1955; *Его же.* Взгляд на рус. лит-ру 1846 г. // Там же. Т. 10. М., 1956; *Его же.* Ответ «Москвитянину» // Там же; *Чернышевский Н. Г.* Очерки гоголевского периода рус. лит-ры, ст. 3 // Полн. собр. соч. Т. 3. М., 1947; *Герцен А. И.* Былое и думы // Т. 4, гл. 30; Собр. соч. В 30 т.

Т. 9. М., 1956; *Его же*. Письма к противнику // Там же. Т. 18. М., 1959; *Барсуков Н. П.* Жизнь и труды М. П. Погодина. Кн. 1—22. СПб, 1888—1910; *Кошелев А. И.* Записки. Берлин, 1884; *Колупанов Н. П.* Биография А. И. Кошелева. Т. 1—2. М., 1889—92; *Венгеров С.* Передовой боец славянофильства // Соч. Т. 1. СПб, 1912; *Попова Е. И.* Дневник. СПб, 1911; *Аксакова В. С.* Дневник. СПб, 1913; *Чичерин Б. Н.* Воспоминания. [Т. 2] Москва 40-х гг. М., 1929; *Пытин А. Н.* Характеристика лит. мнений от 20-х до 50-х гг., 4 изд. СПб, 1909, гл. 6—7; *Сухомлинов М. И.* Исследования и статьи по рус. лит-ре и просвещению. Т. 2. СПб, 1889. Гл. 9, 10; *Лобов Л.* Славянофилы как лит. критики // Известия Санкт-Петербург. слав. благотворительного об-ва. 1904. № 8; *Дмитриев С. С.* Славянофилы и славянофильство // Историк-марксист. 1941. № 1 (здесь же дискуссия по статье); *Рубинштейн Н. Л.* Рус. историография. М., 1941. Гл. 17; *Никитин С. А.* Балканские связи рус. периодич. печати 60-х годов XIX в. // Уч. зап. ин-та славяноведения, 1948. Т. 1; *Его же*. Славянские съезды 60-х гг. // Славянский сборник. М., 1948; *Дементьев А. Г.* Очерки истории рус. журналистики 1840—1850 гг. М.; Л., 1951. Гл. 5; *Лосский Н. О.* История рус. философии. М., 1954; *Зеньковский В. В.* История рус. философии. Т. 1. М., 1956; *Сладкевич Н. Г.* Славянофильская критика 40—50-х годов // История рус. критики. Т. 1. М.; Л., 1958; *Азадовский М. К.* История рус. фольклористики. Т. 1. М., 1958. Гл. 5, 6; *Галактионов А. А., Никандров П. Ф.* Славянофильство, его нац. истоки и место в истории рус. мысли // Вопросы философии. 1966. № 6; Песни, собранные писателями: Новые материалы из архива П. В. Киреевского // Лит. наследство. Т. 79. М., 1968; *Ровда К. И.* Рус. славянофилы и чеш. лит-ра // Славянские лит. связи. Л., 1968; *Янов А. Л.* Славянофилы и Константин Леонтьев // Вопр. философии. 1969. № 8; *Riasanovsky N.V.* Russland und der Westen. Die Lehre der Slawophilen. Studie über eine romantische Ideologie. Münch., 1954; *Christoff P. K.* An introduction to nineteenth-century Russian Slavophilism: A study in ideas, Vol. 1. A. S. Chomyakov, 's-Gravenhage, 1961; *Wałicki A.* W kręgu konserwatywnej utopii Warsz., 1964; *Müller E.* Russischer Intellekt in europäischer Krise, Köln; Graz, 1966; *Валицки А.* Рус. славянофильство и «славянская идея» // Ludovit Štur und die slawische Wechselseitigkeit, Bratislava, 1969; *Гальцева Р., Роднянская И.* О месте славянофилов в истории рус. культуры и философии // Философ. энциклопедия. Т. 5. М., 1970.

СЛАВЯНОФИЛЬСТВО, ЗАПАДНИЧЕСТВО И КУЛЬТУРОЛОГИЯ

Среди различных способов классификации культур можно выделить также антиномию *утверждающая—разрушающая* культуры. Речь идет об отношении носителей культур к существующему в данном месте и времени статусу, к существующей культуре. Приятие ее, слияние осуществляется при первом варианте (утверждение), и, наоборот, носители разрушающей культуры отрицают существующую, стремятся ее уничтожить в связи с неприятием ее основ. Собственно говоря, утверждающая культура и есть сам существующий статус, а в его недрах (иногда с помощью постороннего влияния) может возникнуть культура враждебная, противостоящая господствующей, стремящаяся к ее разрушению (ср. ленинское учение о двух культурах в каждой национальной культуре).

Относительная длительность существования общества способствует созданию разветвленной, глубоко укоренившейся культуры. Традиции, память о прошлом, «заветы предков» становятся решающими. Утверждающая культура оказывается традиционалистской. Усиливается семиотичность, наращивается вторичная и даже третичная знаковость (знак знака и знак знака знака и т. д.): бумажные деньги, чеки, облигации, ордена и ленты и т. д. Традиционализм и семиотичность не только вытесняют первожданность, первоосновность чувства, вещей, поступков. Они еще приводят к своеобразному лицемерию¹, так как культурные нормы из-за своей древности, знаковости и обобщенности часто не отвечали современным, естественным, индивидуальным потребностям.

Многие интеллигентные чиновники XIX века как тяжелую внешнюю обязанность воспринимали необходимость посещения церкви и соблюдения основных религиозных обрядов. Унифи-

¹ Следует отличать лицемерие от лжи: лицемерие — частный случай лжи; ложь — вообще утаивание или искажение, а лицемерие — утаивание истины с помощью сообщения прямо противоположного истине факта.

цированная форменная одежда и почти унифицированный выходной костюм мужчины были невыносимы в жаркую пору, особенно в южных губерниях. Как бы ни ненавидел крестьянин своего помещика, он должен был перед ним низко кланяться и ломать шапку и т. д. и т. п.

Следует оговориться, что традиционализм и семиотичность сами по себе еще не являются обязательными первопричинами лицемерия. Они могут существовать в честном виде (например, церковный обряд для верующего). Но лицемерие обязательно связано с семиотичностью, ибо лицемерящий должен показывать знаки противоположных истинным чувств или мыслей (традиционализм присутствует здесь как воспитание, научение). Животный мир с примитивными семиотическими системами не знает лицемерия: животное может сдерживать истинные чувства в силу необходимости, но оно никогда не будет выражать противоположные чувства. В этом отношении Л. Толстой не прав, приписывая Холстомеру лицемерие, хотя бы и благородное: «Мерин же нисколько не любил этого чесанья и только из деликатности притворялся, что оно ему приятно» («Холстомер», гл. II). Лицемерие — привилегия человеческого общества, и чем культура данного общества более традиционалистская и более семиотичная, тем больше возможностей для «расцвета» лицемерия (впрочем, в умеренных дозах лицемерие, очевидно, *необходимая* принадлежность всякой культуры²: этические нормы, этикет, одежда и т. д. — всегда включают элементы лицемерия: без такого «умеренного» лицемерия невозможны были бы официальные отношения, вообще, общество не могло бы существовать, оно бы развалилось под натиском сиюминутных страстей и настроений индивидуумов).

Особенность русской истории заключается, пожалуй, в том, что различные бурные акции (татарское иго, деяния Иоанна Грозного, Смутное время, никонианство, крестьянские восстания, реформы Петра I и т. д.) не давали укрепиться традиционализму, перепахивали и обрубали его корни, способствуя разрушению утверждающей культуры. Правда, вплоть до XIX века

² Интересно было бы найти критические «размеры» (проценты?) лицемерия, превысив которые общество становится разлагающимся, лживым.

самые первоосновы феодальной культуры: православие, самодержавие, сословная иерархия не были выкорчеваны, а новшества лишь наслаивались на фундамент, по-прежнему обрастая семиотичностью. Так, петровские преобразования, уничтожив некоторые «лицемерные» формы боярского бытия, создали еще более мощные знаковые структуры с обильной дозой лицемерия, начиная с табели о рангах и кончая внедрением в быт западноевропейских норм и предметов.

Издавна, однако, возникал протест против традиционализма, семиотичности, лицемерия. В феодальный период вначале крайними видами протеста были деяния юродивых и «разбойников». Но они не посягали на некоторые первоосновы, например, на религию. Затем появятся более разнообразные формы разрушения культуры, индивидуальные и коллективные. Но наиболее негативные виды протеста, когда происходит отрицание всей существующей культуры, возникнут лишь в середине XIX века («нигилизм»). Тогда все аспекты культуры, независимо от сословных особенностей, подверглись критике и отрицанию: быт, одежда, этика, искусство, иногда даже наука. В предельном, условно говоря — «базаровском», варианте отрицание совершается чисто негативно, без замены какой-то формы новой структурой: речь идет именно о *разрушении* старой структуры.

Следует подчеркнуть, что первоначальная антисемиотичность, антилицемерность нигилизма довольно быстро обросла своими знаками, минус-знаками прежней культуры. Нестриженные головы и небритые лица, нестандартная и помятая одежда, развязность манер вначале были признаком свободы от этикета, признаком естественности, органичности жизни. Но затем они, эти признаки, становились как бы обязательными для нигилиста, возникала необходимость, долженствование. Подобные явления происходили и на наших глазах в виде битников и подражающих им юнцов (свитеры и штаны нарочно рвались, мялись, пачкались для придания им соответствующего, якобы, «натурального», а на самом деле весьма искусственного, знакового вида). Очевидно, органичным для человеческого общества является именно семиотичность, и никакие самые радикальные попытки уничтожить знаковость не могут иметь успеха.

Разрушение культуры возможно и позитивным способом, т. е. заменой старых идей и форм новыми. Эти новые формы могли

существовать в рамках социальной или локальной периферии или даже быть заимствованы извне. Таковы были «западнические» замены в петровскую эпоху. Далеко не всегда здесь ставился вопрос о восстановлении первоначальных смыслов и об уничтожении знаковости; возможна была простая замена одних знаковых структур другими.

Существовал и другой позитивный тип: *исправление пороков* в рамках существующей культуры. Таковой была славянофильская идеология.

В конце николаевского царствования (1840-е гг.) официально утверждалась в качестве господствующей традиционная культура русского самодержавно-крепостнического строя, культура весьма зрелая, сильно окаменевшая и олицемерившаяся. Даже самым молодым ее формам, созданным в петровское время, было 120—150 лет, что соответствует приблизительно пяти-шести поколениям (вполне достаточный срок для закрепления традиций), не говоря уже о тысячелетней культуре феодальной формации в целом.

Вполне понятно, что интеллигенция, слой, всегда ищущий истины и переосмысливающий знаковые системы, активно боролась с этой культурой. Чисто негативных, т. е. крайне радикальных форм борьбы оппозиция пока, в силу ряда общественно-политических причин, еще не достигла: таковым станет нигилизм шестидесятых годов (очевидно, крайняя негативность может возникнуть значительно позже промежуточных и позитивных форм борьбы: необходима глубокая обветшалость существующей культуры и глубокая же кризисность позитивных попыток замены, чтобы оппозиционеры полностью ушли в отчаянный вандализм деструктуризации).

В сороковых же годах XIX века борьба русской интеллигенции против существующей феодальной культуры велась в позитивном варианте, точнее, в двух позитивных вариантах, очень интересных для культурной типологии: в *западническом* и *славянофильском*.

Недифференцированная (в таком смысле) передовая культура предшествующей эпохи (декабристы, Пушкин, «любомудры») резко разделилась в сороковые годы на два русла. И протест против крайностей «западничества» предшественников и современников, и страх перед «западническими» тенденциями развития России, и тесная связь с патриархальным бытом спо-

собствовали своеобразному традиционализму славянофилов, который отнюдь не толкал их к разрушению феодальной культуры в целом, а наоборот, в конечном счете делал их защитниками этой культуры.

Славянофилы выступали не столько за разрушение культуры, сколько за возврат к ее живым истокам, за разрушение ложных напластований, как петровских и послепетровских, так и допетровских. Главные объекты критики для славянофилов были именно лицемерие и чрезмерная семиотичность современной культуры, поэтому они ратовали за глубинную сущность явлений против мертвящего формализма; против казенных юридических норм и законов общества за естественные народные обычаи и народное мнение; против знаковости за жизненную первозданность.

Так, Хомяков, при всей его глубокой религиозности, резко отрицательно относился к застывшей догматике и обрядности православной церкви. Любопытна, например, неоднократно повторявшаяся им мысль, что храмы строятся и службы совершаются не для Бога, а для живых людей. Любопытно и отрицание им скульптурных фигур святых («похоже на кукол»³). Характерна также его, Хомякова, неоднократная насмешка над горячо любимой матерью: она получила в подарок два камешка с некоей святой горы, которые клала в кружку для питья: один камень — для дневного питья, другой — для ночного; Хомяков притворно ужасался и говорил, что люди перепутали и положили другой камень; мать страшно гневалась, требовала разбора, пока сын не признавался, что шутит⁴.

В этой борьбе, особенно в борьбе против семиотичности за жизненную первозданность, к славянофилам был очень близок Гоголь и очень далек представитель «официальной народности» С. П. Шевырев с его иерархическими социальными представлениями, с пафосом «хорошего тона» светского общества и т. д. Белинский был совершенно прав, озаглавив памфлет на Шевырева «Педант», хотя и был односторонен в критике.

³ Запись в дневнике В. И. Хитрово от 21 июля 1850 г. — ГИМ. Отдел письменных источников. Ф. 178. № 2. Л. 65.

⁴ Воспоминания М. А. Хомяковой (дочери) об отце. Там же. № 1. Л. 35—35 об.

Однако противоречивость славянофильской идеологии (традиционалистская борьба с консервативным традиционализмом) приводила и ее носителей к *педантизму*. А педантизм в конечном счете связан с лицемерием, ибо ведет к формалистическому соблюдению закостенелых обычаев.

Известно, как ревностно старались многие славянофилы носить древнерусскую одежду. Она настолько оказывалась искусственно созданной (никто такую уже не носил), что К. Аксакова народ принимал за персиянина, по словам Чаадаева (Герцен, IX, 148). Было анекдотично, когда Хомяков, являясь в петербургских гостиных в своем «русском» костюме⁵, ночи напролет говорил по-французски (он прекрасно владел французским и английским).

Педантизм распространялся и на человеческие отношения. Памятен рассказ Герцена о встрече на улице с К. Аксаковым, который, ценя и любя Герцена, все-таки по идейным соображениям вынужден был чуть ли не навсегда распрощаться (там же, 163). Педантичны рассуждения Хомякова после смерти жены о необходимости вдовцу соблюдать нечто вроде «духовного монашества» (иными словами, телесная неверность покойнице возможна, но нельзя «прилепиться сердцем уже ни к какой женщине»⁶). Поразителен также следующий эпизод. При известии о процессе над петрашевцами у Хомякова «вырвалось досадное выражение, что он готов скорее пожертвовать своими детьми, чем видеть их безбожниками и безнравственными либералами»⁷.

Или такое противоречие. С одной стороны, Хомяков протестовал против формализма и бездушной обрядности современной церкви, с другой — он чрезвычайно педантично соблюдал все посты. В январе 1858 г. на вечере у князя В. А. Черкасского вдруг оказалась только скоромная пища, а был пост, вспомнили об этом слишком поздно. Ради Хомякова послали срочно в со-

⁵ Вот типичный костюм Хомякова, по записи В. И. Хитрово в дневнике от 17 сентября 1848 г.: гости «изумлялись все костюму Алексея Степановича и бороде его: он был в своей славянке, в пунцовой рубашке без галстука и вместо жилета на нем была поддевка» — ГИМ. Ф. 178. № 2. Л. 39—39 об. Славянка — мурмолка, шапка.

⁶ Запись в дневнике В. И. Хитрово от 29 января 1852 г. — ГИМ. № 178. № 2. Л. 87.

⁷ Там же, запись от 14 мая 1849 г. Л. 47 об.

седнюю гостиницу, там нашлась только холодная соленая рыба. Поев этой рыбы, Хомяков тяжело заболел воспалением легких, был при смерти, почти месяц пролежал в постели⁸.

Таким образом, традиционалистский педантизм оборачивался своей дурной стороной: славянофилы ратовали против чрезмерной семиотичности и против лицемерия современного общества, но сами в быту усиливали такие формы, которые лишь укрепляли, а не разрушали семиотичность и лицемерие. Интересно, что царское правительство, подозрительно относившееся к славянофилам, немалое внимание при различных запретах обращало на внешние знаки. Александр II не разрешил императрице пригласить Хомякова в Зимний дворец, предполагая, что тот может явиться в русском костюме. Во время грозы, сгущавшейся над славянофилами после запрета «Московского сборника» (1852), московский генерал-губернатор граф А. А. Закревский приказал им сбрить бороды.

Западники типологически близки соратникам Петра I или христианским миссионерам среди народов неевропейской цивилизации: они хотели полностью заменить одну культуру другой, привозной. Конкретно они пытались разрушить русскую феодальную культуру с помощью западно-европейской, т. е. буржуазной культуры первой половины XIX века.

Любопытно, однако, что *разрушение и замена* — деяния, не автоматически сплетенные: возможно подчеркивание или одной, или другой акции, и тогда создаются несколько отличные друг от друга варианты культурных систем. Если акцент ставится на разрушении, то на первое место выдвигается освобождение от лицемерных догм и норм во всех областях жизни. Это та сторона западнической идеологии, от которой протягиваются нити к шестидесятникам, в том числе и к крайним шестидесятникам — «нигилистам». И в научной сфере (произведения Герцена, Бакунина, Грановского, Белинского), и в художественной (Тургенев, Герцен, Некрасов, Огарев, Панаев, Кудрявцев, Дружинин) звучит пафос свободы и естественности как в социально-политическом, так и в культурно-бытовом

⁸ Воспоминания М. А. Хомяковой. — ГИМ. Ф. 178. № 1. Л. 46

смыслах. Свободные мнения, свободные поступки, свободные чувства, их естественность и искренность становятся идеалом. В пафосе простоты и натуральности наблюдается даже некоторое смыкание со славянофилами и Гоголем. Недаром Гоголь так одобрительно отозвался о «Письмах об Испании» Боткина, где идеализованно прославляется антисемиотичность и антиерархичность испанских обычаев, органическая простота и естественность испанцев (Гоголь, XIII, 359, 363).

А в предельном случае западнический разрушительный вариант приводил к расшатыванию и ликвидации вообще норм и обязанностей. Нужно учесть, что таких предельных случаев было немного, но они существовали как опасная и тревожная тенденция. Такова известная черта М. Бакунина — гипертрофированный эгоизм, представление о собственной личности как о поднявшейся над бытом, поэтому освобожденной от бытовых обязанностей (например, от отдачи долгов). В. П. Боткин был безответственным человеком по отношению к женщинам (сам признавался: «принимать на себя ответственность за судьбу женщины — помилуй Бог!»⁹). Тургенев долго не мог ему простить бездумного соращения своей кузины Е. А. Хрущевой: ее ранняя смерть, в 22 года, наступила, вероятно, не без воздействия морального удара¹⁰. Впрочем, сам Боткин явился жертвой «западнической» эмансипации чувств: его московский приятель Л. соблазнил и затем бросил сестру Боткина, Марию Петровну; хорошо, что нашелся другой приятель, расчетливый Фет, который за очень большое приданое согласился на женитьбу¹¹.

Подобные черты совершенно невозможны в славянофильской культуре, да, впрочем, и среди большинства западников (Белинский, Герцен, Грановский, Огарев, Тургенев и др.). Это — тенденции не здорового ядра буржуазной культуры, а уже кризиса, распада ее, т. е. разрушавшегося ее варианта.

Если же акцент у западников ставился на замене культуры, то жесткое следование нормам другой культуры приводило к пе-

⁹ Письмо к И. С. Тургеневу от 17 февраля 1853 г. // Переписка В. П. Боткина и И. С. Тургенева. М.; Л., 1930. С. 33.

¹⁰ См. об этом: Там же. С. 343—348.

¹¹ Переписка В. П. Боткина с братом Дмитрием. — ИРЛИ, 9029. Л16. 66; письма 1856—1857 гг.

дантизму, подобному славянофильскому, но совсем в ином роде. У славянофилов педантизм проявлялся в традиционалистской сфере, у западников, как это ни парадоксально, — в области свободы мнений и чувств. Пафос свободы и равенства мог обернуться нормативным *требованием* свободы и равенства в отношении себя или близких. Таковы многочисленные яростные споры по улаживанию отношений между Белинским и Бакуниным (Белинский, XI, 160 и след.). Таковы настойчивые требования Белинского к невесте, чтобы именно она приехала к нему в Петербург (а не он к ней в Москву) для свадьбы (XII, 184—237). Фактически именно друзья настояли на женитьбе Боткина, ибо сам он не слишком жаждал получить в жены модистку с Кузнецкого Моста; но друзья как бы морально заставили его жениться; акция оказалась очень неудачной (Герцен, IX, 255—262).

Сходство со славянофилами наблюдалось у некоторых западников и относительно педантизма быта и одежды. Только у славянофилов суть заключалась в мелочном следовании древнерусским обычаям в еде, одежде, режиме дня, а у западников — обычаям европейским. Боткин во Франции стремился педантично подражать французам, в Англии — местным жителям. Тургенев писал кн. В. А. Черкасскому 9(21) июля 1858 года: «Вы спрашиваете меня о Боткине, я его оставил в Лондоне уже почти совсем превратившегося в англичанина: носит пестрый пиджак, в 6 часов ездит по Rotten Row верхом, подпрыгивая на рыси — и превосходно сквозь зубы выговаривает — Oh yes!» (Письма, III, 228).

Широко известно также рабское подражание И. И. Панаева последним новинкам парижской моды.

Таким образом, и в разрушительном варианте, и в «сменном» наблюдается типологическое сходство культур западников и славянофилов, несмотря на существенные отличия, но все-таки сходства больше в «сменном» аспекте, так как славянофилы были плохими «разрушителями». Педантическая же догматичность «сменного» варианта прослеживается и в той, и в другой группировке.

Между прочим, немалое типологическое сходство можно отметить в искусстве и — особенно — в критике у западников и славянофилов. «Сменный» пафос идеала, утопические черты этого идеала, яростная нормативность в борьбе за идеал, — все это создает, при весьма существенных различиях в идеологии и в идеале, сходные структурно-функциональные свойства сис-

тем: конструирование идеала по принципу долженствования (в противопоставлении сущего и должного), наложение жестких нормативных требований (опять же по принципу должного) на художественные тексты при их критической оценке, что способствует усилению антиисторических черт в критическом методе. Можно и в этом отношении с западниками и славянофилами сравнить Гоголя 1840-х годов, особенно его «Выбранные места из переписки с друзьями», где утопический идеал и нормативность чрезвычайно ярко выражены (только не в критическом, а в публицистическом варианте). Кстати, углубление историчного мышления у Белинского и Герцена, наоборот, ослабляло указанные черты¹².

Понятно, что нормативность легко может соединиться с иронией по отношению к инакомыслящим. Но, казалось бы, педантизм и нормативность несовместимы с автокритикой, с самоиронией. Однако не было, кажется, ни одного западника, лишённого чувства юмора применительно к друзьям, даже к самому себе. Причем насмешке подвергалась и нормативность. Известен, например, эпизод, когда Белинский читал Герцену свою обзорную статью «Русская литература в 1841 году», основную часть которой составлял диалог между А, выражавшим позицию Белинского, и ограниченным его оспаривателем Б; четкие нормативные оценки А легко побеждают аморфные вялые суждения Б. Герцен остроумно высмеял такую «игру в поддавки». На вопрос Белинского, как понравилась статья, Герцен ответил: «Очень, все что ты говоришь, превосходно, но скажи, пожалуйста, как же ты мог биться, два часа говорить с этим человеком, не догадавшись с первого слова, что он дурак?» — «И в самом деле так, — сказал, помирая со смеху, Белинский, — ну, брат, зарезал! ведь совершенный дурак!» (Герцен, VIII, 289).

¹² Для уточнения следует оговориться, что нормативность существует в любой мировоззренческой системе. Но нормативность нормативности разнь. Нормативность, связанная с реалистическим и историчным мышлением, предполагает представление о существовании, синхронно и диахронно, других мировоззренческих систем, нуждающихся в оценке со стороны, но не должных искажаться наложением на изучаемую систему своей нормативной сетки. В тексте же статьи подразумевается как раз искажающая, антиисторичная нормативность.

Самокритика и самоирония по существу являются антиподами педантизма и антиисторической нормативности, ибо такая нормативность как бы заранее предусматривает всего одну, собственную точку зрения как единственно правильную, истинную; носитель этой точки зрения присваивает себе функцию чуть ли не Господа Бога, т. е. судьи непогрешимого и законодательного. А ирония всегда раздваивает оценки, предоставляет возможность учесть другое, противоположное мнение¹³. Ирония — спутник смелости и открытости, оптимистической веры в здоровье и силу своей системы, которая (система) не погибнет, а лишь укрепится при предоставлении наблюдателю не только истинной, глубинной оценки, как правило положительной, но и противоположной, иронической (самоирония возможна в двух вариантах: или псевдообличение достоинств, чаще всего в виде подчеркивания крайностей достоинств, т. е. тех крайностей, когда достоинства оказываются на грани перехода в недостаток, или же псевдовосхваления недостатков; следовательно, в любом случае ирония затрагивает какие-то действительно уязвимые места системы). Самоирония как признак силы предполагает не только смелость обнажения своих изъянов для посторонних, но и возможность исправления.

Итак, у западников ирония и самоирония существовала как обязательный признак. Она входила в систему как определенная часть ее, но без гипертрофии. Переполненность культуры иронией означает другую крайность — разрушение идеала и нормативности вообще, выдвигание релятивизма и цинизма как ведущих черт мировоззрения. Такие крайности возникнут в России во второй половине XIX века, при начале распада западной культуры (в литературном варианте это творчество Н. Успенского, И. Кушневского), и особенно широко распространятся в начале XX века (см., например, наследие «сатириконцев»). Впрочем, начало распада можно отнести и к эпохе западников и славянофилов, если учесть уникальное творчество О. Сенковского.

Славянофильская культура не была однородной в отношении к иронии. Связанная с крестьянско-народной средой фе-

¹³ О раздвоении точек зрения при иронии в художественном тексте см.: Успенский Б. А. Поэтика композиции. М., 1970. С. 137—138, 166.

одального периода, их культура, естественно, содержала мало оснований для иронии, ибо народная культура патриархального, так сказать, эпического периода жизни была, как правило, монолитной, сингуляристской, содержащей единственную точку зрения и допускавшей самоиронию в микроскопических дозах¹⁴ (кстати сказать, не тесной ли близостью к патриархальной крестьянской культуре объясняется нелюбовь Л. Толстого к насмешке и иронии?).

Такие фанатические глашатаи славянофильства, как Ю. Самарин, совершенно были лишены даже намека иронического отношения к своей системе. То же можно сказать о братьях Киреевских. У И. Киреевского антиироничность усугублялась еще трагедийностью сознания, слабой верой в успешное поступательное развитие славянофильства. А если ощущаешь близость конца, возможность крушения самых дорогих идеалов, то, конечно, не до иронии.

Совершенно другим человеком оказался Хомяков. Будучи от природы живым и насмешливым, он еще и мировоззренчески отличался от И. Киреевского твердой оптимистической верой в скорый успех своего дела. Отсюда такое обилие смеха, шуток, иронии в жизни у Хомякова, о чем пишут все мемуаристы. Не щадил он и крайностей своей системы. В числе первоапрельских розыгрышей, вообще любимых Хомяковым, был такой. Киреевские получили письмо, якобы от Чаадаева, где автор сообщал о намерении вернуться от католицизма к православию (Хомяков, 1900, 8, 93). Киреевские пришли в восторг от победы истинной веры над ложным мудрствованием незаурядного че-

¹⁴ М. М. Бахтин считает (см. его замечательную книгу «Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса». М., 1965. С. 15), что для средневекового народного праздничного смеха характерны карнавальность, двойственность оценок, равенство всех перед насмешкой, в отличие от сатиры нового времени, где автор ставит себя вне осмеиваемого. Но, во-первых, Бахтин явно преувеличивает меру всеобщности средневекового карнавала, весьма ограниченного и социально, и хронологически, — раз или два в году, а, во-вторых, очень многие сатирики нового времени смеются над всем миром, т. е. и над собою (ср. опять же опыт русского предреволюционного журнала «Сатирикон»). Все-таки массовые эпидемии сатиры и иронии характерны для эпох разложения культур (в социальном эквиваленте: для рабовладельческой, феодалной, буржуазной), а не эпох становления и развития.

ловека, не скрывали ликования, и были очень огорчены, узнав о шутке.

Элементы иронии можно найти и у молодого К. Аксакова: В. П. Боткин писал П. В. Анненкову 14 мая 1847 года: « < С. > Соловьев до того вчитался в летописи и старые грамоты, что усвоил язык их; он свободно говорит им и пишет. Из шутки завел он на нем переписку с < К. > Аксаковым. В одном обществе Аксаков читает одно из « посланий » к нему Соловьева. Вдруг Иван Киреевский, бывший тут, с негодованием восстает, как сметь употреблять язык, на котором написаны наши священные книги, для писания шуточных записок; это так возмутило его, что он сделался болен »¹⁵.

Так что в целом, противостоя западной культуре как индивидуалистская и антиироничная, славянофильская система в лице Хомякова и раннего К. Аксакова содержала интересное исключение, частично сближавшее ее с западничеством.

¹⁵ П. В. Анненков и его друзья. СПб, 1892. С. 539.

О НАЦИОНАЛИЗМЕ И ПАНСЛАВИЗМЕ СЛАВЯНОФИЛОВ

Нельзя сказать, что классическое, раннее славянофильство изучено досконально. Еще больше пробелов в исследовании черт и путей позднего славянофильства, значительно изменившегося по сравнению с ранним. Границу между старшими и поздними славянофилами обычно пролагают по 1861 году, так как к тому времени ушли из жизни вожди и основатели славянофильства братья Иван и Петр Киреевские, А. Хомяков, К. Аксаков, а начавшаяся эпоха реформ да еще всколыхнувшее страну польское восстание 1863 года внесли большой разброд в славянофильские ряды. Если Ю. Самарин оказался глашатаем дворянских интересов, то И. Аксаков выступил против; если И. Аксаков ратовал за независимость Польши, то кн. В. Черкасский и А. Кошелев стали типичными чиновниками-русификаторами и т. д.¹

В рамках небольшой статьи невозможно охарактеризовать все аспекты сложной эволюции славянофилов; целесообразно остановиться на одной, но главной сфере славянофильского мировоззрения — на национальной проблеме. Со споров по этой проблеме и возникло славянофильство И. Киреевского и А. Хомякова, оставалась она перво-степенной и в дальнейшем, а с ней тесно связаны и проблемы славянские.

История России, как, наверное, и история любой другой страны, характеризуется взлетами и падениями интереса к данной проблеме. Пожалуй, наибольшая интенсификация и напряженность во внимании к национальному фактору создается в двух случаях: при усилении консервативных и дес-

¹ Сильный разброд в рядах славянофилов после 1861 года хорошо показан в книгах Н. Цимбаева: «И. С. Аксаков в общественной жизни пореформенной России» (М., 1978); «Славянофильство: Из истории русской общественно-политической мысли XIX века» (М., 1986).

потических начал в государстве (когда правящие круги великодержавным патриотизмом, национальным пафосом отесняют и заглушают проблемы угнетенной личности, угнетенного сословия, угнетенной нации, а интеллигенция в это время мучительно размышляет над исторической судьбой своей нации, дошедшей до такого состояния) и при международных войнах, когда естественно усиливается интерес к «своему» и «чужому», к национальным различиям, специфике и т. п.

Если же обе причины (консерватизм и войны) соединяются, то тем более интенсифицируется внимание к национальным проблемам. В России середины XIX века таких периодов было по крайней мере два: период «мрачного семилетия» — 1848—1855 годы (европейские революции 1848 года, подавление Венгерской революции в 1849 году, война с Шамилем, подготовка и начало Восточной войны в 1853 году) и середина 60-х годов, характеризующаяся взрывом «польского вопроса». Первый период относится к оживленной деятельности старших славянофилов, второй — к поздним продолжателям. В промежутках же между этими, а также и между другими кульминационными зонами обсуждение национальных и славянских проблем несколько затихало, но никогда не прекращалось.

Старшие славянофилы, с оглядкой на некоторые идеи декабристов и в решительном несогласии с «Философическими письмами» П. Чаадаева, впервые в истории русской общественной мысли относительно разносторонне рассмотрели своеобразие отечественной культуры, национального мышления, национального характера в сравнении с соответствующими чертами западно-европейских народов, высоко оценили особенности русской культуры, русской истории; впервые в свете отмеченных проблем заговорили о судьбе и свойствах южных и западных славянских народов, подходили к идее о политических, культурных и конфессиональных союзах.

В связи с этими проблемами в славянофильских и околославянофильских кругах возникли идеи панславизма и русификаторства. В исследовательской литературе, особенно в «антиславянофильской», даже бытовало мнение о глубокой укорененности панславизма в мировоззрении старших славяно-

филов². Кроме того, до сих пор существует, и довольно широко распространено, мнение, что старшие славянофилы были шовинистами, стремившимися поставить русскую нацию господствующей над всеми другими славянскими народами. Например, замечательный публицист и общественный деятель Иван Дзюба в своей статье «Пророческое слово. Штудии про філософські погляди Т. Г. Шевченка», фактически посвященной теме «Шевченко и Хомяков», объективно показывает коренные отличия поэта от славянофилов, но допускает и явные переакцентировки, считая, что один из главных водоразделов между их позициями заключается в нежелании славянофилов «признать украинский народ особым, самостоятельным народом, так же как и язык и литературу этого народа»³.

Однако Хомяков в статье «По поводу малороссийских проповедей» («Русская беседа», 1857, кн. 3) радуется появлению проповедей священника Гречулевича на украинском языке (правда, Хомяков именует его «одним из наречий Русского народа»⁴), подчеркивает важность самостоятельного развития всех наречий, всех сословий, всех личностей.

Конечно, элементы национализма можно найти в трудах Хомякова, но они ничтожны по сравнению, скажем, с откровенно иерархическими декларациями Ап. Григорьева периода его участия в «Москвитянине» (1851—1856), вроде следующей из письма к А. Кошелеву от 25 марта 1856 года: «Глубоко сочувствую,

² См., например: *Михайлов А. А.* Очерки по истории славянофильства 40—50-х годов (панславистские тенденции в раннем славянофильстве): Тезисы к диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. ЛГУ, 1939; *Ковалевский А. И.* Общественное движение 30—40-х годов XIX века, М., 1939; *Дементьев А. Г.* Очерки по истории русской журналистики 1840—1850 гг. М.; Л., 1951. А. Дементьев так сужает проблему: «Сущность славянофильской программы по славянскому вопросу можно определить одним словом: панславизм» (С. 369). Всем этим трудам противостоит «западническая», но научно объективная книга: *Пытин А. Н.* Панславизм в прошлом и настоящем (1878), СПб., 1913, — где, однако, славянофилам посвящена лишь небольшая глава, лишенная подробностей.

³ Київ, 1986. № 3. С. 139. (Перевод с украинского мой. — Б. Е.) Более разностороннюю характеристику отношений славянофилов к украинской культуре см. в книге: *Янковский Ю.* Патриархально-дворянская утопия, М., 1981. С. 106—130.

⁴ *Хомяков А. С.* Полн. собр. соч. Т. 3. М., 1900. С. 285.

как вы же, всему разноплеменному славянскому, мы убеждены только в особенном превосходстве начала великорусского перед прочими и, следственно, здесь более исключительны, чем вы, — исключительны даже до некоторой подозрительности, особенно в отношении к началам ляхитскому и хохлацкому»⁵. Здесь «вы» — славянофилы, «мы» — «молодая редакция» «Москвитянина».

Характерно, что Григорьев в этом письме как раз славянофилов считает сочувствующими равно всем славянам, а себя как бы делает националистом, ценностно возвышающим русских над поляками и украинцами. Справедливости ради следует сказать, что позднее Григорьев совершил значительную эволюцию: в статье «Тарас Шевченко» (1861) он назовет «последнего кобзаря» «первым великим поэтом новой великой литературы славянского мира»⁶, а в 1863 году, после вспышки польского восстания, в разгар сплошного шовинистического воя реакционной прессы, требующей подавить освободительное движение, он пишет статью «Вопрос о национальностях», где подчеркивает право каждого народа «на самостоятельность существования», на свой язык, свою культуру⁷.

А Хомяков задолго до 1863 года ратовал за национальное самоопределение всех народов. В письме от 21 мая 1848 года к А. Смирновой он наивно надеется на возможность провести всеобщий опрос населения западных регионов страны по поводу самоопределения и на мирное восстановление Польши — как самостоятельного государства: «...голоса должны быть собираемы поголовно: дворяне единицами в счете крестьянских единиц, города причислены к деревням (то есть каждое селение определяет свою принадлежность. — *Б. Е.*) и т. д. Даже отсутствующие могут быть все допущены к подаче голоса письменно в той области, к которой они желают быть причтены. Голоса народные должны быть подаваемы на языке народном, в Польше по-польски, в Литве по-литовски (совершенно непонятно для поляков), в Галиче по-галицки (т. е. почти по-русски). Всякая область должна иметь право приписаться или

⁵ Аполлон Александрович Григорьев: Материалы для биографии / Под ред. Влад. Княжнина. Пг., 1917. С. 151.

⁶ Время. 1861. № 4. С. 637.

⁷ См.: Якорь. 1863. № 5. С. 81.

к новой Польше, или к соседней державе, или составить отдельную общину под покровительством или без покровительства другой державы <...> Таким образом, будущая судьба славянских народов будет определена ими самими; а, кажется, роду Романовых нечего бояться народного голоса»⁸. (Как бы не так! Русские цари так и не дали западным славянам и литовцам свободу самоопределения.)

Интересно, что в «дославянофильский» период в начале 30-х годов в творчестве Хомякова было значительно больше панславистских черт с элементами русификаторства. В стихотворении «Орел» (1832?) поэт как бы призывает двуглавого орла освободить своих зарубежных соплеменников, «младших братьев», от чужеземного ига:

И ждут окованные братья,
Когда же зов услышат твой,
Когда ты крылья, как объятья,
Прострешь над слабой их главой...
О, вспомни их, орел полночи!
Пошли им звонкий твой привет,
Да их утешит в рабской ночи
Твоей свободы яркий свет!

О том, что свободный орел полночи оковал Польшу, здесь нет ни слова. Зато в стихотворении Хомякова «Киев» (1839), относящемся ко времени зарождения славянофильских доктрин, православная святыня собирает вокруг себя отечественных и зарубежных богомольцев, но автор скорбит по поводу отпадения от православия униатских областей Западной Украины:

Горе, горе! их спалили
Польши дикие костры;
Их сманили, их пленили
Польши шумные пиры.

Здесь Польша выступает врагом, так что панславизм сокращается до конфессиональных границ православия, католические славянские регионы как бы выносятся за скобки.

Но на следующем этапе, в стихотворении «Не гордись перед Белградом...» (1847), Хомяков уравнивает всех славянских бра-

⁸ Хомяков А. С. Полн. собр. соч. Т. 8. С. 413.

тьев, вплоть до католической Чехии, и надеется на свободное содружество:

Все велики, все свободны,
 На врагов — победный строй,
 Полны мыслью благородной,
 Крепки верою одной!

Важно отметить: первое стихотворение не появилось в печати в России до 1859 года; существует версия, что сам Николай I запретил публикацию⁹; второе стихотворение с трудом прошло сквозь цензурные частоколы; третье было напечатано в России лишь в 1856 году, после смерти Николая I (причины настоятельного и даже враждебного отношения царя к любым идеям о союзах славян будут раскрыты ниже).

Термин «панславизм» возник в трудах германских, венгерских, австрийских публицистов на грани 30—40-х годов и был отождествлен ими с понятием «русификаторство»: подавление царским правительством польского восстания 1831 года и, совсем с другой стороны, рост национально-освободительного движения западных и южных славян с частой оглядкой на Россию как на «старшего брата» вызывали в самых разных кругах Австрии и Германии, от консерваторов до либералов и демократов включительно, напряженность и русофобские настроения¹⁰. Между прочим, К. Маркс вместе со своим окружением в 40—

⁹ Путевые письма И. И. Срезневского. СПб., 1895. С. 42.

¹⁰ Литература о теме панславизма в европейской публицистике довольно обширна. Ее обзор, как и библиографию научных трудов по теме, см. в статье: *Волков В. К.* К вопросу о происхождении терминов «пангерманизм» и «панславизм» // *Славяно-германские культурные связи и отношения.* М., 1969; однако в этой работе, да и ей подобных, совершенно не затронута тема «Маркс, Энгельс и панславизм», весьма щекотливая для русских марксистов: ведь основатели учения, особенно в молодые годы, не без национального высокомерия относились к западным и южным славянам, спокойно пропагандируя их историческую гибель, то есть растворение в более цивилизованных, более «прогрессивных» нациях; см., например, в статье Ф. Энгельса «Борьба в Венгрии» (1849) рассуждение о наличии в Австрии трех революционных наций — «носителей прогресса»: немцев, поляков, венгров; «всем остальным, — продолжает Энгельс, — большим и малым народностям и народам предстоит в ближайшем будущем погибнуть в буре мировой революции» (*Маркс К., Энгельс Ф.* Сочинения. Т. 6. С. 179)

50-х годах тоже резко говорил о панславизме, почти всегда отождествляя его с самодержавным русификаторством; Маркс и Герцена с Бакуниным считал панславистами, что, конечно, весьма далеко от истины (темы «Маркс и Герцен», «Маркс и Бакунин», несмотря на обильную исследовательскую литературу, включающую и солидные книги, остро нуждаются в обновленном истолковании и в свете важных новых документов, опубликованных за последние десятилетия, и в свете современного исторического опыта, требующего многих пересмотров и переакцентировок).

Но в 30—40-х годах идеи панславизма, то есть идеи объединения славян, могли возникнуть без всякой русификации: деятели хорватского национального движения (Л. Гай) мечтали об объединении южных славян вокруг Хорватии, сербы (И. Гарашанин) — вокруг Сербии, представители чешского либерализма (К. Гавличек-Боровский) призывали к единению чехов с южными славянами¹¹ и т. д.

Правда, появились и русификаторские идеологи панславизма, с утверждением большей или меньшей степени главенства России над другими славянскими народами.

Как ни парадоксально, но такие идеи чаще всего возникали у поляков, искавших поддержки у царизма или в силу антиавстрийских настроений (А. Велепольский), или из-за надежды на некоторое улучшение социально-политического состояния растерзанной Польши (украинофил М. Грабовский). Были и какие-то темные причины относительного русификаторства мистика А. Товяньского, загипнотизировавшего на некоторый срок даже А. Мицкевича.

В самой же России панславистские идеи в первой половине XIX века были весьма редки. Зародыши таких идей можно найти у декабристов, но «общество соединенных славян» мыслилось отнюдь не под эгидой самодержавной власти, а как федерация свободных народов. Пушкин в вопросительной форме колебался: «Славянские ль ручьи сольются в русском море?» («Клеветникам России», 1831). В официальном духе панславистские русификаторские идеи выражены в трудах М. Погоди-

¹¹ Подробнее см.: *Лециловская И. И.* Концепции славянской общности в конце XVIII — первой половине XIX века // *Вопр. истории.* 1976. № 12.

на, особенно после его поездок по славянским землям в 1839 году, и в «Славянском сборнике» (СПб., 1845) Н. Савельева-Ростиславича, относительно близкого, как и Погодин, к славянофилам, но не более того.

Сами же славянофилы при николаевском царствовании не слишком-то увлекались панславистскими идеями, их куда больше волновали отечественные дела. А. Кошелев вспоминал в 70-х годах: «Нас всех, и в особенности Хомякова и К. Аксакова, прозвали „славянофилами“, но это прозвище вовсе не выражает сущности нашего направления. Правда, мы всегда были расположены к славянам, старались быть с ними в сношениях, изучали их историю и нынешнее их положение, помогали им, чем могли; — но это вовсе не составляло главного, существенного отличия нашего кружка от противоположного кружка западников»¹².

Эволюция Хомякова-поэта, обрисованная выше, весьма показательна: чем дальше развивались его славянофильские убеждения, чем ближе подходила страна к «мрачному семилетию», тем более демократичным становился Хомяков. Стихотворение «Не гордись перед Белградом...» и письмо к А. Смирновой наглядно демонстрируют идеи равенства славянских народов, идеи их свободного волеизъявления относительно будущей самостоятельности.

Довольно далеки от панславизма были в 40-х годах братья Аксаковы. Когда И. Аксакова заключили в здании III отделения (март 1849) и предложили целый ряд вопросов для выяснения его социально-политических взглядов, то в ответ на вопрос о славянофильстве, явно понимаемом правительством в панславистском духе, он написал следующее: «... ни я, ни родственники мои не славянофилы в том смысле, в каком предложен этот вопрос. В панславизм мы не верим, во-первых, потому, что для этого необходимо было бы единоверие славянских племен, а католицизм Богемии и Польши — элемент враждебный, чуждый, несмешиваемый с элементом православия прочих славян; во-вторых, все отдельные элементы славянских народностей могли бы раствориться и слиться в целое только в другом, крепчайшем цельном, могучем

¹² Кошелев А. И. Записки. Берлин, 1884. С. 76.

элементе, т. е. в русском; в-третьих, большая часть славянских племен заражена влиянием пустого, западного либерализма, который противен духу русского народа и никогда к нему приняться не может. *Признаюсь, меня гораздо более всех славян занимает Русь* (фраза подчеркнута; Николаем I? — Б. Е.), а брата моего Константина даже упрекают в совершеннейшем равнодушии ко всем славянам, кроме России, и то даже не всей, а собственно Велико-россии»¹³.

Здесь панславизм трактуется в «западном» варианте (видимо, в пределах проживания славян, подчиненных Австрии; в западной публицистике такой панславизм именовался австрославизмом), русское главенство явно противопоставляется панславизму («во-вторых...»), а в целом Аксаков честно признается, что конфессиональное единение (православие) ему куда более близко, чем национальное.

И, конечно, он честен в подчеркивании преимущественного интереса к России. Это, кстати сказать, успокоило Николая I, внимательно читавшего ответы Аксакова и оставившего ценные для истории заметки на полях рукописи, которые наряду с другими документами убедительно опровергают бытовавшее в западно-европейской публицистике (да и во мнениях политиков) представление о русском царе как о панслависте. Наоборот, Николай I, боявшийся любых народных движений, полный легитимного уважения к «законным» монархиям Австрии и Турции, терпеть не мог даже упоминаний об освобождении западных и южных славян из-под чужеземного гнета. Когда молодой славянофил Ф. Чижов, семь лет проведший за границей и специально изучавший славян, вернулся в 1847 году, то он был арестован на границе, доставлен в Петербург и подвергнут допросам относительно его славянофильских убеждений и его интереса к судьбе зарубежных славян. На полях ответов И. Аксакова Николай I начертал знаменательные фразы: «...под видом участия к мнимому утеснению славянских племен в других государствах, тмится преступная мысль соединения с сими племенами, несмотря на подданство их соседним и частью союзным государствам; а достижения сего ожидали не от Божье-

¹³ Сухомлинов М. И. Исследования и статьи по русской литературе и просвещению. Т. 2. СПб., 1889. С. 510.

го определения, а от возмутительных покушений на гибель самой России»¹⁴.

Николай представлял себе освобождение и воссоединение славян как революционные акты с переносом восстаний и в Россию. Так что скорее его можно назвать антипанславистом. Даже в манифесте перед началом Восточной войны в 1853 году Николай говорит о защите православия, а не об освобождении южных славян из-под турецкого ига. Лишь спустя четверть века, в 70-х годах, в связи с обострением политических конфликтов на Балканах, в правительственных кругах стали культивироваться лозунги освобождения южных славян, и панславистски-русификаторская идея приобрела официальный характер.

Поздние славянофилы, как правило, тоже пропагандировали эту идею, но они совершили существенную эволюцию в предшествующие десятилетия. Вождь славянофильской публицистики 60-х годов Иван Аксаков осторожно и с оговорками приближался к пропаганде панславизма. В программной передовице, открывавшей первый номер газеты «День» (октябрь 1861 года), И. Аксаков так формулировал цели: «Освободить из-под материального и духовного гнета народы славянские и даровать им дар самостоятельного духовного и, пожалуй, политического бытия под сению могущественных крыл русского орла — вот историческое призвание, нравственное право и обязанность России». Здесь, конечно, панславистские тенденции очень заметны, но они приглушаются «самостоятельным бытием».

Н. Цимбаев справедливо отмечает в своей монографии: «В 1860-е годы позиция Аксакова сводилась к попыткам способствовать завоеванию и упрочению независимости славянских народов, русское общество должно было, по его мнению, поддерживать идеалы славянской взаимности и воздействовать на правительство в его восточной политике. Оппозиционное отношение Аксакова к деятельности «петербургского» прави-

¹⁴ Сухомлинов М. И. Исследования и статьи по русской литературе и просвещению. Т. 2. С. 505.

Редкое слово «тмится» император, очевидно, заимствовал у любимого им Н. Кукольника, у которого в драме «Торквато Тассо» (1833) герой, в 5-м акте дважды произносит двестише-рефрен:

И снова все туманится и тмится,
И я опять один на белом свете!

тельства не позволяло ему видеть в этом правительстве собирателя славянских земель. Создание независимых славянских государств он считал неизбежным следствием внутреннего развития славянских народов. Для Аксакова в 1860-е годы была характерна поддержка всех форм национально-освободительного движения, что объяснялось его искренним желанием видеть славян свободными»¹⁵.

И лишь на грани 60-х и 70-х годов Аксаков включается в круг панславистов-русификаторов. К этому времени подавляющее большинство поздних славянофилов заняло аналогичную позицию, можно говорить лишь об исключениях, об отдельных личностях, противостоящих общему потоку (такovým был, например, «левый» продолжатель дела старших славянофилов Э. Дмитриев-Мамонов, противник и панславизма, и национализма, и русификаторства).

В 60-х же годах славянофилы не выступали единым фронтом, фактически разбились на два лагеря, а катализатором-разделителем явилось польское восстание 1863 года. Ю. Самарин, кн. В. Черкасский, А. Кошелев стали проводниками русификаторской политики в Польше, участвовали в административной деятельности в Варшаве, выступали против политической самостоятельности Польши.

С другой стороны, Ф. Чижов и В. Елагин в духе старших славянофилов ратовали за право каждого народа на самоопределение; И. Аксаков колебался, но, в общем, тоже защищал свободу самоопределения¹⁶.

Из-за польского восстания, из-за «спора славян между собою» идеи панславизма не могли тогда получить стимулов для оживления и расширения. И тем не менее всплески идей и лозунгов, распространившихся в следующем десятилетии, встречались и в 60-х годах. Особенно интересна с этой точки зрения деятельность В. Ламанского.

Владимир Иванович Ламанский (1833—1914), видный петербургский славяновед, хорошо известен славистам и этнографам, но значительно менее — историкам славянофильства и пан-

¹⁵ Цимбаев Н. И. И. С. Аксаков в общественной жизни пореформенной России. С. 230.

¹⁶ См.: Там же. С. 110—113.

славизма. С молодых лет сочетая научно-исследовательские интересы с практической и публицистической деятельностью, он после защиты магистерской диссертации «О славянах в Малой Азии, Африке и Испании» (1859) и службы в архиве два года путешествовал по славянским землям (1862—1864), а по возвращении опубликовал несколько научных и публицистических статей. Нас особенно интересует большая статья «Национальности итальянская и славянская в политическом и литературном отношениях», опубликованная в двух номерах «Отечественных записок» за 1864 год (№ 11, 12), ставшая чуть ли не первой откровенной программой русификаторского панславизма.

В. Ламанский убежден, что славянские народы Запада и Юга, вплоть до поляков, могут иметь «отдельные антипатии» друг к другу, но всех их объединяет «глубокое чувство уважения (...) к племени русскому, как к самому сильному и могущественному. Это чувство и убеждение племен славянских есть их внутреннее признание игемонии русского народа в будущем союзе славянском»¹⁷.

Ламанскому не нравится этническая карта Европы в местах проживания славян: «Немцы в Силезии, в Нижней Австрии, в части Сиирии, Крайны и Каринтии, мадьяры между Тиссою и Дунаем, румыны между Днестром и Дунаем, как клинья, расщепляют славянское тело». Правда, утешает нас автор, «народы славянские, инстинктивно чуя вред и опасность этих чужих островов в море славянском, издавна старались и стараются прорвать эти массы иноплеменников. В самом деле, пробуждение славянской стихии в Силезии, движение в собственную Австрию словинцев с юга, чехов — с севера, словаков — с востока несколько ослабляет клин немецкий, цепь сербских поселений в Венгрии с юга на север, русских и словенских с севера на юг, так сказать, пронизали тело мадьяр в различных направлениях (клинья немцев — плохо! клинья славян — прекрасны! — Б. Е.), точно так же, как и тело румын поселения болгарские с юга на север, а русские с севера на юг. Произойдет ли и когда такой великий разлив ручьев славянских, что в полую воду смоят они все чуждые наносы, затопят

¹⁷ Отечественные записки. 1864. № 12. С. 600.

немецкие, мадьярские и румынские острова или, по крайности, дадут им общую славянскую растительность?»

Препятствиями, которые мешают такому славянскому разливу, В. Ламанский считает слабость местной интеллигенции, действующей, «вопреки стремлениям своих народов, к разобщению и отделению славян от России», бедность русской литературы (публицистики?), «важные недостатки нашей гражданственности, несознание Россией своего славянского призвания».

Далее В. Ламанский мечтает о принятии русского языка общим письменным языком всех славян — и тогда славяне будут уравниены с немцами и итальянцами! — и о создании общего литературного «органа» (журнала?)¹⁸.

Следующим этапом в развитии идей ученого и публициста можно считать его докторскую диссертацию «Об историческом изучении греко-славянского мира в Европе» (1870), создававшуюся параллельно с книгой Н. Данилевского «Россия и Европа» (начала печататься в журнале «Заря» в 1869 году), — оба эти труда явились введением в панславизм 70-х годов. Характерно, что И. Аксаков, избежавший панславистского уклона, который начинал увлекать русских участников славянских съездов 1867 и 1868 годов, в 1870 году приветствовал книгу Н. Данилевского¹⁹. Так замкнулся круг. Дославянофильский Хомяков начал было выражать идеи панславизма русификаторского толка, дальнейшее относительно критическое отношение славянофилов к правительству почти полностью выветрило эти принципы, а с 60-х годов продолжатели старших славянофилов постепенно стали возвращаться к панславизму и русификации, чтобы в 70-х годах окончательно быть ими поглощенными.

¹⁸ Отечественные записки. 1864. № 12. С. 601, 602.

¹⁹ См.: Цимбаев Н. И. И. С. Аксаков в общественной жизни пореформенной России. С. 230—231.

А. С. ХОМЯКОВ — ЛИТЕРАТУРНЫЙ КРИТИК И ПУБЛИЦИСТ

Трудно найти сферу, где бы не приложил свои знания и способности А. С. Хомяков. Социолог, публицист, эстетик и критик (литературный и частично художественный), философ, автор многотомных «Записок о всемирной истории»; экономист, разрабатывавший планы уничтожения крепостничества; практик-помещик, усовершенствовавший сельскохозяйственное производство, винокурение и сахароварение; изобретатель новой паровой машины, получивший патент в Англии, и дальнобойного ружья; врач-гомеопат и врач, использующий средства народной медицины для успешной борьбы с холерой; одаренный художник, портретист и иконописец; полиглот-лингвист; известный в свое время поэт и драматург.

Здесь перечислены занятия, которым Хомяков предавался в течение длительных периодов и даже в течение всей жизни. А если бы к ним добавить временные увлечения: успешные поиски в Тульской губернии полезных ископаемых, проекты улучшения благосостояния жителей Алеутских островов, создание хитроумных артиллерийских снарядов в период Крымской войны и т. д., — то можно исписать не одну страницу.

Была ли такая разносторонность Хомякова признаком барского дилетантства? Вряд ли. Слишком много сил и таланта вкладывал он в свои занятия и слишком много создавал он полезного в разных областях, чтобы счесть это дилетантством. А если бы автор изобрел за всю свою жизнь *одну* ценную машину или ружье, то это ведь не назвали бы дилетантством? Так почему же уничижительно аттестовать *множество* открытий и разработок?

Разносторонность Хомякова была принципиальной, обосновывалась им теоретически. Он верил в разнообразие интересов человека, в идеал гармонической универсальности творческой природы, в то, что широта кругозора лишь будет способствовать углубленным занятиям в отдельных сферах. В статье «Об общественном воспитании в России» Хомяков подробно развил мысль о необходи-

мости разностороннего, воистину университетского образования юношества. Однако многие специальные области занятий и открытия Хомякова ныне забыты. В памяти потомства этот многогранно талантливый человек остался как вождь славянофильства, и в этом есть свой исторический смысл: именно деятельность публициста и литературного критика, идейного вдохновителя славянофильства было главным в жизни зрелого Хомякова. Это его наследие содержит ценное ядро, представляющее интерес и сегодня.

1

Алексей Степанович Хомяков родился 1 (13) мая 1804 года в Москве, в родовитой дворянской семье. Его отец, страстный игрок, проиграл в карты почти все огромное состояние, после чего мать будущего поэта, женщина властная и гордая, отстранила мужа от управления хозяйством и благодаря своей энергии и уму восстановила относительное материальное благополучие. Именно мать явилась ранним воспитателем сына, она привила ему на всю жизнь чрезвычайно строгие, почти аскетические, нравственные правила и глубокую религиозность.

Родовитое барство окружало Хомякова с юных лет. Среди знакомых семьи и самого Алексея были министры, губернаторы, генералы, обер-прокуроры Синода, как, впрочем, и декабристы, и ученые, и журналисты, и писатели — ведь дворяне были разные! Соседи по имениям Хомяковых в Тульской, Рязанской, Смоленской губерниях были тоже весьма именитые или незаурядные: Муравьевы, Раевские, Елагины, Уваровы, графы Панины... Со многими из них у Хомяковых были и родственные связи: бабушка Хомякова по отцу, например, была родственницей графа Паскевича и Грибоедова.

Отдаленные или близкие родственные отношения связывали между собой также и весь круг будущих славянофилов: Хомяков женился на сестре Н. М. Языкова, а мать его происходила из рода Киреевских; И. В. Киреевский женился на своей троюродной сестре, а его единоутробный брат В. А. Елагин — на своей же дальней родственнице. «Младшие» славянофилы Д. А. Валув и В. А. Панов были родственниками Языковых... Укорененность в гуще родственных и вообще «семейственных» отношений культурной дворянской среды накладывала свой неповторимый отпечаток на быт и мировоззрение будущих славянофилов. В то же время их народолюбие, презрение к вельможеству и бюро-

кратизму, чувство независимости и самостоятельности отталкивали Хомякова и его единомышленников от многих именитых родственников и знакомых, особенно от близких к высшим петербургским сферам...

Во время наполеоновского нашествия сгорел московский дом Хомяковых; семья жила некоторое время в деревне, а в начале 1815 года переехала в Петербург. Преподавателем русской словесности у юного Алексея Хомякова и его брата Федора был известный писатель А. А. Жандр, друг Грибоедова, внушавший, вероятно, своим ученикам общественные и литературные идеи круга Грибоедова и Катенина (патриотизм, самобытность искусства, народность, следование национальным традициям в идеологии и в быту).

В 1817 году семья возвратилась в Москву. Братья Хомяковы брали частные уроки у профессоров университета, что позволило впоследствии Алексею поступить на математическое отделение и получить степень кандидата наук¹. Молодые Хомяковы подружились в Москве с братьями Веневитиновыми — Дмитрием и Алексеем, из которых первый стал видным литератором 20-х годов, одним из главных деятелей философско-эстетического кружка «любомудров» (Хомяков тоже станет близок к кружку, он хорошо знал и других его участников: князя В. Ф. Одоевского, С. П. Шевырева, В. П. Титова). А пока юные Алексей Хомяков и Дмитрий Веневитинов соревновались в стихотворстве, в переводах из Вергилия и Горация. Веневитинов мечтал о создании оригинальной русской философии, он горячо обсуждал эту проблему с друзьями. В 1819 году пятнадцатилетний Хомяков переводит «Германию» Тацита. Отрывок из перевода был опубликован в «Трудах Общества любителей российской словесности при Московском университете» (1821. Ч. 19.). Это первое произведение Хомякова, появившееся в печати. Вступительная заметка юного автора к публикации насыщена идеями тираноборчества, патриотизма, гражданской доблести.

В 1821 году вспыхнуло греческое восстание против турецкого ига. Бывший губернатор братьев Хомяковых Арбе, продолжавший посещать их дом, оказался связанным с повстанцами. Семнадцатилетний Алексей, вдохновленный пламенными речами учителя,

¹ См.: Лясковский В. Алексей Степанович Хомяков. М., 1897. С. 10.

достал с его помощью фальшивый паспорт, накопил немного денег, купил большой нож — и однажды вечером покинул отчий кров, чтобы тайком пробраться в Грецию. В доме была поднята тревога, устроена погоня, и беглец был пойман не слишком далеко от Москвы. Вероятно, эти события оказали глубокое воздействие на сознание юноши: на всю жизнь он останется проповедником освобождения греков, как и южных славян, от иноземного гнета, но одновременно будет решительным противником личной «партизанщины», не связанной с общенародным движением.

В это время, даже, возможно, несколько раньше начала греческого восстания, Хомяков задумывает большую поэму «Вадим», из которой до нас дошли две с половиной части, «песни» (вероятно, это все, что было создано автором).

Отечественная война 1812 года и преддекабристские вольнолюбивые настроения вызвали интерес писателей начала 20-х годов к теме новгородской вольницы, особенно к образу легендарного Вадима, который после известной трагедии Я. Б. Княжнина «Вадим Новгородский» (1789) стал символом борца с тиранией. А. С. Пушкин в южной ссылке осенью 1821 года начинает работу над поэмой и трагедией о Вадиме. К. Ф. Рылеев пишет думу «Вадим». Тема Новгорода — вечевой республики — звучит в стихотворениях В. Ф. Раевского, К. Ф. Рылеева, В. К. Кюхельбекера.

Среди этих вариаций популярной темы поэма Хомякова стоит особняком. В соответствии с духом времени в ней переплелись романтическая идея сильной личности (итоги исторических событий, исход битвы зависит от вождя) и вольнолюбие, но необычны были антивоенные мотивы. Они вносили двойственность в оценку событий: победа в кровавой битве и прославляется, и приобретает трагическую окраску, ибо ей сопутствуют сцены скорби и плача по погибшим.

В дальнейшем автор попытается снять противоречия гармонией славянофильского идеала. Во всех сферах мышления и чувств Хомяков сконструирует иллюзорные принципы гармонической цельности (жизнь будет жестоко ломать эти конструкции, но тем упорнее автор станет держаться за них). Кажется, военные конфликты невозможно включить в эту идеальную гармонию. Но, основываясь на известном ему опыте истории, Хомяков, при всем отвращении к войне, вынужден был принимать ее (впрочем, только оборонительную) как необходимую, государственно и божественно освященную. И тогда автор будет проповедовать милосердие к

побежденным. Оно станет и жизненным принципом («Я был в атаке, но хотя два раза замахнулся, но не решился рубить бегущих, чему теперь очень рад»²), и идейно-поэтическим:

А если вас много, убьете ли вы
 Того, кто охвачен цепями,
 Кто, стоптанный в прахе, молящей главы
 Не смеет поднять перед вами?
 ... Убьете ль? о стыд и позор!

Эти строки взяты из стихотворения, озаглавленного «Ritterspruch — Richterspruch» (1839?); буквально заглавие переводится как «Приговор рыцаря является приговором судьи», но Хомяков придал ему другой смысл: истинный судебный приговор должен быть рыцарским. Культ рыцарства, рыцарская этика своеобразно соединится с другими чертами хомяковской идеологии. Сила и мужественность всегда будут для Хомякова положительными ценностями, но обязательно в сочетании с благородством и милосердием.

В 1822 году отец отвез Алексея в Астраханский кирасирский полк; так началась его не воображаемая, а реальная военная жизнь. Весной следующего года Хомяков переводится в лейб-гвардии Конный полк (который примет 14 декабря 1825 года участие в восстании) и около двух лет живет в Петербурге. Здесь он завязывает литературные знакомства, главным образом в декабристских кругах. Первые стихотворения молодого поэта увидели свет в альманахах Рыльева и Бестужева «Полярная звезда».

С Рылеевым и его окружением Хомякова объединяло серьезное отношение к жизни, презрение к светской суете, пафос патриотизма, свободы, человеческого достоинства. Но после «Вадима», уже в преддекабрьскую пору, мы не найдем в стихах Хомякова ни одного намека на темы активного протеста, волновавшие Рыльева, Кюхельбекера, В. Ф. Раевского. Убежденный противник любых насильственных изменений, Хомяков не понял громадной общественно-политической перспективы декабристского движения. Дочь Хомякова Мария Алексеевна оставила следующую запись: «Алек-

² Хомяков А. С. Полн. собр. соч. Т. 8. М., 1900. С. 5. Из письма Хомякова к матери от 15 июня 1829 г. с русско-турецкого фронта. В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте: первая цифра указывает том, вторая — страницу.

сей Степанович во время службы своей в Петербурге был знаком с гвардейской молодежью, из которой вышли почти все декабристы, и он сам говорил, что, вероятно, попал бы под следствие, если бы не был случайно в эту зиму в Париже, где занимался живописью. В собраниях у Рылеева он бывал очень часто и горячо опровергал политические мнения его и А. И. Одоевского, настаивая, что всякий военный бунт сам по себе безнравственен»³. О том же более подробно писал в своих воспоминаниях неуставленный однополчанин Хомякова:

Рылеев являлся в этом обществе оракулом. Его проповеди слушались с жадностью и доверием. Тема была одна — необходимость конституции и переворота посредством войска. События в Испании, подвиги Риго составляли предмет разговоров. Посреди этих людей нередко являлся молодой офицер, необыкновенно живого ума. Он никак не хотел согласиться с мнениями, господствовавшими в этом обществе, и постоянно твердил, что из всех революций самая незаконная есть революция военная. Однажды, поздним осенним вечером, по этому предмету у него был жаркий спор с Рылеевым. Смысл слов молодого офицера был таков: «Вы хотите военной революции. Но что такое войско? Это собрание людей, которых народ вооружил на свой счет и которым он поручил защищать себя. Какая же тут будет правда, если эти люди, в противность своему назначению, станут распоряжаться народом по произволу и сделаются выше его?» Рассерженный Рылеев убежал с вечера домой. Кн. Одоевскому этот противник революции надоедал, уверяя его, что он вовсе не либерал и только хочет заменить единодержавие тираниею вооруженного меньшинства. Человек этот — А. С. Хомяков⁴.

Политические разногласия Хомякова с кругом Рылеева отдаляли его и от поэтических идей декабристов. К тому же в середине 1825 года Хомяков покидает Петербург почти на два года, отпросившись в бессрочный отпуск за границу. Некоторое время он путешествует по Европе, большую часть времени живет в Париже.

Аскетически воспитанный Хомяков остался холоден к Парижу, хотя и усердно изучал его музеи, библиотеки, театры. Фран-

³ Отдел письменных источников Государственного Исторического музея в Москве (ГИМ).

⁴ Там же.

ция рано стала для Хомякова как бы средоточием всех отрицательных крайностей западноевропейской, буржуазной цивилизации; в позднейших своих статьях он неоднократно будет упоминать ее именно в негативном смысле. Франции, классической стране буржуазных революций, Хомяков будет противопоставлять Англию как страну устойчивых социальных и нравственных традиций, хотя Хомяков отметит и проникновение в Англию буржуазных институтов и отношений. В Париже Хомяков узнал о восстании 14 декабря. Может быть, под влиянием вызванных им размышлений о судьбах родины, народа, общественно активных личностей именно на грани 1825 и 1826 годов Хомяков начал писать трагедию «Ермак». Пьеса не содержит прямых параллелей с событиями 14 декабря, но косвенно глубоко с ними связана, так же как еще более тесно была связана с современностью драма Пушкина «Борис Годунов». Интересно, что и создавались обе эти — далеко, конечно, не равноценные — пьесы одновременно и были прочитаны московской литературной публике в два смежных вечера в доме Веневитиновых (12 и 13 октября 1826 года); москвичи выслушали Пушкина — гостя, а затем по его настоянию, как бы от имени хозяев представили ему своего драматурга с недавно законченной трагедией.

«Ермак» стоит на пороге романтической драмы следующего десятилетия (драмы Кукольника, Полевого), в какой-то степени открывая ей путь. Герой ее — связавшийся с разбойничьим миром Ермак — раскаивается и поворачивает на «праведный» путь: он стремится в борьбе с врагами России искупить свою вину перед родиной и ближними и просить прощения не в грязи порока, а на вершине славы, величия. Пьеса насыщена резкими оценками кровавых деяний Ивана Грозного и его опричников (ср. более позднюю статью Хомякова «Тринадцать лет царствования Ивана Васильевича», 1845). Казалось бы, честный и благородный Ермак не должен примириться с унижением его любимой родины, с казнями и ссылками невинных людей, но он примиряется: пафос любви к отчизне в сочетании с уверенностью в законности самодержавия оказался в пьесе выше свободолюбия и требований справедливости. Пушкин ответил на восстание декабристов изображением трагического разлада между «мнением народным» и намерениями правителей. Хомяков же полагает, что нацио-

нальное единство не должно быть нарушено, даже при царедеспоте (правда, драматург при этом не скрывает обреченности благородного человека в условиях деспотизма).

Важную роль в трагедии Хомякова играет идея судьбы. Образ Ермака в трагедии как бы раздваивается: как романтический герой и сильная личность, он считает себя независимым от воли рока («Сказать судьбе: я от тебя свободен», «И не подвластен ветреной судьбе»), и вместе с тем по замыслу автора именно судьбой определены все его поступки («Меня влекла неведомая сила»): преступив закон, герой должен понести наказание. Но «судьба» у Хомякова оказалась слишком «ветреной», слишком подвластной интересам и желаниям автора.

Наверное, Хомяков чувствовал двойственную неопределенность «судьбы» в своем творчестве; религиозная «дисциплинированность» заставляла его, как и многих других романтиков, думать о божественном провидении; но он, подобно своему герою Ермаку, жаждал в то же время вырваться из круга необходимости, пытался победить судьбу, а не покориться ей: ему был близок романтический пафос свободы, характерный для русской лирики конца 20-х годов и особенно интенсивно зазвучавший в следующем десятилетии. В стихотворении «Степи» (1828) Хомяков утверждает, что «святая доля» человека —

Труды, здоровье, покой,
Беспечный мир, восторг живой,
Степей кочующая воля.

Этим понятиям противостоит здесь не судьба, а «бессмысленный закон» современного цивилизованного общества (в данном контексте и судьба, и закон синонимичны, так как являются своего рода внешней, объективной «уздой» человеческих поступков). Несомненно, антитеза «закон — воля» восходит к пушкинским «Цыганам» («Его преследует закон»). В свою очередь, не в стихотворении ли «Степи» заключен прообраз знаменитых пушкинских строк «На свете счастья нет, но есть покой и воля» и не эти ли строки вспомнил Л. Н. Толстой⁵, вкладывая

⁵ Согласно записи Д. П. Маковицкого от 2 июня 1908 г. Толстой, который ценил и знал Хомякова, говорил о нем: «...он был очень приятный человек. Я уважал его деятельность и его славянофильские взгляды и как поэта». — Лит. наследство. Т. 90. Кн. 3. М., 1979. С. 103.

в уста Федора Протасова («Живой труп») не менее знаменитую фразу: «Это степь, это десятый век, это не свобода, а воля»? (Правда, понятие свободы носит здесь иной характер, чем у Хомякова: у Толстого имеется в виду дискредитировавшее себя политическое понятие.)

Хомяков всю жизнь будет желать именно не свободы, а воли (причем не только воли-независимости, но и воли-действия). Свобода, в его понимании, — необходимое условие, «простор» для творческой деятельности человека, а воля связана с самыми значительными и глубинными свойствами человеческой природы и чрезвычайно важна в этическом аспекте, для осуществления моральной ответственности личности, ибо лишь при свободном волеизъявлении, то есть при возможности выбора жизненного пути, поступков, слов и так далее, осуществляется моральная ответственность человека («выбор и свобода», как говорил Д. В. Веневитинов).

Реальная русская жизнь николаевской эпохи не давала, однако, простора ни воле-независимости, ни воле-действию. Поэтому двойственность судьбы и путей к освобождению от ее власти определяет не только концепцию «Ермака», но и всю деятельность Хомякова-человека и писателя.

После Русско-турецкой войны 1828—1829 годов, в которой Хомяков принял участие (проявив в боях незаурядное мужество), интенсивные раздумья о судьбе славянских народов в связи с польским восстанием 1831 года приводят Хомякова к работе над второй трагедией — «Димитрий Самозванец» (закончена в 1832 г.).

В ней учтен опыт пушкинского «Бориса Годунова» (есть даже прямые заимствования, однако герои и коллизии «Димитрия Самозванца» сильно романтизированы). Под влиянием Пушкина Хомяков отказался в новой драме от идей предначертанной свыше судьбы, главенствующей в «Ермаке»; теперь герои сами творят историю, и поэтому проблемы моральной ответственности становятся первостепенными. У Пушкина царя губит преступление против народной нравственности. Хомяков также выделяет безнравственность Годунова; как он позднее напишет в статье «Мнение русских об иностранцах» (1846), «Россия видела в Годунове человека, который втерся в ее выбор, отстранив всякую возможность другого выбора» (I, 55). Но самый главный критерий оценки человека в

трагедии «Димитрий Самозванец» — следование властителя религиозным нормам народа. С этой точки зрения Хомяков осуждает обоих правителей — и Годунова, и Самозванца.

2

В середине 30-х годов та часть дворянской интеллигенции, к которой принадлежал и Хомяков, постепенно выходит из духовного кризиса, пережитого ею после расправы над декабристами. Настала пора подводить итоги минувшему, намечать возможные пути дальнейшего развития России. С философско-исторической концепцией русской жизни выступил П. Я. Чаадаев. Мучительно переживая мрачные страницы в истории родины, он сосредоточил на них все свое внимание, заострил национальные недостатки и противопоставил им как положительные «западнические», «европейские» идеалы, вплоть до идеализации культуры католического мира. В значительной степени именно «Философическое письмо» Чаадаева (1836), полное страстного порыва к будущему и в то же время — глубокого исторического скептицизма, ускорило, по контрасту, консолидацию «антиевропейских» мыслителей славянофильской ориентации и вообще ускорило размежевание интеллигенции на два лагеря: западников и славянофилов. Западники (к ним принадлежали революционные демократы во главе с Белинским, Герцен, а также либеральные мыслители: Грановский, Кавелин и другие — в данном случае мы не касаемся весьма существенных различий между ними) желали социально-политических преобразований по образцу передовых европейских стран: уничтожения крепостного права, самодержавия, сословности, ратовали за просвещение для всех, за свободу человеческой личности, за европеизацию общественной жизни.

Хомяков совместно с И. В. Киреевским стали основателями славянофильского учения⁶. В этот период заметно изменились их образ жизни, взгляды, характер, творчество. Нельзя сказать, что это был кардинальный душевный переворот. Многие из черт будущего славянофила было заложено уже в сознании юного

⁶ О славянофилах см.: *Кулешов В. И.* Славянофилы и русская литература. М., 1976; *Литературные взгляды и творчество славянофилов. 1830—1850.* М., 1978; *Янковский Ю.* Патриархально-дворянская утопия. М., 1981; *Кошелев В. А.* Эстетические и литературные воззрения русских славянофилов (1840—1850-е годы). Л., 1984; *Цимбаев Н. И.* Славянофильство. М., 1986.

Хомякова: патриотическое воодушевление, глубокая религиозность, почтение к традициям. Но это были лишь плоды воспитания и черты характера, весьма далекие от системы воззрений, охватывающей разные стороны человеческой жизни и деятельности. Основы этой системы были созданы Хомяковым и Киреевским во второй половине 30-х годов. В 1839 году Хомяков написал свою первую программную статью «О старом и новом». Киреевский добавил к ней «В ответ А. С. Хомякову»⁷. Славянофилы младшего поколения, примкнувшие к основателям в 40-х годах — Ю. Ф. Самарин, К. С. Аксаков, — во многом следовали общим принципам, выработанным Хомяковым и Киреевским, каждый по-своему развивая и дополняя их; да и сами вожди славянофильства до конца жизни развивали и уточняли различные аспекты учения.

Славянофилы, подобно западникам, были одушевлены стремлением к уничтожению крепостного права. Желали они и освобождения человека и искусства от пут бюрократического государственного аппарата. Однако если либеральные западники обращали преимущественное внимание на прогрессивные стороны общественного развития Европы, то славянофилы проницательно замечали пороки западной цивилизации: обуржуазивание жизни, обездушивание человека, классовое расслоение и социальный антагонизм, превращение общества в раздробленную массу эгоистических, жестоких, меркантильных личностей и т. д. В культуре, в искусстве Запада славянофилы обращали внимание на погоню за модой, чрезмерное выпячивание личного «Я», культ прогресса ради прогресса (Хомяков в «Заметке по поводу статьи г. Соловьева о Риле» резко критиковал буржуазное понимание прогресса и противопоставил ему прогресс для человека, для «существ живых» — см. 3, 343). Важно отметить, что славянофилы считали социально-культурную судьбу Запада трагичной, тупиковой и не видели, кроме некоторых консервативных институтов Англии, реальных сил, которые могли бы противостоять буржуазности. Учения утопических социалистов представлялись им по-своему тоже буржуазными, пытающимися создать искусственные объединения («ассоциации», «фаланстеры»,

⁷ См. об этих статьях исследование: *Носов С. Н.* Два источника по истории раннего славянофильства // *Вспомогательные исторические дисциплины.* Т. 10. Л., 1978. С. 252—268.

«коммуны») из людей, уже глубоко индивидуалистичных, не знающих традиций общинной жизни и народной нравственности. В критике нереальности, неосуществимости проектов утопических социалистов, как и элементов буржуазности в них, славянофилы были в какой-то степени правы⁸. Но в пролетариате первой половины XIX века они видели только «люмпенство», растущую и безнадежную нищету, лишь умножающую пороки Запада.

Прозорливо усматривая в таком положении неизбежность будущих революционных взрывов, славянофилы искали средства спасения родины от исторических катаклизмов в сохранении патриархальных основ, уходящих корнями в быт и нравы допетровской и даже домонгольской Руси. В качестве нормы они выдвигали идеализированные положительные начала в жизни Киевской и Московской Руси и тем самым создали в своем воображении утопический строй, добровольный, в масштабах всей страны, союз малых общин, союз, где господствовало единство всего народа, от великого князя и до крестьянина (крестьянин мог, якобы благодаря своим личным достоинствам, подняться на самые верхние ступени общества), где будто бы гармонически сочетались интересы всех и каждого, бояр и холопов, где все было основано на христианской вере и идеальной этике, на началах любви, добра, братства. При этом главенствующую историческую и социальную роль в стране играл народ, «единственный и постоянный действительный истории» (1, 38). Таким образом, возникло противопоставление *реальной* Западной Европы, где недостатки выдвигались на первый план, и *идеальной* России. В Европе — завоевание власти насилием, «на крови», отсюда разделение на враждебные нации и сословия; стремление к личной пользе, напряженность и конфликтность жизни; подчинение церкви государству; рационализм, разобщенность, всеразлагающий рассудок; сила материальная; следование формальностям и закону. В России — добровольное объединение граждан и добровольное признание правителей, отсутствие сословной враж-

⁸ Ср. иронию Маркса по отношению к Фурье, который описывал свой идеал труда как забаву, «применительно к понятиям парижской гризетки» (*Маркс К. Основы критики политической экономии: Рукопись 1857 — 1858 гг. // Большевик. 1948. № 12. С. 32*).

ды; общественное, общинное⁹, совестливое начала как главные черты характера; свободная, независимая церковь; соединяющий разум, цельность, единство; сила духовная; следование истине и обычаям отцов.

В свете этих идеалов реальная Россия выглядела для Хомякова не такой уж благополучной, как можно было бы ожидать от славянофила. Причем не только современная ему, но и древняя Русь: это хорошо видно из текста программной статьи Хомякова «О старом и новом». Недаром он с горькой иронией относился к идиллическим картинам исторически реальной древней Руси, которые рисовал Константин Аксаков: «Его письма наполнены восторгом по случаю древней сельской жизни в России. Очевидно, он принимает за действительно бывшее многое, что существовало только в законе, а не на деле. Иначе представился бы случай единственный в мире: золотой век, о котором никто не помнит через 150 лет, несмотря на крайнюю железность последовавшего» (8, 133).

Вместе с тем славянофилы верили, что Россию ждет великое будущее, но вера эта строилась не на реальных социально-политических перспективах, а на противопоставлении православной церкви католической и протестантской в пользу первой.

Важно в связи с этим отметить, что убежденность в преимуществе православия, вера в то, что России как главной его хра-

⁹ Учение славянофилов об общине является краеугольным камнем их концепции, свидетельствующим о своеобразном их демократизме, который можно было бы назвать феодальным, учитывая его патриархальный характер. Пропаганда деревенского «коллективизма», защита интересов крестьян и т. п. вызывали у властей и у классово-корыстных помещичьих кругов представление о том, что этот демократизм славянофилов совершенно идентичен социализму, коммунизму, фурийеризму... Легенда о приоритете в «открытии» русской общины немецкого консервативного ученого барона А. Гакстгаузена, изучавшего в 1843 г. русский быт и опубликовавшего многотомный труд «Исследования внутренних отношений народной жизни и в особенности сельских учреждений России», не подтверждается фактами: Хомяков еще в 1842 г. подробно говорил об общине в статье «О сельских условиях», а до него, еще в XVIII в., упоминал о ней Чулков. Ср. характеристику К. Аксакова в «Былом и думах» Герцена: «Он в начале сороковых годов проповедовал сельскую общину, мир и артель. Он научил Гакстгаузена понимать их» (Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. Т. 9. М., 1956. С. 163).

нительнице принадлежит особая историческая роль, не вели к принижению других народов. Хомяков утверждал равенство рас и наций перед богом. В письме к графу А. П. Толстому он излагает свой интересный диалог с тульским архиереем Дмитрием и с сочувствием цитирует слова Дмитрия: «...не должно допускать совершенного преобладания одной народности над другой, ибо такое порабощение в делах духовных было бы полным торжеством провинциализма, совершенно противного христианству и вселенству» (8, 477).

Соответственно этому идеал национальной значительности, по Хомякову, связан не с отграничиванием себя от других наций, а в отдаче себя на служение всему миру. В ценной статье-рецензии «Картина Иванова» (1858) он писал: «Народная исключительность разрушалась, признавая свое служебное отношение ко всему человечеству» (3, 352).

И уж совершенно был чужд Хомяков (да и другие славянофилы) националистического высокомерия по отношению к другим народам. Наоборот, высокие, почти недостижимые идеалы порождали чрезвычайную требовательность к себе, к ближним, к народу, к своей стране. Ее избранничество, считал Хомяков, налагало на всех великую ответственность. Общество на высокой ступени социального и нравственного развития, имевшее какие-то изъяны, по Хомякову, оказывалось хуже, даже отвратительнее общества примитивного, но гармонически целостного; он сформулировал «закон, по которому высшее начало, искаженное, становится ниже низшего, выражающегося в целостности и стройной последовательности» (8, 317). Поэтому, продолжает свою мысль Хомяков в цитируемом письме к А. Ф. Гильфердингу, «христианство завоевательное должно быть отвратительным». Тем большие строгость и пуризм отличали частную и общественную деятельность славянофилов, чем больше они верили в величие России: им хотелось видеть это величие в незапятнанной чистоте!

Увы, действительность мало давала оснований для таких упований. Хомяков достаточно трезво оценивал реальное положение страны, историческое и современное. Когда грянула Восточная война 1853—1856 годов, он написал знаменитое стихотворение «России», вызвавшее бурю гнева в правительственных кругах, в дворянском обществе, в среде консервативных литераторов. Хомяков писал К. Аксакову, что в Дворянском клубе его

назвали изменником родины, подкупленным англичанами (см. 8, 346). Между тем вся вина Хомякова заключалась в том, что он осмелился обнаружить в жизни родной страны глубокие общественные язвы:

... А на тебя, увы! как много
 Грехов ужасных налегло!
 В судах черна неправдой черной
 И игом рабства клеймена;
 Безбожной лести, лжи тлетворной,
 И лени мертвой и позорной,
 И всякой мерзости полна!

Следует отметить, что, подобно другим славянофилам, Хомяков обличает общественные и нравственные пороки России, не касаясь политических «грехов», политического строя. Здесь сказывается его глубокое убеждение в принципиальной отделенности социальных проблем от политических («Безнаказанно нельзя смешивать общественную задачу с политической» — 8, 177), убеждение в непоколебимости монархического принципа, в добровольной отдаче народом своему царю всех политических прерогатив и решений.

Правда, на практике живая, непоседливая натура Хомякова не выдерживала теоретических догм; он постоянно вмешивался в политические дела, громогласно обсуждая их (хваля, браня, переоценивая) в московских и петербургских гостиных, бомбардируя письмами и советами своих знакомых, как-либо причастных к правительственным кругам, и даже осмеливаясь непосредственно воздействовать на эти круги. В письме к Ю. Самарину (весна 1856 г.) Хомяков обещает рассказать о встрече с министром народного просвещения А. С. Норовым: «... как я его пугнул на вечере и натравливал на 3-е отделение и пр.» (8, Приложения, 54; эти строки впервые были опубликованы лишь в 1900 г.).

При всей склонности Хомякова к теоретическим идеализациям он не мог не видеть политических пороков в русской истории. Понимал ли он, что они обусловлены именно самодержавной системой? В общем, видимо, понимал.

В частном письме к И. Аксакову (1858) он писал однажды: «... я все более и более убеждаюсь в одном: все ошибки Петра оправдываются (т. е. объясняются) странным бессмыслием допетровской, романовской, московской Руси» (8, 367). В печатных

же статьях Хомяков применительно к политическим порокам допетровской Руси акцентировал лишь личные заблуждения великих князей и царей, отводя какие-либо упреки в адрес монархического строя. На этих объяснениях строится вся статья об Иване Грозном: виноваты натура человека, дурное воспитание, плохие советчики. Стоило воцариться тишайшему Федору Иоанновичу, как наступило благоденствие страны.

По отношению же к петровскому и более позднему времени Хомяков был более свободен. Конечно же, свободен внутренне, а не внешне (именно здесь-то цензура больше всего и свирепствовала!). Просто в свете своих теоретических представлений Хомяков мог говорить более уверенно о недостатках политической системы России петербургского периода. Здесь он склонен даже, наоборот, оправдывать личные свойства императора, перенося вину на социально-политический строй. После смерти Николая I Хомяков пишет А. Н. Попову: «... я его всегда считал правым, как вы сами знаете, и винил не лицо, а систему и нас всех» (8, 223). Здесь еще не слишком ясно, что имеется в виду под «правотой». В другом письме — к А. Ф. Гильфердингу — Хомяков более точно изложил свою точку зрения: «Его ошибки были ошибки в понятиях и в ложной системе; но он был честный труженик, который действовал под ложно приложенным нравственным законом» (8, 325). Иными словами, это не абсолютная правота, а последовательность в соблюдении принципов системы. Для Хомякова Иван Грозный — жестокий, дикий правитель, нарушающий любые — человеческие, божеские, государственные — законы; Николай I — исправный служитель, верный исполнитель законов (другое дело, что сами современные законы содержат немало ложных начал).

Если убежденный монархист Хомяков так сдержанно-прохладно относился к императору, то по отношению к его правительству, к министрам — вдохновителям ложных законов он уже не мог скрывать своего недовольства, негодования, презрения.

С нескрываемой иронией отзывается Хомяков в письме к И. В. Киреевскому (1840) о министре народного просвещения: «Сюда, между прочих великих людей, приехал С. С. Уваров, которого я еще не видал и который, по слухам, невыразимо величествен в отсутствие Строганова» (8, Приложения, 48).

В письме к А. Ф. Гильфердингу (1853) Хомяков с удовольствием приводит остроумную фразу знакомого о другом министре

народного просвещения — князе П. А. Ширинском-Шихматове: «Этот бравый мужчина уверен, что глупость есть лучшее оборонительное оружие против заблуждений ума» (8, 306).

Не лучше отзывался глубоко религиозный Хомяков о церковных правителях. Об обер-прокуроре Синода графе Н. А. Протасове: «Ефимович <...> преважно уверяет, что главная теперь задача Синода состоит в примирении православия с учением Шлейермахера и что Протасов этим очень занимается. Вероятное дело» (8, Приложения, 48). О митрополите Макарии, авторе «Православного богословия» и «Истории русской церкви»: «Макарий провонял схоластикой. <...> Я бы мог его назвать восхитительно глупым, если бы он писал не о таком великом и важном предмете» (8, 189; письмо к А. Н. Попову от 22 октября 1848 г.).

Хомяков был противником крепостного права¹⁰, борцом — сначала в теории, а затем, перед 1861 годом, на практике — за скорейшее освобождение крестьян, причем с землей, с земельными наделами; выкуп этой земли у помещиков он предполагал совершить за счет государства, а не за счет самих крестьян. Способы добывания выкупных денег он придумывал неоднократно, они были остроумны, но мало реальны в условиях самодержавной системы. Оказались несбыточными, хотя и предельно простыми на первый взгляд, и практические меры по выкупу из неволи крепостных интеллигентов, особенно художников, которые придумал Хомяков еще в николаевское время: он предлагал ввести закон, принуждавший помещика освобождать своего крепостного интеллигента, а вместо выкупа бывший владелец получал бы одну рекрутскую квитанцию, как если бы сдал крепостного в солдаты. При рекрутском наборе этот помещик мог бы поставлять одним человеком меньше (см. 8, 277—278).

Однако замысел этот был неосуществим. Отдельные факты дворянского гуманизма и меценатства не могли стать законом, не меняли систему в целом. Еще в 1848 году в письме к графине А. Д. Блудовой (от 26 ноября) Хомяков писал: «...как бы каждый из нас ни любил Россию, мы все, как общество, постоянные враги ее, разумеется, бессознательно. Мы враги ее, потому что мы

¹⁰ См., например, его статью «Письмо в чужие края о раскрепощении помещичьих крестьян».

иностранцы, потому что мы господа крепостных соотечественников, потому что одураем народ» (8, 391).

Реакционное дворянство, вплоть до высших властей, было убеждено, что славянофилы — тайные революционеры. Когда московский генерал-губернатор граф А. А. Закревский получил сведения об арестованных членах кружка Петрашевского, то он сказал своему приближенному: « — Что, брат, видишь, из московских славян никого не нашли в этом заговоре. Что это значит, по-твоему? — Не знаю, ваше сиятельство. — Значит, все тут; да хитры, не поймашь следа» (8, 199).

А уже при Александре II, в 1858 году, Закревский отправил шефу жандармов князю В. А. Долгорукову донос о «неблагонамеренных людях» Москвы, который начинался с характеристики славянофилов:

По разным слухам и секретным негласным дознаниям можно предположить, что так называемые славянофилы составляют у нас тайное политическое общество. Славянофилы появились после польской революции, в виде литературного общества любителей русской старины. Центр этого общества — Москва <...>. Общество славянофилов развивает общинные или демократические начала. Оно составлено от лиц разных сословий: дворян, чиновников, купцов, мещан, людей духовного звания и ученых ¹¹.

Генерал-губернатор, очевидно, насаждал своих осведомителей во все кружки и общества: в том же доносе, например, он излагает разговор, происходивший у постели больного С. Т. Аксакова среди очень узкого круга посетителей.

Полуэмигрант И. С. Гагарин, иезуит, в книге «Будет ли Россия католической?» (Париж, 1857) доказывал, что славянофильство — это революционное движение, только под восточными формами.

Естественно, что и в самых высших правительственных сферах отношение к славянофилам было настороженным. Когда в 1849 году царская семья приехала в Москву, то императрица Александра Федоровна пожелала увидеть кого-либо из славянофилов, о которых, видимо, уже была наслышана; но присутствовавший при этом граф С. Г. Строганов тут же предостерег: «Ва-

¹¹ Русский архив. 1885. № 7. С. 447.

шему величеству не следует их видеть, это люди опасные» (8, 192). И позднее, уже при новом царе, императрица Мария Александровна намеревалась пригласить Хомякова во дворец, но сам Александр II запретил ей это (см. 8, 228).

Но если отбросить анекдотические слухи и представления, то оставалась все-таки реальная идеологическая несовместимость, более того, решительное неприятие славянофилов и их учения правительственными кругами. Николай I, например, резко отзывался по поводу славянофильских мечтаний об освобождении южных и западных славян из-под власти турецкой и австрийской империй: он воспринимал это как расшатывание целостности монархических государств!¹² Враждебно воспринимало правительство и социальные идеи славянофилов об общинности, их критику социально-политических пороков России в послепетровское время и т. д. За резкие отзывы о политике правительства были арестованы Ю. Ф. Самарин и И. С. Аксаков. Самарина заключили в Петропавловскую крепость, а затем сослали в Сибирь. По высочайшему распоряжению славянофилов не выпускали за границу, официально запретили им ношение русской одежды, которое воспринималось как вызов и обвинение пронизанному иностранным духом царскому двору. Запрещались произведения славянофилов, закрывались газеты и журналы, где они печатались («Молва», «Парус», «Русская беседа», «Русь»). Долго нужно было бы перечислять их статьи и брошюры, запрещенные к печати. При Николае I и вообще-то было невероятно тяжело добиться разрешения на издание нового журнала (широко известна обычная резолюция царя: «И без того много»), а славянофилам и совсем невозможно. Когда они в 1845 году попытались, по договоренности с издателем М. П. Погодиным, получить в свои руки «Москвитянин», то правительство не утвердило официальным редактором И. В. Киреевского: запомнился царский гнев и запрещение журнала «Европеец», который на-

¹² Раздражение Николая I усиливалось еще, очевидно, тем, что на Западе, главным образом в Германии, в 30—40-х гг. широко распространялись памфлеты о внешней политике русского правительства, где царю приписывался панславизм, желание объединить под эгидой России всех славян, перекроить границы Австрии и Турции и т. п. На самом же деле Николай I и его окружение были совершенно чужды панславизму, предпочитали «законные» империи, хотя бы и угнетавшие славян.

чал было издавать Киреевский еще в дославянофильский период своей жизни, в 1882 году. Славянофилы смогли поэтому выпустить неофициально лишь четыре номера «Москвитянина», и журнал снова возвратился к Погодину.

В это время с огромным успехом разошлись альманахи Н. А. Некрасова «Физиология Петербурга» (1845) и «Петербургский сборник» (1846), явившиеся своеобразным манифестом натуральной школы и критической программы В. Г. Белинского. Славянофилы решили выпустить в свет «Московский литературный и ученый сборник на 1846 год» и таковой же на 1847 год. Сборники большого успеха не имели, но все-таки его авторы продолжали думать о более регулярной публикации своих трудов. В 1852 году они снова издали «Московский сборник» и предполагали выпускать четыре книги ежегодно. Однако уже первый том вызвал недовольство правительственных кругов за похвалы Гоголю и отсутствие должного уважения к Петру I. А представленная в цензуру вторая книга вызвала настоящую бурю: в защите общины усмотрели пропаганду фурьеризма, издание было запрещено, основные участники сборника, в том числе и Хомяков, отданы под надзор полиции. Славянофилов обязали все свои произведения представлять в Главное управление цензуры, в Петербург, что было равносильно запрещению печататься.

Непечатное распространение славянофильских произведений, к которому они прибегнули, привело к еще более решительным карательным мерам. Особенно сильный гнев в правительственных кругах вызвало массовое размножение в списках стихотворения Хомякова «России». Даже относительно либеральный наследник престола, будущий Александр II, был возмущен. Эта реакция, очевидно, была инспирирована голосами из консервативных слоев бюрократии и дворянства. И. В. Киреевский писал А. И. Кошелеву 1 июня 1854 года: «... графиня Ростопчина докричалась до того, что наконец ей поверило правительство... И вследствие этого Хомякова... теперь призывали к графу Закревскому и по предписанию III отделения взяли с него расписку о том, что он никому не будет сообщать своих сочинений прежде, чем их утвердит цензура»¹³.

¹³ Киреевский И. В. Полн. собр. соч. Т. 2. М., 1911. С. 281.

Многие настолько считали Хомякова «революционером», что на него пало обвинение в авторстве радикальных антиправительственных стихотворений П. Л. Лаврова «Русскому народу» и «Русскому царю»: «...призывали его и допрашивали, он смог доказать свою неприкосновенность к ним»¹⁴. П. Л. Лавров, не желая, чтобы другой страдал из-за него, чуть ли не выдал себя правительству¹⁵. Высылка Хомякова из Москвы «была почти решена и не состоялась только по энергичному заступничеству гр. Д. Н. Блудова»¹⁶.

Зато теперь каждый шаг и каждое публичное слово славянофилов регистрировались; письма их и к ним перлюстрировались; «на почте» пропадали «подозрительные» книги и брошюры, присылаемые знакомыми из-за границы.

Убежденность славянофилов в своих идеях, непоколебимость этой убежденности, готовность бороться и жертвовать за них, конечно, вызывали у честных людей уважение — даже у тех, кто многого из этих идей не принимал, кому они казались чуждыми и неистинными. Герцен в «Былом и думах» великолепно охарактеризовал К. С. Аксакова: «...он за свою веру пошел бы на площадь, пошел бы на плаху, а когда это чувствуется за словами, они становятся страшно убедительны»¹⁷.

В пылу полемики между западниками и славянофилами в 40-х годах было предъявлено обоюдное много несправедливых упреков, так как тогда бросались в глаза прежде всего противоречия, антагонистические черты. Десятилетие спустя революционные демократы могли уже более трезво и объективно оценить сущность славянофильства. Н. Г. Чернышевский в «Очерках гоголевского периода русской литературы» дал ему такую характеристику:

Мы никогда не разделяли и не чувствуем ни малейшего влечения разделять мнения славянофилов, но по всей справедливости должны сказать, что если понятия их и надобно признать ошибочными, то нельзя не сочувствовать им как людям, про-

¹⁴ Штакеншнейдер Е. А. Дневник и записки. М.; Л., 1934. С. 146.

¹⁵ См.: Там же. Ср.: Барсуков Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина. Т. 14. СПб., 1900. С. 292—293.

¹⁶ См.: Русский архив. 1895. С. 281.

¹⁷ Герцен А. И. Собр. соч. Т. 9. С. 163.

никнутым сочувствием к просвещению. Отчасти в увлечении жаром полемики, еще более потому, что смешивали истинных славянофилов с людьми, которые пустоту и кичливость своих мнений прикрывают напыщенными родомонтадами на отрывочные и непонятные мысли, заимствованные напрокат у славянофилов (очевидно, намек на Погодина и Шевырева. — Б. Е.), эту школу обвиняли во вражде к науке, в обскурантизме, в стремлении возвратить Россию «ко дням Кошихина» и т. д. Упреки эти... несправедливы, — по крайней мере, относительно таких людей, как гг. Аксаковы, Кошелев, Киреевские, Хомяков, решительно несправедливы. Горячая ревность к основному началу всякого блага, просвещению одушевляет их. Нет нужды лично знать их, чтобы быть твердо убеждену, что они принадлежат к числу образованнейших, благороднейших и даровитейших людей в русском обществе¹⁸.

А. И. Герцен в 60-е годы часто ставил Хомякова в один ряд с Белинским и Грановским как замечательных представителей московской интеллигенции николаевской эпохи¹⁹. Н. П. Огарев, издавая в 1861 году сборник «Русская потаенная литература XIX столетия», включил в него наряду с произведениями Пушкина, Полежаева, Лермонтова, декабристов и стихотворения Хомякова и К. Аксакова. Правда, Герцен (как и Чернышевский) помнил всегда и об отличии своего круга от славянофильского: «У нас была одна любовь, но не одинокая. У них и у нас запало с ранних лет <...> чувство безграничной, обхватывающей все существование любви к русскому народу <...> И мы, как Янус или как двуглавый орел, смотрели в разные стороны, в то время как сердце билось одно»²⁰.

3

Эстетическая система славянофилов была создана в основном Хомяковым. Немалый вклад в эту область внесли и Киреевский с Аксаковыми, но именно Хомякову принадлежат наиболее общие, наиболее теоретические положения, ставшие фундаментом славянофильской эстетики.

Главным было утверждение *народности* искусства, понимаемой прежде всего как отображение в художественном творче-

¹⁸ Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. Т. 3. М., 1947. С. 78.

¹⁹ См.: Колокол. 1862. 1 июня. С. 1118; 1863. 1 апреля. С. 1320.

²⁰ Колокол. 1861. 15 января. С. 753.

стве глубинных основ народной жизни и общенародных идеалов. В эти основы и в эти идеалы входил и фольклор. Перечисляя самые заветные, самые дорогие свои национальные и социальные опорные объекты-идеалы, Хомяков включает в них и художественное народное творчество: «Корень и основа — Кремль, Киев, Саровская пустынь, народный быт с его песнями и обрядами, и по преимуществу община сельская» (3, 462).

Внимание и глубочайшее уважение Хомякова к былинам, сказкам, песням прослеживается на протяжении всего его жизненного и творческого пути, по многочисленным высказываниям в статьях и письмах к друзьям. Он содействовал публикации вновь найденных фольклорных произведений, комментировал и пропагандировал их, радовался, что древние памятники искусства и этнографии способствуют взаимопониманию и сближению народов: «Чех и словак, хорват и серб почувствовали себя родными братьями-славянами; с радостным удивлением видели они, что чем далее углублялись в древность, тем более сближались они друг с другом и в характере памятников, и в языке, и в обычаях» (3, 164). Одним из первых открывший большое художественное значение иконописи и церковной музыки, Хомяков неоднократно подчеркивал отражение в них общенародных духовных идеалов: «Икона не есть религиозная картина, точно так же как церковная музыка не есть музыка религиозная; икона и церковный напев стоят несравненно выше. Произведения одного лица, они не служат его выражением; они выражают всех людей, живущих одним духовным началом: это искусство в высшем его значении» (1, 163).

В былинах, песнях, сказаниях Хомяков исследовал отображение и истолкование исторических событий и даже, в качестве одного из первых русских мифологов, отображение древних, дохристианских верований народа, но — применительно к славянскому и особенно русскому фольклору — подчеркивал и его большую современную общественную и художественную ценность, так как устная поэзия и обряды являлись для России середины XIX века не прошлым, не музейными реликвиями, а неотъемлемой принадлежностью живой жизни, частью повседневного быта.

Живость, ясность, простота языка народной поэзии тоже служили Хомякову эстетическим идеалом, критерием-мерой для

собственного художественного творчества и при критических разборах произведений литературы и искусства.

Одна из главных идей Хомякова-критика — идея русской художественной школы, опирающейся на народные традиции. В музыкальной сфере наиболее народным Хомяков считал творчество Глинки, в изобразительной — картину А. А. Иванова «Явление Христа народу».

Из русских писателей Хомяков выше всего ставил Гоголя. Вместе с другими славянофилами, главным образом вместе с братьями Аксаковыми, Хомяков постоянно пропагандировал в своих статьях творчество писателя. Однако в противовес Белинскому, который в зрелые годы видел в произведениях Гоголя прежде всего сатиру, разоблачение пороков николаевской России, славянофилы односторонне подчеркивали противоположный аспект: положительные начала жизни, величие проблем, эпический пафос, отображение христианских идеалов, борьбу за нравственного, самоответственного человека.

Хомяков с великим уважением относился к Пушкину и Лермонтову, но считал, что в своем творчестве и мировоззрении они недостаточно проникли в глубинные — в славянофильском понимании — основы народной жизни. Из поэтов пушкинской плеяды Хомяков очень ценил Тютчева и Языкова, из молодых — Ивана Аксакова, отмечая его поэму из крестьянской жизни «Бродяга». Одним из первых Хомяков восхищался драмами Островского; по инициативе Хомякова как председателя Общества любителей российской словесности Лев Толстой был принят в действительные члены общества; в речи 4 февраля 1859 года, при приеме Толстого, Хомяков приветствовал нового сочлена и очень высоко отозвался о его творчестве.

В свете своего идеала, в свете живого и ясного стиля народной поэзии Хомяков оценивает деятельность А. С. Шишкова, подчеркивая его роль в становлении национального литературного языка: «...не забудьте, что Грибоедов считал себя учеником Шишкова, что Гоголь и Пушкин ценили его заслуги, что сам Карамзин отдал ему впоследствии справедливость и что самый русский по языку из всех русских прозаиков вышел, по собственному признанию, из школы Шишкова» (3, 207). (Речь идет о С. Т. Аксакове как авторе «Семейной хроники». Заслуги Аксакова в истории русской литературы и литературного языка вообще очень высоко оценивались славянофилами.)

После смерти Николая I были несколько смягчены цензурные придирки к произведениям, критикующим пороки общества, и на страницы журналов хлынула массовая «обличительная» литература, в которой, в либеральном ее варианте, господствовало не серьезное воплощение типических конфликтов и черт, а поверхностное разоблачение частных недостатков. Суетность, зубоскальство, мелкотемье такой литературы, сведение счетов с недругами, доходящее до клеветы, — все это вызывало резкие отповеди Хомякова, который особенно подробно остановился на этих проблемах в речи в Обществе любителей российской словесности 4 февраля 1859 года, когда в Общество принимали наряду с Л. Толстым очеркиста И. В. Селиванова. Признавая важность и законность гласности, свободной критики общественных пороков, Хомяков подчеркивал, что «к добру идти нужно добрыми и строгообсужденными путями» (3, 417).

С другой стороны, Хомяков враждебно относился к принципам «чистого искусства». Искусство, считал он, «вполне свободно» лишь в отвлечении, в теоретической интерпретации. «Но свобода художества, отвлеченно понятого, нисколько не относится к внутренней жизни самого художника. Художник не теория, не область мысли и мысленной деятельности: он человек, всегда человек своего времени, обыкновенно лучший его представитель, весь проникнутый его духом и его определившимися или зарождающимися стремлениями <...> в словесности вечное и художественное постоянно принимает в себя временное и преходящее» (3, 419).

Эстетическое Хомяков всегда связывал с этическим, художественное — с общественным. Более того, как правило, считал он, художественное и общественное взаимообуславливают друг друга и взаимно обогащают: «Лучший и высший представитель поэзии в Екатерининское время, Державин, есть в то же время общественный деятель в полном смысле слова» (3, 421). Хомяков подчеркивал гражданский характер всей русской словесности конца XVIII века, приводя в пример, кроме Державина, Фонвизина, Княжнина, Николева.

Хомяков не отрицал индивидуального своеобразия художников и писателей, отмечал характерные особенности выдающихся талантов, готов был даже упрекнуть своего младшего соратника по выработке славянофильских эстетических концепций Константина Аксакова в пренебрежении индивидуальным на-

чалом: «...вы были склонны слишком утеснять эту бедную личность, например, хоть в искусстве, где вы стояли за полную безымянность» (8, 352). Однако в целом и сам Хомяков, ради общего дела, в свете общенародных идеалов на первое место ставил гражданские и национальные свойства в искусстве и их анализировал в первую очередь. Довольно равнодушно относился Хомяков, подобно большинству славянофилов, и к указаниям личного авторства при своих произведениях. Некоторые его статьи в «Русской беседе» печатались от имени редакции или вообще безымянно.

В подчеркивании личного начала в художественном творчестве Хомяков всегда усматривал склонность к эгоцентризму, к индивидуализму, к отказу от принципа народности искусства. А приобщение к народности обогащает личное творчество и дает ему прочно укоренившиеся путеводные идеалы. С другой стороны, отмечал Хомяков, «чем человек полнее принадлежит своему народу, тем более доступен он и дорог всему человечеству» (3, 227). Иными словами, общечеловеческое в концепции Хомякова не противостоит народному, а неразрывно с ним связано: «...нет любви к человечеству в том, кто чужд своему народу» (3, 227).

В этической сфере, опять же в свете общенародных идеалов, Хомяков горячо проповедовал гражданскую, практическую, трудовую деятельность. Вместе с младшими славянофилами И. Аксаковым и Ю. Самариным он отличался наиболее практическим, наиболее земным складом характера и мировоззрения. Он постоянно нравственно тормозил своих друзей, упрекал в бездействии, тщательно изучал общественную и хозяйственную жизнь страны, ища в ней опоры для своих теорий. Хомяков, первый из славянофилов, деятельно боролся за освобождение крестьян от барщины, а потом и вообще от крепостной зависимости. А. А. Блок справедливо подчеркивал земную, конкретную любовь к родине у Хомякова и поставил его в этом отношении в один ряд с Лермонтовым, Тютчевым, Некрасовым²¹. И даже самая идеалистическая сфера — религия принимала у Хомякова удивительно земной характер. Ортодоксальные богословы осознавали критическое отношение Хомякова

²¹ См.: Блок А. Собр. соч.: В 8 т. Т. 5. М.; Л., 1962. С. 321.

к официальному православию и осуждали его, да и вообще всех славянофилов, за смешение общественного и церковного и за преобладание первого в их концепциях: «В социальной философии славянофилов церковь замещена „общиной“»²². И это действительно так, община у славянофилов — на первом месте. Хомяков неоднократно подчеркивал, что церкви существуют не для Бога, а для людей (эту «еретическую» мысль решительно оспаривал тульский епископ Дамаскин). В религии Хомякова больше всего интересовали практические проблемы христианской этики, как он их понимал и чувствовал: любовь, добро, благоволение. Вера в сочетании с этими понятиями должна была, по Хомякову, способствовать прежде всего созданию гармонической жизни на земле.

Показательно, что жизнь в идеале мыслилась Хомяковым не только гармонической, но и по-земному радостной. Еще в одном из ранних стихотворений, «Поэт», Хомяков, изображая первоизданную прелесть вселенной, отмечал веселье как главный атрибут жизни: «Все звезды жизнью веселились», и лишь «Земля катилась немая, // Небес веселых сирота». При этом Хомяков решительно отвергал насмешливость; в этом он был похож на художника А. А. Иванова, не признававшего жанровой карикатуры, но очень любившего радость, хорошую шутку, смех. В статье об Англии Хомяков писал: «Только крепкая и серьезная природа может сочувствовать истинной веселости. В салоне отроду никогда никому весело не бывало. Человек со смыслом поймет, что в Шекспире во сто раз более веселости, чем в Мольере, и тот, для кого из романа Диккенса и особенно из сцен домашней жизни светит теплое солнышко сердечной радости, не поверит обвинению Англии в скуке» (1, 119). Ценны воспоминания М. А. Хомяковой (дочери) об отце: «Вообще он любил жизнь и все богом созданное, и всякую человеческую

²² Флоровский Г. Пути русского богословия. Париж, 1937. С. 251. А. Л. Н. Толстой, хорошо лично знавший славянофилов, вообще сомневался в их религиозности: «Алексей Степанович Хомяков не был религиозным. Славянофильство — мысль политическая, национальная (народная), а никак не религиозная в его основе. Православие значительно для славянофилов, потому что большинство славян его исповедует» (Лит. наследство. Т. 90. Кн. 4. М., 1979. С. 36. Запись в дневнике Д. Маковицкого от 9 августа 1909 г.).

радость. Мне вспоминается один из многих его богословских разговоров с яркой кальвинисткой m-me Croisat об чуде в Кане Галилейской. Он спросил у нее, почему Христос превратил воду в вино и умножил его количество, а не другого чего-нибудь, употребляемого в пищу? Потому что он этим хотел благословить всякую чистую человеческую радость и веселье» (ГИМ)²³. Пожалуй, точнее хомяковскую веселость следовало бы отождествить именно с радостью, но он любил веселость и как остроумие, необычность, изменчивость, уничтожающую автоматизм, банальность размеренной жизни, даже жизни религиозной. Хомяков с женой послали первого апреля письмо Киреевским якобы от Чаадаева, где последний выражал намерение вернуться от католицизма к православию (8, 39). Даже над набожностью любимой матери он мог подшутить; у той были два камня от некоей святой скалы, которые полагалось класть в кружку для питья, один камень днем, другой — на ночь; и вот когда подавали матери воду, сын серьезно замечал, что снова перепутали камни: вместо дневного положен ночной, чем вызывал переполох... (ГИМ).

Еще один, совсем необычный для христианина повод и объект для веселья — *непонимание*: чем досадовать и злиться, лучше над непонимающим смеяться! Хомяков в письме к Ю. Ф. Самарину от 1 сентября 1852 года развивает идею о «двойном» смехе: лица, чуждые славянофильским воззрениям, могут воспринимать их носителей комически, а это, в свою очередь, дает повод смеяться над смеющимися: «...постороннему зрителю, неспособному понять ту неволю, в которой убеждения держат душу человека, мы все должны представлять характер довольно комический. Иногда эта мысль приходит мне в голову и освежает меня смехом». Тут же Хомяков вспоминает, что это свойство ему было издавна присуще: «В детстве меня забавляло незаслуженное наказание, и я часто не хотел оправдываться, чтобы не лишаться своего внутреннего смеха» (8, 283).

Хомяков, подобно Герцену, понимал, что смех — признак силы, а не слабости; он был даже близок к пониманию социаль-

²³ Интересно с этим сравнить воспоминание М. А. Хомяковой о своей матери Екатерине Михайловне: «Сколько я помню мою мать, у нее кроме красоты было что-то кроткое, простое, ясное и детское в выражении лица, она была веселого характера, но без всякой насмешливости» (там же.)

ной подоплеки настоящего комизма: «Сильная сатира, резкая комедия свидетельствуют еще о внутренней жизни, которая когда-нибудь еще может устроиться и развиваться в формах более изящных и благородных» (8, 397). Эта мысль высказана Хомяковым в письме к графине А. Д. Блудовой от 2 апреля 1850 года по поводу комедии А. Н. Островского «Банкрут» («Свои люди — сочтемся»).

Постоянный смех и улыбчивость Хомякова часто воспринимались как признак легковесности, даже беспочвенности, отсутствия серьезного мировоззрения. Нет ничего более ошибочного. Удивительно хорошо сказал об этом Герцен в «Былом и думах»:

Многие — и некогда я сам — думали, что Хомяков спорил из артистической потребности спорить, что глубоких убеждений у него не было, и в этом была виновата его манера, его вечный смех и поверхностность тех, которые его судили. Я не думаю, чтоб кто-нибудь из славян сделал больше для распространения их воззрения, чем Хомяков. Вся его жизнь, человека очень богатого и не служившего, была отдана пропаганде. Смеялся ли он или плакал — это зависело от нерв, от склада ума, от того, как его сложила среда и как он отражал ее; до глубины убеждения это не касается²⁴.

«Запас веселости» очень нужен был славянофилам, так как Хомяков ясно понимал: «Мы же должны знать, что никто из нас не доживет до жатвы» (8, 252). Именно поэтому Хомяков настаивал на оптимистическом мироощущении: «У нас постоянно должно быть более надежд, чем сомнений, и следовательно некоторый запас веселости» (8, 194). Веселость, так сказать, запасенная впрок! Сочетание непоколебимой уверенности в окончательном торжестве своего дела с органическим, природным весельем и создавало своеобразную натуру Хомякова.

Мировоззренческий и «генетический» оптимизм, перерастающий в веселость, очень характерен для творчества Хомякова, его стихов и прозы (публицистической и критической), особенно для прозы — здесь он более всего замечен: и в общей тональности статей, и в шутках, включенных в серьезные труды, и в обилии парадоксов и каламбуров (в этом еще сказывался глубокий артистизм Хомякова: умение ярко, образно, доход-

²⁴ Герцен А. И. Собр. соч. Т. 9. С. 158

чиво говорить о сложных проблемах). Даже спорил он легко и весело, так что часто серьезная проблема — например, женской эмансипации — при такой полемике превращалась в изящную и даже как бы несколько легковесную шутку:

Приехал как-то в Петербург москвич (славянофил, что ли) в бороде, в русском платье; был где-то на большом вечере, и вдруг какая-то милая петербургская дама, вся в кружевах (ну просто вся блеск и трепет, как где-то сказал Гоголь), обратилась к нему, прося от имени многих разрешения бросать мужей. Что ж вы думаете? Медведь отказал, не позволил даже петербургским женам бросать своих петербургских мужей. Вы не верите, не верю и я. Но посмотрите: это напечатано в «Le Nord» в январе нынешнего года, в письме из Петербурга. Пусть это шутка, пусть даже насмешка насчет московских славянофилов и их неумытой (шутник скажет *неумытой*) строгости; все-таки видно, что про них идет такая слава (3, 244).

Еще больше шуток и каламбуров в частных письмах Хомякова: без них, бывает, не обходится даже малая записка, а уж в больших письмах их обычно несколько сразу. То гомеопат Хомяков с удовольствием сообщает, что нашел лекарство от бешенства и что теперь беситься будут одни аллопаты (8, 228), то он в период «мрачного семилетия» с грустью говорит о талантливом поэте, который сильно пьет и на упреки друзей отвечает, что пока они не найдут живую воду, он будет «тянуть мертвую» (8, 397). Судя по воспоминаниям современников, и в устных беседах Хомяков постоянно острил по самым разным поводам. Уже после его смерти Герцен привел одну печальную остроту, относящуюся к 40-м годам. Николай I велел награждать крестьян, которые выдавали властям своих детей, скрывавшихся от рекрутского набора. Герцен спросил Хомякова: «Какую же медаль им дадут <...> не ту ли, что дают крестьянам с надписью „За спасение погибавших“?» — «Непреренно, — заметил Хомяков, — только уж с надписью: „За гибель спасавшихся“»²⁵.

Даже умирающий Хомяков не удержался от каламбура! Как вспоминает находившийся у его постели сосед Л. М. Муромцев, за час до смерти Хомякову стало лучше, и обрадованный

²⁵ Герцен А. И. Собр. соч. Т. 15. С. 129.

Муромцев стал утешать умирающего: «...посмотрите, как вы согрелись, и глаза просветлели», на что тот сострил: „А завтра как будут светлы!“ (8, Приложения, 52). И это были последние его слова!

Стиль Хомякова-прозаика весьма своеобразен, он удивительно хорошо отобразил яркий человеческий характер автора.

Исследовательница истории литературы, и в частности славянофильства, Е. В. Старикова, кажется, впервые сделала попытку определить особенности стиля Хомякова, сопоставив его со стилем Киреевского:

Киреевский предлагает философское обоснование современных явлений культуры, Хомяков переводит эти философские положения на конкретные факты и распространяет их на более широкое поле исторической и современной деятельности, сохраняя глубину философского осмысления проблем, не выходя за рамки их отвлеченности.

Отличие публицистического стиля А. Хомякова от стиля И. Киреевского хорошо видно и по заголовкам хомяковских статей — интригующих, задевающих и в этом смысле вполне журналистских. Они противоположны строго описательным названиям статей Киреевского <...>

Статьи Хомякова, в отличие от статей И. Киреевского, беллетризованы элементами то повествовательными, то декламационными, иногда даже диалогическими и всегда насыщены афоризмами, лирической патетикой и обильны историческими примерами. В его статьях явно ощутима архаическая стилизация и в языке и в синтаксисе; сам стиль их — стихийно или сознательно — выражал консервативную сущность защищаемых идей. Не случайно не только сами идеи, но и стиль публицистики Хомякова — кафедральный, пророческий (Герцен называл его апокалиптическим) — Белинский высмеивал как нечто чуждое и враждебное себе ²⁶.

Характеристика в целом очень справедливая, но она нуждается в некоторых оговорках. Прежде всего, стиль Хомякова архаичен не только (или даже не столько) в духе торжественных библеизмов, пророчеств и т. п. — он в условиях господства реалистического метода середины XIX века архаичен еще

²⁶ Старикова Е. В. Литературные взгляды и творчество славянофилов. 1830—1850 годы. М., 1978. С. 87—88.

и своими романтическими крайностями. К ним относятся и многочисленные синонимические ряды (понятий, эпитетов, синтаксических форм — чего угодно), и ряды «разнозначительных эпитетов» и оксюморонов, характерных для юношеской поэзии Хомякова, но встречающихся и в зрелой прозе («свиный агнец», «бешеная кротость»), и — особенно — изысканные метафоры вроде «словесный меч правды не должен быть никогда обращаем в кинжал клеветы» (3, 417). Этот оборот в условиях 50-х годов (он взят из речи в Обществе любителей российской словесности 4 февраля 1859 г.) мог восприниматься на грани пародии...

Иногда, впрочем, Хомяков в своих развернутых метафорах создавал очень яркие общественно-литературные образы. Такова, например, его характеристика Чаадаева на фоне николаевской эпохи (речь 28 апреля 1860 г.): «... в такое время, когда, по видимому, мысль погружалась в тяжкий и невольный сон, он особенно был дорог тем, что он и сам бодрствовал, и других пробуждал: тем, что в сгущавшемся сумраке того времени он не давал потухать лампаде и играл в ту игру, которая известна под именем „жив курилка“. Есть эпохи, в которые такая игра есть уже большая заслуга» (3, 454).

В одном из писем к К. С. Аксакову (1842) Хомяков советует адресату сочетать научное содержание статей или брошюр со свободным, почти художественным изложением: «Форма диссертационная не русская; в отдельных же брошюрах вы принимаете какую угодно форму, афоризма, анекдота, поясняющего мысль, лирики <...> смотря по ходу самого рассуждения, по расположению минутному или по преобладающему чувству» (8, 345—346). Сам Хомяков так именно и писал, композиция его статей удивительно свободная.

Интересно в этом отношении сравнить концовки статей Хомякова и его соратников. У наиболее «логичных», стремящихся к причинно-следственной поступательности мысли деятелей — у Киреевского и Самарина — заключение статей, как правило, — итоги, «резюме». У К. Аксакова, наоборот, вследствие тяготения к фрагментарности, отрывочности изложения чаще всего встречается как бы обрыв мысли, неожиданное прекращение анализа, даже если статья и сознательно завершена и опубликована как законченная. Даже в газетных передовицах «Молвы», где, казалось бы, прокламационный итог сам собой напрашивается, Акса-

ков самое большое, что сделает — это повторит какую-нибудь дорогую ему мысль, высказанную выше.

Хомяков занимает промежуточное место между Киреевским и Аксаковым, он может и свободно оборвать текст, может и резюмировать. Что исключительно характерно для него лично — это привнесение в концовки статей своеобразных «пуантов»: афористичных выражений или даже остроумных парадоксов, запоминающихся своей неожиданностью.

Примерами афоризмов могут служить концовки в рецензии «Опера Глинки „Жизнь за царя“: «Нет человечески истинного без истинно народного!» (3, 103) или в речи 2 февраля 1860 года: «...тот, кто служит слову, служит величайшему из всечеловеческих дел» (3, 444). А наиболее колоритный пример парадоксального «пуанта» — в концовке «Разговора в Подмосковной»:

Тулънев. <...> А думают же иные себя обезнародить и уйти в какую-то чистую, высокую сферу. Разумеется, им удастся только уморить всю жизненность и, в этом мертвом виде, не взлететь в высоту, а, так сказать, повиснуть в пустоте. Чему смеетесь вы, Ольга Сергеевна?

Ольга Серг. Как же не смеяться? Ведь это *Магоматов гроб* (3, 320).

Ясно, что вся концовка заранее направлялась автором к такой остроте: здесь сказался его давний интерес к парадоксальным спорам, к остроумной полемике.

Насыщение статей неожиданными поворотами мысли, остроумиями, каламбурами было не только органичным для стиля Хомякова явлением, но и, очевидно, сознательным приемом. А. И. Кошелев приводит в воспоминаниях интересный разговор: он упрекнул Хомякова, что тот часто «излагал свои мнения в виде софизмов», на что Хомяков возразил: «Наше общество так апатично, так сонливо, и понятия его покоятся под такую толстую корою, что необходимо ошеломлять людей и молотом пробивать кору их умственного бездействия и безмыслия» (8, 129).

В духе старой патриотической и проповеднической традиции Хомяков очень любил включать в свои труды притчи, параболы, присказки. Без них не обходилась у него почти ни одна статья, почти ни одна полемика. Крайний западник Б. Н. Чичерин назвал направление славянофильской «Русской беседы» мистическим; Хомяков тут же печатно отпарировал: «Недавно старая барыня просила молодого ученого объяснить ей электрический

телеграф. Когда дошло до индукционных токов, она прервала его: «Нет, батюшка, уже это что-то так таинственно, что и понять нельзя». Таково решение старушек: таков же и суд устарелых школ» (3, 322).

В устных спорах, как можно судить по воспоминаниям современников, Хомяков так же обильно использовал притчи, апологи, параболы. Он даже осмеливался с их помощью укорять сильных мира сего... П. И. Бартенев со слов самого Хомякова объясняет, почему к тому был нерасположен всемогущий в 40-х годах попечитель Московского учебного округа граф С. Г. Строганов. Оказывается, произошла следующая история. Строганов отказывался выполнить какую-то просьбу Хомякова, ссылаясь на дворянскую честь: *Noblesse oblige* (положение обязывает). Тогда Хомяков рассказал притчу: два друга-дикаря учились в Париже, затем, вернувшись на родину, один из них стал «видным деятелем», через несколько лет вернулся и другой, состоялась радостная встреча, но деятель прервал ее, заявив, что ему нужно присутствовать при жертвоприношении пленников; другой был изумлен: «Как же ты можешь участвовать в людоедстве?», на что деятель возразил: «*Noblesse oblige...*» (8, 192—193). Как видим, Строганову было на что обидеться!

Удивительна эта тяга Хомякова к спору, к «задиранию», к полемике, о чем говорят все мемуаристы. Герцен объяснял это унылым однообразием николаевской эпохи, желанием заглушить «чувство пустоты», но ведь таким блестящим спорщиком не был Киреевский, не были и другие славянофилы, да и кто из западников мог бы сравниться с Хомяковым в таланте полемиста? Разве что сам Герцен — и еще Белинский.

Видимо, эта черта была проявлением личности, индивидуальности Хомякова. Дочь его Мария Алексеевна в своих воспоминаниях дает очень точную, обобщающую характеристику отца, которая объясняет и страсть Хомякова к полемике: «Алексей» С«тепанович» любил всякое состязание (соревнование) словесное, умственное или физическое; он любил и диалектику, споры и с друзьями, и с знакомыми, и с раскольниками на Святой (в Кремле), любил и охоту с борзыми, как природное состязание, любил скачки и верховую езду, игру на бильярде, в шахматы и с деревенскими соседями в карты в длинные осенние вечера, и фехтование, и стрельбу в цель» (ГИМ).

Это индивидуальные хомяковские черты. Каждый из ведущих славянофилов был яркой личностью, непохожей на других, однако далеко не все из них личное начало допускали в систему, в мировоззренческие концепции. В творчестве братьев Аксаковых, например, особенно ярко отражалась их идея подавления личной свободы божественной объективной волей... Теоретически, пожалуй, наиболее «личностным» был И. Киреевский, подчеркивавший, что настоящая общинность не уничтожает, а развивает индивидуальности; к тому же Киреевский не очень верил в «железные» объективные законы и ждал перемен от божественного благоволения, от чуда, то есть от случайного явления, а случайное всегда тяготеет к особенному, к индивидуальному: ведь всякая индивидуальность — смесь закономерных, типических черт и случайных.

Хомяков в очень ценном теоретическом письме к А. И. Кошелеву (1854) признавался, что ему чужды обе крайности: и «партикуляризм» чуда у Киреевского, и «коренные законы» Ивана Аксакова, хотя он скорее готов примкнуть к утверждающим всеобщую закономерность, чем к ожидающим чудес (8, 141—142).

На самом деле житейски, психологически Хомяков ближе к личностному началу, при всех его теоретических утверждениях общих законов и подчинения им (далек он лишь от «чудесного», ибо все мистическое всегда было очень чуждо земному Хомякову). Его всегда привлекали незаурядные люди, яркие таланты, он и свои богатейшие способности не держал под спудом, а всячески проявлял их, проявлял себя не только как вождь направления, но и как личность. В статьях и письмах у него прорывались искренние восторги по поводу выдающихся личных качеств какого-нибудь человека. Когда его младший товарищ Н. Д. Свербеев делился своими впечатлениями о знакомстве в Якутске с тамошним епископом Иннокентием, то Хомяков ответил неожиданной тирадой: «Везде такие люди не на всяком перекрестке; но у нас встретить героя в земле, отличающейся стереотипным бессмыслием взгляда и улыбки и стереотипною пустотою сердца и головы — это удача, которую можно смело назвать милостью Божиею» (8, 428).

Интересно, что в бурные годы перед крестьянской реформой Хомяков стал допускать в свои статьи и теоретические утверждения личностного начала. Особенно значительна в этом отношении заметка «По поводу малороссийских проповедей» (1857).

Защита устного и печатного украинского языка переходит здесь в защиту всего частного, индивидуального, в том числе и человечески личного. Хомяков подчеркивает, что на протяжении всей русской истории у нас занимались развитием общества, а «права личности были не только оставлены без внимания, но и совершенно принесены в жертву общему строительству»; автор призывает обратиться теперь к развитию личностей, без которого вся прежняя работа «потеряла бы всякое жизненное значение»; заметка заключается следующим тезисом: «Действительно высоко всякое человеческое лицо, как бы ни было оно низко поставлено случайностями жизни; действительно важна всякая частная жизнь, какой бы ни был круг ее действий» (3, 286—287).

Подобные суждения вносили существенные коррективы в общеславянофильскую концепцию «растворения» личности в общем деле (религиозном, государственном, социальном). Проникновение личностного начала не только в общественно-философские концепции Хомякова, но и в его религиозные сочинения давало основание православным богословам самого различного ранга (от казенных церковных «бюрократам» до серьезных мыслителей типа П. Флоренского) обвинять славянофильского вождя в «протестантизме», в отходе от православных догм.

Обвинения совершенно необоснованные. Во-первых, Хомяков никогда и ранее не ратовал за притеснение личности, наоборот, он всегда считал, что добровольное включение человека в жизнь общества, следование общим обычаям, идеалам и т. п. отнюдь не сковывает его личных желаний, личного творчества, а во-вторых, и в конце жизненного пути Хомяков был самым активным глашатаем общинного начала, духовного единения, народной целостности. Предсмертное произведение Хомякова, которое с полным правом может рассматриваться как его духовное завещание — «К сербам. Послание из Москвы» (оно было напечатано в Лейпциге в 1860 г. за подписью всех славянофилов), — все пронизано этими идеалами.

4

Как видим, и в целом у славянофилов, и в частности у отдельных мыслителей, особенно у Хомякова, совершались некоторые перемены в концепциях, точнее — некоторые переакцентировки (ибо общая система взглядов у них оставалась непоколебленной). Большое значение здесь имели события середины 50-х го-

дов: смерть Николая I, поражение России в Крымской войне и активное антикрепостническое движение в стране. Славянофилы горячо включились в предреформенную борьбу и оказались в числе наиболее последовательных защитников освобождения крестьян с землей и выкупа (за счет государства) в пользу помещиков.

Еще в последние месяцы царствования Николая I славянофилы попытались снять проклятый цензурный запрет, лежавший на их деятельности с момента разгрома «Московского сборника» 1852 года. Хомяков, используя свои петербургские связи и знакомство с министром народного просвещения А. С. Норовым, пытался добиться ослабления гнета и отмены запрещения, но его усилия оказались тщетными. П. И. Бартенев воспроизводит потрясающую резолюцию Главного управления цензуры от 17 июня 1855 года на прошение Хомякова (уже после смерти Николая I!): «Отказать и не уведомлять об отказе» (8, 473). Эта резолюция должна войти в историю вместе с другими (относительно декабристов) знаменитыми резюме почившего императора!

Правда, спустя год славянофилам — с большим трудом — все-таки удалось добиться не только снятия запрета, но и разрешения издавать свой журнал («Русская беседа»). Впервые славянофилы получили в свои руки периодическое издание! Однако, как и раньше, они не имели общественно-журналистского успеха: «Русская беседа» существовала на «дотации» самих издателей и вынуждена была закрыться в 1860 году.

Попутно К. Аксаков в 1857 году и И. Аксаков в 1859-м предприняли было издание славянофильских газет («Молва» и «Парус»), но они были запрещены цензурой.

Хомяков деятельно участвовал во всех этих изданиях, а в «Русской беседе» он был одним из негласных руководителей. Вообще Хомяков в предреформенные годы проявляет разностороннюю общественную активность: помимо крестьянских дел и журналистики он еще восстановил в Москве Общество любителей российской словесности, где с 1859 года до смерти постоянно избирался председателем. Добрая половина всех публицистических и литературно-критических статей (включая сюда и речи) Хомякова создана была в эти четыре года (с осени 1856-го по лето 1860 г.).

Творческая энергия позднего Хомякова была для него своеобразной компенсацией личных, групповых, национальных бед.

В январе 1852 года скоропостижно умерла горячо любимая Хомяковым жена Екатерина Михайловна; это событие потрясло его необычайно, еще сильнее, чем смерть первых двух детей в младенческом возрасте, хотя и их смерть легла долго не заживающей раной на сердце отца. Именно в связи с потерей детей Хомяков высказал один из глубоких своих афоризмов: «Первое счастье в мире семейное; но в этом счастье та беда, что мы делаемся уязвимыми со всех сторон» (8, 49).

В последующие месяцы и годы Хомяков вместе с другими славянофилами тяжело переживал унижительные гонения и запреты, угрозы ареста и ссылки.

Но наиболее болезненно отразилась на общем мироощущении славянофилов серия поражений России в Крымской войне, приведших к сдаче Севастополя и к позорному миру.

Чрезвычайно трудно было сохранить при этом прежнюю оптимистическую уверенность, прежний славянофильский идеал гармонических государства, общества, семьи, тем более что перед глазами совершалось непрерывное расшатывание, непрерывный распад сложившихся устоев: Россия шла к буржуазности. Хомяков писал графине А. Д. Блудовой еще в 1850 году: «В жизни все дробится на такие мелкие части, общество так рассыпается и пустеет, что никакое вдохновение невозможно, кроме комического» (8, 397).

Можно было бы предполагать, что личные и общественные беды в конце концов расхатают представления Хомякова о гармонии, о счастье, о веселии. Нет, не расхатали! Разве что заставили больше думать о людских несчастьях, но и в не меньшей степени дали повод к поискам способов *преодоления* душевных бед (поскольку насильственных способов изменения общества Хомяков, как уже отмечалось, не признавал, главное внимание уделялось душевным состояниям гармонии и распада. Увы, искания в этой области отнюдь не решали проблемы общественной дисгармонии). «Всякое горе — род эмиграции», — произнес Хомяков еще один афоризм; следовательно, нужно и из горя извлечь уроки, остаться человеком и с честью вернуться в нормальное состояние (8, 443). При этом он самое горе альтруизировал, видел в нем источник или стимул к деятельному добру (а попутно оспаривал «католическую» идею о количественных наказаниях и прощениях, то есть о мере божьего наказания за определенную меру греха; для Хомякова же страдание — следствие вообще греховности человека, а не мера данного

конкретного греха). В одном из интереснейших сочинений на этические темы, в письме к И. С. Аксакову (около 1854) Хомяков так уточняет свою мысль: «Страдание способнее к состраданию, чем счастье (я говорю вообще, ибо иногда оно ожесточает), и поэтому благодарность, т. е. выражение ее в деятельности любви к ближнему, труднее счастливому, чем несчастному» (8, 361). А далее оказывается, что счастье все-таки более естественное состояние, чем несчастье, но оно налагает на человека большую ответственность, он должен уметь носить «тягость счастья».

Хомяков не просто утверждал превосходство счастья над несчастьем, но и посягал на традиционный христианский культ страдания. Публикуя в «Русской беседе» (1859) статью Э. А. Дмитриева-Мамонова «О византийской живописи», Хомяков сопровождал ее ценным примечанием, где оспаривает одно из главных положений статьи: «...слово *страдание*, которым автор характеризует христианское искусство, не совсем верно <...> Характеристика нового искусства, по преимуществу христианского, не есть *страдание*, но *нравственный пафос*, которого страдание не может ни помрачить, ни победить» (3, 376).

Что же касается личного горя, то Хомяков с мужественным рыцарством прятал его от посторонних глаз; даже ближние далеко не все знали, каково ему приходилось. Сохранились очень важные для понимания личности Хомякова воспоминания о нем Ю. Ф. Самарина, где приводится такой эпизод: «Раз я жил у него в Ивановском. К нему съехалось несколько человек гостей, так что все комнаты были заняты, и он перенес мою постель к себе. После ужина, после долгих разговоров, оживленных его неистощимую веселостью, мы улеглись, погасили свечи, и я заснул. Далеко за полночь я проснулся от какого-то говора в комнате. Утренняя заря едва-едва освещала ее. Не шевелясь и не подавая голоса, я начал всматриваться и вслушиваться. Он стоял на коленях перед походной своей иконой, руки были сложены крестом на подушке стула, голова покоилась на руках. До слуха моего доходили сдержанные рыдания. Это продолжалось до утра. Разумеется, я притворился спящим. На другой день он вышел к нам веселый, бодрый, с обычным добродушным своим смехом. От человека, всюду его сопровождавшего, я слышал, что это повторялось почти каждую ночь...»²⁷.

²⁷ Татевский сборник. СПб., 1899. С. 133.

Самарин описывает здесь состояние Хомякова после смерти жены. Но человек, способный так страдать, наверно, тяжело переживал и другие свои горести. О них мало знали близкие, они не прорывались на страницы его статей. Разве что в некоторых стихотворениях поздней поры, описывающих ночные тревоги и муки («Жаль мне вас, людей бессонных...», «Ночь», «Как часто во мне пробуждалась...»), звучит душевное горе.

Но, несмотря ни на какие общественные и личные потрясения, Хомяков не отказался, не отступился от своих идеалов. Поэтому «дневной» Хомяков, веселый, энергичный, цельный, — естественное и искреннее сочетание природных даров с созданной разумом нормой. А «ночные» мучения — это те трещины в душе и в идеале, которые непрерывно появлялись и непрерывно же, с невиданными усилиями, замазывались, уничтожались. В «дневном» Хомякове и в его славянофильских декларациях гармонического характера заключалась общетипическая сущность группы, сближающая Хомякова, скажем, с К. Аксаковым, который до последних дней сохранил удивительное «детское», цельное мироощущение, без нотки трагедийности. «Ночной» же Хомяков, вероятно, может быть в каких-то особенностях душевных страданий сопоставлен с И. Киреевским, но внутренняя жизнь последнего еще менее известна.

5

Реформа 1861 года, «освободившая» крестьян без земли и поставившая Россию на капиталистический путь развития, окончательно разрушила надежды славянофилов на воссоздание патриархального общественного устройства. Между тем вожди славянофильства один за другим уходили из жизни именно в предреформенное время. В 1856 году умерли оба брата Киреевские, Иван и Петр. 23 сентября 1860 года скорострительно скончался от холеры Хомяков (сколько своих крестьян он вылечил от холеры, а себя не смог!). Вслед за ним угас Константин Аксаков.

Непосредственное воздействие Хомякова на русскую литературу и публицистику можно усмотреть, главным образом, в пределах его жизни: вначале — взаимосвязи и взаимовлияние в кружке «любомудров», затем — воздействие на молодую поросль славянофильских деятелей, прежде всего на творчество братьев Аксаковых, Константина и Ивана. Существует некоторая связь между Хомяковым и Вл. Соловьевым.

Самым значительным было влияние творчества Хомякова на литературу и публицистику западных и южных славян. Его стихотворения, статьи, письма о славянском братстве, о возрождении и освобождении славянских народов стали чрезвычайно популярны в Чехии, Словакии, у народов Югославии, в Болгарии еще в сороковых — пятидесятых годах прошлого века.

Немаловажна и общекультурная роль славянофильского движения, поднявшего и широко рассмотревшего проблемы национальной самобытности, традиционализма, общинного строя, народного суверенитета, позитивного, деятельного творчества, — движения, ратовавшего за политическое, экономическое и духовное раскрепощение славянских народов. Герцен в некрологе «Константин Сергеевич Аксаков» так говорил о роли старших славянофилов: «Киреевские, Хомяков и Аксаков — *сделали свое дело*; <...> они могли сказать себе с полным сознанием, что они сделали то, что хотели сделать, и если они не могли остановить фельдъегерской тройки, посланной Петром и в которой сидит Бирон и колотит ямщика, чтоб тот скакал по нивам и давил людей, — то они остановили увлеченное общественное мнение и заставили призадуматься всех серьезных людей. С них начинается *перелом русской мысли*»²⁸.

В последнем Герцен неточен: славянофилы начали пробуждать общественную мысль последекабристского периода одновременно с Чаадаевым, Белинским и самим Герценом. Но славянофилы внесли немалый вклад в это пробуждение в глухую николаевскую эпоху. Без них трудно представить и дальнейшее развитие самобытной русской культуры.

²⁸ Герцен А. И. Собр. соч. Т. 15. С. 9.

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РУССКИХ СЛАВЯНОФИЛОВ НА ФОНЕ ЯПОНСКОГО ТРАДИЦИОНАЛИЗМА

Казалось бы, Россия и Япония существенно отличаются по всем главным параметрам: география, история, созданный географией и историей национальный характер. В самом деле, если учитывать не исключения из правила (а таких исключений в многоликкой России необычайно много), а массовую типичность явлений, то в географическом аспекте бросаются в глаза самые основные антиномии (всюду далее слева — Россия, справа — Япония):

— необъятность пространства;	— ограниченность, компактность;
— низменность, равнинность;	— преобладание гор;
— «тихие» геофизика и метеословия.	— тайфуны, землетрясения, извержения вулканов.

Эти антиномические феномены оказали громадное воздействие на историю, национальный характер, причудливо повлияли на эстетические принципы (считаю, например, что в искусстве обоих народов создавались как бы компенсаторные, противостоящие внешним факторам методы; «разреженность» пространства и событий вела к насыщению подробностями: детализированные картины и статуи, большие, подробные романы и поэмы, заросшие сады и парки; а японская обильная «скученность», наоборот, обуславливала господство малых жанров в литературе, стиль «одного угла» в живописи, разреженность предметов в саду).

В истории России, по сравнению с Японией, было больше насильственных и переменчивых акций: введение христианства, впоследствии — борьба с ересями и расколами; татаро-монгольское иго; крепостное иго; зверства Иоанна Грозного, Смутное время, реформы и репрессии Петра I и т. д. Такие акции расшатывали и уничтожали прочность институтов, традиционализм, преемственность.

Отсюда вытекают контрасты социально-культурного и национально-характерного толка:

— расслабленность, «женственность» характера;	— мужественность, собранность;
— ослабленность всех связей (типична пословица «До Бога высоко, до царя далеко»):	— компактные и прочные связи:
1) социально-политическая и вообще ценностная иерархия отдалена, она слабо проникает «внутрь» человека;	1) пространственная скупенность создает наглядную иерархию, она «пропитывает» человека;
2) национальное, культурное, семейное «беспамятство»;	2) память нации, рода, семьи;
3) ослабленная честь и честность.	3) честь родовая и личная.

Правда, крестьянская жизнь с ее повторяемостью событий, природной цикличностью способствовала укоренению обычаев и традиций. Кроме того, развитие и просвещение русского дворянства и купечества XVIII—XIX веков значительно углубили и упрочили понятия и чувства чести и честности, да и вообще понятия и чувства культуры, традиции, исторической и родовой памяти и т. п., но, с другой стороны, массовый миграционный поток (меньший — из одной части страны в другую, больший — из деревни в город) чудовищно разрушал вековые культурные традиции, продолжая варварские тенденции предшествующих эпох, и подготовил миллионы безосновных, безрелигиозных, безнравственных люмпенов, благодатную почву для большевистских экспериментов XX века: этот поток смял и почти уничтожил традиции, культуру, честь, честность. С величайшим трудом нация освобождается сейчас от смертельно болезненного развала.

В средней трети XIX века, в период расцвета славянофильства страшные «люмпенские», циничные буржуазно-мещанские тенденции лишь в виде зародышей существовали в русской жизни, однако они обратили на себя тревожное внимание именно мыслителей славянофильского круга и близких к ним групп.

Показательно, что именно славянофильы стали типологически наиболее близкими — из всех русских группировок — к япон-

скому традиционализму, и даже шире — к консервативной идеологии вообще. Они соединили консервативно-традиционалистские интенции, существенные для крестьянства, с дворянско-интеллигентским патриотизмом и вообще с культурно-исторической памятью.

Подчеркнем наиболее характерные с этой точки зрения славянофильские принципы.

Защита социально-политического статуса кво, иерархии, традиционализма. Культ древних народных обычаев, ценностное превышение обычая над законом. Превышение общего (государственного, общественного) над частным, индивидуальным.

Глубокий патриотизм с элементами ксенофобии (но А. Хомяков — наиболее «открытый» чужому среди славянофилов, он ратовал за заимствование, усвоение нужного стране, главным образом — достижений западной технической цивилизации; живостью, любознательностью, творческой энергией изобретателя и интерпретатора Хомяков противостоит сосредоточенной «абстрактной» самоуглубленности и своеобразному фатализму И. Киреевского; Хомяков был практиком, прагматиком, преуспевающим сельским хозяином-помещиком, в отличие от теоретического Киреевского; сходна антиномия более абстрактного Конст. Аксакова и практичного его брата Ивана).

Культ своей, отечественной религиозной культуры (православие «выше» и перспективнее по сравнению не только с нехристианскими конфессиями, но и с католичеством и протестантизмом).

Неприхотливость, простота во всем, нелюбовь к пышности и роскоши, пропаганда традиционного крестьянского быта и народной одежды (это близко к японским принципам *ваби* и *саби*).

Ненавязчивое учительство с помощью притч и загадок.

Внимание к детям, к воспитанию в духе традиционализма, в сердечной семейной обстановке, а ни в коем случае не в учебных пансионах и военных школах, вне родного дома.

Все эти особенности легко сопоставляются с аналогичными чертами японского традиционализма.

Специфически русские аспекты учения славянофилов (некоторые из них, впрочем, при усилении тоже могут сравниваться с соответствующими японскими явлениями): культ крестьянской общины; критика государственного бюрократизма и засилия «немцев» в верхнем эшелоне власти, нелюбовь к казенному Пе-

тербургу; борьба с философским рационализмом и материализмом; элементы панславизма; подчинение эстетики и искусства социально-политическим задачам — не ослабляют обилия сходных черт и контуров подобных систем.

Сходство двух идеологий, созданных в совершенно различных геополитических и исторических условиях, наводит на мысль о типологическом единстве консерватизма вообще и о его, так сказать, общечеловеческом происхождении.

А специфические акценты, аналогично расставленные и распространенные именно в этих двух культурах (скажем, достаточно большая доля ксенофобии), могут быть истолкованы, объяснены и похожими именно для данных народов геополитическими свойствами: и Россия, и Япония много веков сохраняли свою окраинность, отгороженность от других стран, что было немислимо, например, для государств и народов Западной Европы.

**ПРАВОСЛАВНАЯ
ЦЕРКОВЬ
И ЛИТЕРАТУРА**

ПРАВОСЛАВНЫЕ МЫСЛИТЕЛИ И ЛИТЕРАТУРНЫЕ КРИТИКИ XIX В. О ПУШКИНЕ

Представители официальной православной церкви XIX в., следуя старому византийскому «менталитету», жестко и авторитарно формулировали свое отношение к светской художественной литературе.

А. С. Пушкин в день своего рождения — 26 мая 1828 г. — сочинил замечательное стихотворение «Дар напрасный, дар случайный...» (опубликовано в альманахе «Северные цветы» на 1830 год). Оно пронизано глубокими раздумьями и сомнениями о смысле жизни, о судьбе личности, о великой загадке случая при самом рождении человека и т. д.; однако в стихотворении ни слова не говорилось о божественной причине происхождения жизни вообще и в частности, более того, в колебаниях, относительно причинности, Пушкин как бы и не думает о Боге, вопрошая: «Кто меня враждебной властью // Из ничтожества воззвал <...>?» Пушкин не дает ответов, да он и не знает их, он ограничивается вопросами; из трех четверостиший стихотворения два полностью состоят из вопросительных предложений.

Альманах «Северные цветы» на 1830 год, как и большинство альманахов той поры, был выпущен к Рождеству, к Новому году (на праздниках торговля шла живее!); цензурное разрешение тома — 20 декабря 1829 г., и, видимо, сразу же стал широко известен в читательских кругах, в нем было много пушкинских произведений. Восходящее церковное светило, молодой митрополит Московский Филарет, не мог не обратить внимания на сомнительное, с точки зрения православия, стихотворение и тотчас же ответил — необычно, войдя на территорию «оступившегося», т. е. ответил тоже стихотворением, да еще как бы говоря от имени самого поэта, но не реального Пушкина, а ортодоксально верующего христианина:

Не напрасно, не случайно
Жизнь от Бога мне дана;
Не без воли Бога тайной
И на казнь осуждена.

Это начало, а следующее четверостишие посвящено злым, страстным элементам поэтической души (к ним подверстывается и сомнение) — эти свойства уже не от Бога исходят, а сам человек призвал их из «темных бездн» бытия. Последнее, третье четверостишие — обращение заблудшего человека к Богу. В стихотворении нет колебаний, нет вопросов, идут одни утвердительные предложения, а последнее четверостишие наполнено просьбами к Богу, оформленными в виде повелительных наклонов: «Вспомнись мне...», «Просияй...».

Стихотворение Филарета было, видимо, написано в самом начале 1830 года, так как в январском письме Пушкина к Е. М. Хитрово оно упоминается уже как известное адресату. Прочитав его, Пушкин тоже немедленно ответил стихотворением «В часы забав иль праздной скуки...», имеющим дату 19 января и помещенным вскоре в «Литературной газете», в номере от 25 февраля. Поэт почтительно благодарит Владыку. Стихотворение заканчивается четверостишем, в котором можно усмотреть даже оттенок раскаяния:

Твоим огнем душа палима,
Отвергла мрак земных сует,
И внемлет арфе Серафима
В священном ужасе поэт.

(В черновике вместо «палима» и «Серафима» было «согрета» и «Филарета», вместо «мрак» — «блеск»; исправления — предмет интересного анализа: здесь может таиться каламбур — в Петербурге тогда правил митрополит Серафим; возможна игра в наивность — якобы поэт не знает, какой именно владыка ответил ему и т. д.).

Но поэт не отказался от своих раздумий и сомнений, да фактически и от «земных сует». Как бы нарочно именно 19 января 1830 г. Пушкин пишет еще одно стихотворение — «Нет, я не дорожу мятежным наслаждением...», самое яркое эротическое свое произведение, гимн чувственности и земным страстям.

Четверть века спустя, совсем в иную эпоху (хотя и при здравствующем митрополите Филарете) Н. А. Некрасов написал свое известное стихотворение «Поэт и Гражданин». Автор его возможно и не знал поэтической переключки Пушкина и Филарета, но он с потрясающей гениальностью воплотил чуть ли не вечные типы ищущего и сомневающегося гуманитария и волевого ко-

мандира, непоколебимо убежденного в своей правоте и наставляющего нетвердого товарища на путь истинный. Ведь Некрасовский Поэт весь опутан колебаниями и вопросами, и кончает он стихотворение цепью вопросительных предложений:

О Муза, гостьею случайной
Являлась ты душе моей?
Иль песен дар необычайный
Судьба предназначала ей?
Увы! Кто знает?.. и т. д.

Зато Гражданин точно знает ответы, знает истину в самой последней инстанции. В знаменитом обращении к Поэту он осмеливается призывать товарища идти на гибель «за честь отчизны, // За убежденья, за любовь...» Какую нужно иметь силу убежденья, чтобы звать другого умирать! В обращении, состоящем из 36 строк, — 8 восклицательных предложений, 12 глагольных императивов и 4 полуимператива («Не может...», «Не будет...», «Будет...», «Заблещут...»). Некрасов контрастом Поэта и Гражданина в утрированной и обобщенной форме невольно показал сходные социально-психологические и эстетические основы конфликта Пушкина и Филарета.

После кончины Пушкина его человеческий образ и его творчество неоднократно были предметом обсуждения и анализа в православной публицистике и литературной критике. Не все «оппоненты» соответствовали типологической сущности некрасовского Гражданина (или реального митрополита Филарета), были среди них и толерантные, снисходительные, ищущие, но это касается не верхов церковной иерархии. Правда, после Филарета и в этих верхах уже не было непоколебимой уверенности, возникали колебания и противоречия, но все-таки в официальных церковных кругах сохранялась настороженность по отношению к поэту. Особенно это проявилось при открытии памятника Пушкину в Москве в 1880 году (о чем довольно подробно рассказал М. Ч. Левитт в своей книге «Литература и политика: пушкинский праздник 1880 года», СПб., 1994).

Православная церковь издавна враждебно относилась к скульптурному воплощению религиозных и гражданских образов-фигур, считая это языческим или католическим обычаем, но в XIX веке уже создавались прецеденты освящать памятники именитым людям, например, Ф. Беллинсгаузену в Кронш-

тадте и И. Крузенштерну в Петербурге (хотя они ведь оба были лютеранами, а не православными). В Симбирске был освящен памятник Н. М. Карамзину. Но Пушкин оставался недостаточно «своим», поэтому Святейший Синод принял половинчатое решение: перед открытием памятника состоялись литургия, панихида и проповедь митрополита Макария — все это в Страстном монастыре, но первоначальный замысел о последующем торжественном шествии всего клира от монастыря через площадь к памятнику и об освящении скульптуры был отвергнут, и священнослужители не вышли из стен монастыря. Лишь всенародное празднование Пушкинского юбилея в 1899 году сломало холодность и отчужденность официальных церковных кругов — с этого момента Пушкин был уже признан «своим».

Что же касается «неофициальных» православных публицистов и литературных критиков, то здесь не было настороженности, Пушкин всегда оценивался как великий русский писатель, но его характеристика обычно переводилась в религиозно-нравственный план, и совсем нетипичны были анализы художественных проблем. Традиционной стала такая схема: в молодости поэта — трагедия большого таланта на пустяки, на легкую светскую литературу, затем, в зрелости, — переход к серьезным темам и к христианскому мировоззрению, хотя трагическая дуэль — тоже дань светским предрассудкам. Таковы, например, идеи речи, произнесенной профессором А. М. Иванцовым-Платоновым в церкви Московского университета 29 января 1887 г. перед собранием членов Общества любителей российской словесности. Речь потом в печати была озаглавлена «В пятидесятую годовщину памяти А. С. Пушкина». Вот квинтэссенция Речи: «Грустно и больно припоминать, как много в этой необыкновенной натуре потрачено даром в праздности, суетности, мелочности <...> и как, наконец, прекратилась эта дорогая жизнь, человеком разумнейшим, человеком образованным, человеком-христианином отданная в жертву нелепейшему и нечестивейшему из общественных предрассудков...». Иванцов-Платонов подробно говорит о нравственных аспектах пушкинского творчества, особо выделяя горячую любовь поэта к своим ближним, к друзьям, к народу, к природе: «... горячо любил и необыкновенно глубоко понимал самую природу, как высокое, чистое, хотя и для немногих понятное откровение Божией мудрости и любви» («За третье десятилетие священства (1883—1893). Слова, речи и некоторые статьи заслуженного профессора Мос-

ковского университета А. М. Иванцова-Платонова». Сергиев Посад, 1894, с. 79, 80).

Особое место в ряду православных литературоведов и критиков занимал Н. П. Гиляров-Платонов. Он не отказывается от «типической» концепции, изложенной выше, она пунктирно, иногда усиливаясь, иногда ослабляясь, проходит сквозь его статьи, но его воззрения более сложны и многоаспектны. Наиболее ценны для нашей темы его статьи специально о Пушкине, много лет печатавшиеся в его собственной газете «Современные известия» (1867—1887). Они всегда были без заглавия и подписи, т. е. подчеркнуто редакционные, программные.

В одной из ранних статей этой газеты (20 апреля 1871 г., № 106), как бы подытоживавшей полемику предшествующего десятилетия, когда Д. Писарев и В. Зайцев нигилистически унижали Пушкина, Гиляров в противовес им на первый план выдвигает художественные заслуги Пушкина, особенно заслуги в создании современного русского литературного языка; поэт сплавил разнородные стили, которые пытались соединить Ломоносов и Карамзин (первый — «сочетать народный словарь и грамматику с немецким и латинским синтаксисом и с словарем славяно-церковным», второй подбавил «и понятий, и слов, и синтаксиса французского»). А Пушкин «первый заговорил «по-русски», тем языком, которым доселе говорим все мы, и в котором все составные исторические стихии слились так, что и швов не видно». Далее подчеркивается легкость, простота, точность пушкинского языка. Потом Гиляров добавляет еще абзац о «таланте *изобразительности*» у Пушкина.

В статье есть и пассажи этического рода, но они тоньше и глубже, чем просто рассуждения о нравственности. Критик говорит о тоске Пушкина по поводу рабства на Руси, о «теплоте, с какою он обращался к русской природе», об «образе русской няни», о «легкой иронии, с какою относился он вообще к современному светскому обществу»; более резкого отрицания «не допускала его мягкая природа; но и она однако в «Нулине» возвысилась до такой крепкой насмешки, которой может позавидовать самое крепкое негодование крепчайшего из новейших отрицателей».

Любопытно, что в статье автор касался споров о будущем памятнике Пушкину, ибо уже тогда горячо обсуждалось — где его ставить. Впервые вопрос был поднят в 1860 году лицеистами, однокашниками поэта; они предлагали соорудить монумент в

Царском Селе, в лицейском саду. Александр II согласился, одобрил идею и место, началась всенародная подписка. Но позднее, в начале 1871 г., соученик Пушкина, ставший адмиралом, известный мореплаватель Ф. Ф. Матюшкин предложил вместо Царского Села Москву, где поэт родился, где мало памятников, а писателям нет вообще, и с этим многие согласились (в 1872 г. Москву утвердит и Александр II). Но еще велись споры о конкретном месте в Москве, например, предлагалась Театральная площадь — напротив Большого театра. Гиляров скептически отнесся к предложениям относительно Театральной площади и воззвал к москвичам подумать о другом месте. Вскоре был избран Тверской бульвар, напротив Страстного монастыря, царь утвердил и это место.

Наиболее разнообразна по содержанию группа статей Гилярова в «Современных известиях» 1880 года в связи с подготовкой пушкинских торжеств и открытием знаменитого памятника. А из этого цикла самая ценная статья появилась в газете в день открытия памятника, 6 мая (№ 154). Автор изложил здесь свои главные «пушкинистские» идеи, оказавшиеся удивительно созвучными, даже конгениальными идеям Достоевского, которыми тот насытит свою блистательную речь два дня спустя.

Вот краткий конспект-монтаж гиляровской статьи. «Пушкин был гигант, обогнавший не только своих сверстников и ближайших последователей, но и наше время. Его произведения — зерна, из которых в органическое целое плоды вырастут только в будущем». Для Пушкина характерны «всесторонность» и «необыкновенное чувство меры». «Набожность и вольномыслие, свободолюбие и апофеоз власти, либерализм в западном вкусе и славянофильство, даже панславизм; все эти оттенки направлений найдут в гениальном поэте места и целые стихотворения...». «Но чтобы оценить всю мощь этого титана, вчитаемся в те его произведения, где выражает он не себя и свой народ непосредственно, но взгляд на другие народы и чужую историю». «Возьмем <...> сцены из средних веков <...>: по художественной глубине и полноте мы не найдем ни в одной из всех литератур произведения, где бы так очерчен был средневековый быт Европы. И не только очерчен, но и оценен, и осужден...».

Конечно, речь Ф. М. Достоевского значительно более многопроблемная, у Гилярова нет темы о «гордом человеке» и о национальном характере Татьяны, его мысль об умении Пушкина

глубоко изображать не только свой, но и чужой быт, у Достоевского доведена до грандиозного обобщения («всемирность и всечеловечность»), однако в зародыше идеи о всесторонности Пушкина были высказаны (напечатаны) Гиляровым за два дня до речи писателя.

К сожалению, статья Гилярова-Платонова совершенно не введена в литературоведческий и культурологический круг; в обстоятельной книге М. Ч. Левитта, указанной выше, о ней нет ни слова, хотя газета «Современные известия» упоминается по другому поводу.

Не следует предполагать, что Достоевский мог из статьи что-то заимствовать и развить подробнее, прочитав «Современные известия» за 6 июня: ведь текст речи был в основном написан в Старой Руссе в конце мая, сохранились рукописи, — говорим не о заимствовании, а именно о совпадении, о конгениальности; идеи уже как бы носились в воздухе, Гиляров лишь коснулся их, а Достоевский подробно обосновал в речи 8 июня.

В последующих номерах «Современных известий» (№ 156, 8 июня — № 158, 10 июня) Гиляров относительно подробно, наряду с другими выступлениями, излагает речь Достоевского, попутно выражая восхищение дорогим для него мыслям писателя. Зато православные консерваторы К. П. Победоносцев и К. Н. Леонтьев негативно оценили речь Достоевского.

БУХАРЕВ И РУССКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ*

Споры вокруг имени многострадального богослова делятся уже почти полтора века. Что уж говорить о постоянно вспыхивавших полемических турнирах прошлых десятилетий, если и сейчас подготовители данной книги придерживаются едва ли не диаметрально противоположных точек зрения. Н. В. Серебренников как бы осуждает снятие Бухаревым монашеского и священнического сана, рассматривает его последующую жизнь, лишенную Божией благодати, как постоянные метания из одного места в другое, а главное — в сопутствии заметного спада творческой энергии. Я же, наоборот, одобряю отказ мыслителя от пут, мешавших ему свободно трудиться и добиваться публикации своих трудов; не вижу никаких метаний (относительно частые переезды в поисках спокойной, домашней обстановки связаны с внешними обстоятельствами: невозможность, из-за материальной стесненности, находить постоянное сносное жилье в сочетании с повышенной нравственной щепетильностью и ранимостью Бухарева); не вижу и творческого спада: в последние годы жизни богослов создал 14 книг, среди которых фундаментальный труд «О современных духовных потребностях мысли и жизни, особенно русской» (1865), — и это при семейных заботах и горестях (рождение и смерть 11-месячной дочери), при все ухудшавшемся здоровье. Разногласия катализаторски переносятся и на последователей: Н. В. Серебренников, пожалуй, недолюбливает П. А. Флоренского, а я считаю его одним из самых симпатичных, не говоря уже о глубине и универсализме его воззрений, мыслителей XX века. Христологией он *специально*, кажется, в самом деле не занимался, но странно то, что обвиняют в «равнодушии» одного из самых страстных православных богословов. Может быть, Флоренский потому и не занимался особо христологией, что

* Вступительная статья к книге: Архимандрит Феодор (А. М. Бухарев): Pro et contra: Антология. СПб., Изд-во РХГИ, 1997.

знал выдающийся вклад в эту область таких специалистов, как А. М. Бухарев и М. М. Тареев.

Наверное, споры вокруг имени Бухарева никогда не прекратятся: сложность его личности и еще большая сложность проблематики, которой он занимался, всегда будут вызывать самые противоположные оценки. Подборка рецензий, статей, глав из книг, представленная в настоящем издании, наглядно демонстрирует такое разнообразие. Любопытно, однако, что критические замечания, вплоть до самых неприязненных, исходят либо из лагеря задубелых церковников-традиционалистов (неважно, реальных служителей Церкви или светских глашатаев «закона» вроде генерала А. Н. Загоскина), либо из группы «модернистов» — ярким представителем таких взглядов был проф. М. М. Тареев. Глумливые «разносы» из радикальных журналов (см. рецензию В. А. Зайцева) — не в счет, это критика от «другой стенки», от людей, ненавидевших религию вообще. В большинстве же своем отзывы о Бухареве и его трудах — недвусмысленно положительные, хотя принадлежат они самым разным людям, разным и по времени, и по мировоззрению, и по психическому складу. Такой заметный перевес обнадеживает, он свидетельствует о действительной значительности нашего богослова. Положительные отзывы не означают абсолютного принятия всего создававшегося Бухаревым и всего его жизненного облика, были и неоднократные замечания относительно затрудненного стиля книг и статей богослова, а также его чрезмерной снисходительности, в роли инспектора, к студенческим проступкам. Но все-таки это незначительные частности по сравнению со всеобщими голосами одобрения, преклонения, восхищения. Бухарев излучал такой сильный духовный и нравственный свет, что он, мощно действуя на всех окружающих его при жизни, проникал и во все его писания. Это тот свет, который имеет некоторую аналогию в воздействии на современников замечательных русских интеллигентов совсем не церковного, а светского образования и поведения: Т. Н. Грановского, В. Г. Белинского, Н. К. Михайловского.

Самыми выдающимися чертами, характеризующими русскую интеллигенцию как уникальное явление мировой культуры, я считаю превосходство духовных интересов над материальными и служение людям. Но ведь это основные черты и христианско-

го идеала, хотя далеко не все реальные христиане приближаются к этому идеалу. Из-за целого ряда причин многие российские интеллигенты XIX века оказались вне Церкви, вне религиозного мировоззрения; многие интеллигенты даже принципиально отталкивались от веры в Бога, считали себя атеистами. Но на самом-то деле большинство из них были глубоко верующими — верующими в исторический прогресс, в добрую природу человека, в справедливое устройство общественной жизни на социалистических началах. Ради этой утопии некоторая часть русской интеллигенции XIX века соглашалась на насильственную организацию справедливого социально-политического строя для большинства жителей земли. Вот тут-то как раз и была пропасть между социалистами-коммунистами и христианами.

Архиепископа Новороссийского Иннокентия (Борисова) во время революции 1848 г. во Франции правительственные круги обвинили в пропаганде коммунистических начал, на что Владыка ответил контрастным очерком: коммунисты призывают брать по принципу: «все твое — мое», я же призываю отдавать добро людям по принципу: «все мое — твое»; я всегда просил имущих добровольно делиться с неимущими, но никогда не предлагал неимущим грабить имущих. Это вот и был тот мост, который соединял истинных христиан с русской интеллигенцией: мост приоритетов духовного и отдающего.

Бухарев — архимандрит Феодор всю свою жизнь положил на строительство этого моста. Легко и органично он служил людям, бескорыстно объяснял, наставлял, помогал нравственно и материально (будучи сам отнюдь не зажиточным человеком). Труднее было в духовной сфере: не для самого отца Феодора — его духовное развитие тоже шло органично, естественно, — а для воспринимающих, точнее — для тех, кого бы наш богослов хотел видеть воспринимающими; здесь он мыслил широко, в масштабах чуть ли всей России. Но если в простом народе духовное воздействие Бухарева совершалось, в основном, нормально и спокойно, то по отношению к интеллигенции это происходило куда труднее и запутаннее.

Проще всего архимандриту было общаться с православной молодежью, со студентами духовных академий, — здесь была наиболее благодатная почва. Но уже среди коллег и старших иерархов далеко не все в мировоззрении и поведении отца Феодора воспринималось органично и плодотворно. Слишком не-

обычными казались его страстные исследования на тему «Христос — это Любовь» и его постоянные призывы построить всю свою жизнь, вплоть до бытовых мелочей, на христианских основах. Если многие церковные люди относились к Бухареву с опаской и настороженностью, то что же говорить об атеистической интеллигенции! А ведь, казалось бы, он сам был типичнейшим русским интеллигентом с его повышенной и интенсивной духовностью и со страстной отдачей себя людям. Увы, эта духовность тогда далеко не всеми понималась.

Но старания не пропали даром. Бухарев мог сказать словами пушкинского Сеятеля: «Я вышел рано, до Звезды». Кому-то всегда предстоит вставать раньше других и будить их. И он будил! Он воспитал достойных учеников, которые уже при жизни учителя вставали на его защиту в печати и развивали его идеи (см., например, статьи А. А. Лебедева). Замечательный наш критик Ап. Григорьев в самых восторженных тонах отзывался о Бухареве. Стареющий, болезненный М. П. Погодин как бы встрепенулся и тоже восторженно заговорил о недавно умершем богослове. Тем более оживился интерес к нему в конце XIX — начале XX веков, когда христианская духовность стала все более широко распространяться среди русской интеллигенции. Как подчеркнул И. Д. Андреев, автор статьи «Бухарев» в «Новом энциклопедическом словаре» Брокгауза—Ефрона: «У него оказались преемники. Соловьев часто говорил его языком. Представители нового религиозного сознания вновь выдвигают его идеи. Общество начинает по смерти ценить его больше, чем ценило при жизни» (СПб., [1912]. Т. 8. Стб. 760). Вот когда оказались востребованными идеи отца Феодора! Появились переиздания книг покойного и публикации трудов, впервые извлеченных из-под спуда цензурных запретов XIX века. И появились первые научные исследования наследия Бухарева, первые диссертации о его творчестве. В дальнейшем уже невозможно было представить какую-нибудь работу по истории русской православной мысли без упоминания выдающегося вклада Бухарева.

Более глубоко стал осмысляться и его жизненный путь. Снятие монашеского сана известным архимандритом вызвало потрясение во всех религиозных кругах, в том числе и среди поклонников и учеников. Возникло почти поголовное осуждение поступка. И лишь в XX веке, в свете разразившейся борьбы за право человека самому решать и строить свои отношения с Богом

и Церковью, Бухарев был как бы оправдан. Сложные личные искания славянофилов (А. Хомяков, И. Киреевский) и Бухарева иногда трактовались чуть ли не как элементы протестантского индивидуализма. И лишь когда права личности и все проблемы личной ответственности стали входить в круг понятий православной идеологии и православного поведения, изменилась оценка жизненных поступков Бухарева. В. В. Розанов называл бухаревское снятие сана великим историческим подвигом.

Богослов занял прочное место в нашей духовной истории, хотя, как уже было сказано в начале статьи, наверное, никогда не прекратятся разногласия среди исследователей, оценивающих творческое наследие Бухарева. Но разве не всегда будут вызывать споры труды Ф. Достоевского, А. Хомякова, К. Леонтьева, Н. Данилевского, В. Соловьева, В. Розанова, П. Флоренского? Такова уж судьба всех крупных мыслителей, связанных с православием. По крайней мере, в последние два века. Может быть, в дальнейшем православные мыслители станут более едиными и непротиворечивыми. Но мы таких пока не знаем.

А. М. ИВАНЦОВ-ПЛАТОНОВ — УЧЕНЫЙ, ПУБЛИЦИСТ, ЛИТЕРАТУРНЫЙ КРИТИК

В середине XIX века среди православных мыслителей стали появляться самобытные личности, которые не вписывались в традиционный ортодоксальный круг и поэтому находились под подозрением у церковного начальства; они оказывались частично или полностью отчужденными от своих должностей или не допускавшимися к церковным должностям. Наиболее видными такими личностями были три замечательных деятеля: А. М. Бухарев (в монашестве — отец Феодор), Н. П. Гиляров-Платонов, А. М. Иванцов-Платонов. Все они — выпускники Московской духовной академии, все трое еще на студенческой скамье обратили на себя внимание преподавателей и попали под покровительство московского митрополита Филарета, любившего помогать талантам; все трое со студенческих лет проявили интерес к научной работе и публицистике, стали создавать нестандартные, а, значит, и не совсем ортодоксальные труды и, соответственно, митрополит Филарет сменил милость на гнев и начал притеснять ослушников...

Александр Михайлович Иванцов-Платонов (1835—1894) — самый младший из злополучной тройки оригиналов. Но и он не дожил до XX века, до русского религиозного возрождения, до времени, когда православные мыслители новой формации стали изучать и пропагандировать труды своих предшественников. Александр Михайлович — сын священника, по окончании Курской семинарии учился в Московской духовной академии (1856—1860), за отличные успехи в учебе получил стипендию Платона и «прибавку» к своей фамилии (в конце XVIII века московский митрополит Платон положил накопленные сбережения, 4000 рублей ассигнациями, в Опекунский совет, чтобы на проценты с капитала, т. е. на 200 руб. в год, академия помогала жить в сносных условиях — не в общежитии, а в отдельной келье, при улучшенной питании и экипировке — пяти наиболее талантливым бедным студентам; но позднейшая инфляция рубля сокращала количество стипендиатов; к середине XIX века стало трудно со-

держат на завещанные проценты даже одного студента, и Иванцов-Платонов оказался последним, 25-м стипендиатом)¹.

Еще студентом Иванцов познакомился с И. С. Аксаковым (влияние славянофилов вообще заметно во всем его творчестве) и благодаря последнему смог напечатать в славянофильском журнале обширную статью «О положительном и отрицательном отношении к жизни в русской литературе» («Русская беседа», 1859, № 1, отд. III. С. 1—46). Причем подзаголовок гласил: «Статья первая». Как позднее вспоминал сам автор, продолжение статьи, вместе с намечавшимся им целым рядом других работ, оказалось неопубликованным из-за закрытия через несколько месяцев «Русской беседы». Так как студенту духовной академии считалось неудобным выступать в «светской» печати, то автор подписал названную статью запоминающимся криптонимом: А. И.-Ц.

Неоконченная статья о русской литературе — самый крупный литературно-критический труд Иванцова-Платонова, и посвящен он проблеме, которая привлекала внимание многих христианских мыслителей: созидательному творчеству, противостоящему негативизму. Автор понимает, что дух современной переходной эпохи, когда идеалы оказываются «впереди жизни», взывает к критике, к отрицанию устаревшего, что и получило отражение в литературе. Однако, считает автор, и идеалы во многом оказываются привнесенными извне, с Запада (здесь проявляется типично славянофильская тенденция, заметно повлиявшая на Иванцова-Платонова), и запутаны до неразрешимости связи идеала с практикой. Рассматривая господствующую методологическую основу современного мировоззрения в его массовом варианте (очевидно, понимая его как сплав гегельянства с возникающим позитивистским «реализмом»), автор пишет: «Новейшая философия, возвысив идеал существа человеческого до недоступной для человеческой деятельности высоты идеи абсолютной, учит в то же время, что осуществления этого идеала нужно искать в действительной человеческой жизни, а не где-нибудь выше ее. Таким образом, в духе современного человека

¹ Полный список всех стипендиатов Платона с библиографическими сведениями о каждом см. в статье: *Кедров С.* Студенты-платоники в Академии // У Троицы в Академии. 1814—1914 гг.: Юбилейный сборник исторических материалов. М., 1914. С. 202—232.

разрушен мир с действительностью жизни, и в то же время загражден исход из нее в какой-либо мир идеальный» (С. 33—34).

Подобная запутанность, считает автор, лишает писателей возможности исследовать и изображать положительные начала жизни. «Характеры добрые, высокие, благородные — герои и героини наших драм, повестей и романов — или фальшивы, или бледны, или скучны, или вовсе не похожи на русских, если только похожи вообще на людей» (С. 2). Гоголь и Щедрин — прекрасные сатирики, но когда они пытаются показать положительные характеры и явления, то впадают в дидактику.

Между тем, подчеркивает Иванцов-Платонов, надо стремиться в самой жизни находить черты идеала, надо, не забывая идеалы, снисходительно и любовно относиться к реальной действительности, это и есть христианское отношение к жизни; сатира «всего более и не согласна с духом христианского смирения» (С. 29); все крупные русские писатели, даже Лермонтов, предпочитали положительные начала отрицательным. Автор призывает обратить внимание на высокие идеалы, отображенные в русском фольклоре, особенно в сказках: «Именно в нашей народной фантазии искони существует образ необъятной, но в то же время мирной, кроткой, гуманной, сдержанной и только иногда, на удивление миру и на пользу добрым людям, выходящей из своего покоя, силы». Этот образ автор также усматривает в произведениях «Ломоносова, Державина, Пушкина, Кольцова, даже Лермонтова, Гоголя, Языкова, Хомякова и др.» (С. 28). В конце статьи (вспомним, что должно было следовать ее продолжение) обещано в дальнейшем более подробное рассмотрение положительных начал в русской литературе.

Жаль, что продолжения не последовало. Славянофилы, как правило, рассматривали положительные элементы лишь в произведениях очень ограниченного круга писателей (Гоголь, С. Аксаков, Н. Кохановская, «свои» поэты), а Иванцов-Платонов включает в эту сферу почти всех крупных русских писателей XVIII — первой половины XIX вв. Вообще, старшие славянофилы значительно более напряженно и «отрицательно» относились к современной русской жизни и литературе, воспринимая многие их черты как «чужие», наносные, а Иванцов-Платонов, наоборот, стремился обнаружить как можно больше положительных начал. В этом аспекте он больше христианин, чем националист, в то время как у его учителей христианские принципы оказывались часто в подчинении у национальных, самобытных интенций, а последние в тогдашней

реальной жизни сокращались и отступали под натиском общеевропейских, общехристианских идеалов. И даже, казалось бы, чисто славянофильское противопоставление России и Запада в рассматриваемой статье звучит у Иванцова-Платонова совсем не стандартно: «Европеец потому вошел в разлад с современной жизнью, что много жил и хорошо узнал свою жизнь, — русский человек потому, что мало жил и не успел еще узнать своей жизни. Европеец, разочаровавшись в современной жизни и мало ожидая от будущего, ищет более успокоения и освежения в своем прошедшем или условно мирится с настоящим; русский человек, отрицая прошедшее и настоящее, доверчиво стремится к будущему» (С. 45). Эта устремленность в будущее характеризует и самого Иванцова-Платонова и тоже отличает его от славянофилов.

А итоговые прогнозы статьи выглядят вообще весьма далекими от славянофильских концепций: по завершении отечественных преобразований (не забудем, что статья создавалась в горячую предреформенную пору!), когда «общечеловеческие элементы» сольются «с коренными русскими началами и свойствами», распространятся и положительные начала в русской литературе (С. 46).

Что еще отличает статью Иванцова-Платонова от славянофильских литературно-критических трудов — это непрерывное внимание к художественной форме. Статьи славянофилов сугубо этичны, Иванцов-Платонов стремится сочетать этические и эстетические аспекты. Гоголь и Щедрин упрекаются за дидактизм, у Тургенева автор видит «недостатки в художественной отделке» (С. 2). «У современного поэта могут быть высокие идеалы, но ему негде взять форм для воплощения их» (С. 34). Непревзойденными образцами художественного воплощения идеала объявляются поэмы Гомера и вообще эпос. Гегелевское противопоставление эпоса и современного романа проводится в статье весьма подробно, и если литераторы XX века восхищаются синтетической разноликостью романа (см., например, труды В. Днепрова), то Иванцов-Платонов в замене романом древней эпопеи видит разрушение гармонии и цельности: роман «почти столько же принадлежит к эпическому, сколько и ко всякому другому роду искусства не только поэтического, но и прозаического. Это какая-то составная, смешанная эклектическая форма... В нем без всякого строго определенного плана и перехода спокойный эпический рассказ может стоять рядом с страстными драматически-

ми сценами и лирическими излияниями чувств поэта, идиллические сцены могут мешаться с комическими» (С. 37).

Значительно большие, по сравнению с сатирой, художественные трудности воплощения положительных начал жизни в искусстве также оказываются, по мнению автора, препятствием к укоренению их в художественных произведениях.

Очевидно, Иванцов-Платонов намеревался остаться при Московской духовной академии: он представил к защите фундаментальную магистерскую диссертацию «О православии». Но то ли митрополит Филарет раздражился либеральными идеями молодого ученого (о них пойдет речь ниже), то ли он прослышал об участии студента в журналистике (Иванцов-Платонов стал еще печататься, тоже, впрочем, под псевдонимами, в журнале «Православное обозрение»), однако выпускник не был оставлен при родной академии. По рекомендации видного специалиста, академического учителя Иванцова профессора А. В. Горского он был принят профессором церковной истории в Санкт-петербургскую духовную академию. Но его тянуло в Москву, и в 1863 г. он переезжает в этот город. Приняв священнический сан, он стал законоучителем Александровского военного училища. Одновременно он с успехом читал публичные лекции по церковной истории, активно сотрудничал в журналах; с 1869 г. стал соредактором «Православного обозрения». В 1872 г. по инициативе известного историка С. М. Соловьева, бывшего тогда ректором Московского университета, он был избран профессором церковной истории в этом светском учебном заведении. Успешно защитил докторскую диссертацию «Ереси и расколы первых трех веков христианства».

Иванцов-Платонов оставил потомкам несколько десятков статей и брошюр и два крупных сборника своих трудов: «За двадцать лет священства (1863—1883). Слова и речи» (М., 1884) и «За третье десятилетие священства (1883—1893). Слова, речи и некоторые статьи заслуженного профессора Московского университета А. М. Иванцова-Платонова» (Сергиев Посад, 1894).

Будучи христианским мыслителем и проповедником, то есть имеющим дело с многовековыми или даже вечными ценностями, Иванцов-Платонов в то же время сознавал себя русским человеком эпохи великих реформ: «В русском обществе после долгого затишья началось с конца пятидесятых годов усиленное возбуждение. Это возбуждение, выразившееся в стремлении к обновлению всех сфер общественной жизни, не могло так или иначе не

коснуться и сферы церковно-религиозной. С расширением свободы мысли, с освобождением печатного слова из-под строгих до того времени цензурных условий открылось довольно места для критики существовавшего порядка вещей. При более облегченных средствах сношений с Западной Европою, масса новых идей хлынула в русское общество» («За третье десятилетие...». С. 94).

И в духе эпохи реформ, смыкаясь со своими старшими коллегами, ратовавшими за либерализацию церкви (А. М. Бухарев и Н. П. Гиляров-Платонов), Иванцов-Платонов в течение всех своих творческих лет неустанно проводил в разных вариантах наиболее дорогие ему мысли:

— необходимо сближение церкви с обществом, с обыденной жизнью людей;

— у веры и науки не должно быть противоречий и враждебности, у них одна цель — поиск истины;

— необходимо гуманное и творческое отношение к раскольникам и иноверцам.

Он на протяжении всей своей жизни наводил мосты над пропастью, которая образовалась между церковью и обществом, и решительно спорил с противниками. Полубезумный фанатик В. И. Аскоченский в «Домашней беседе» (1860, № 1) обрушился на книгу о. Феодора (А. М. Бухарева) «О православии в отношении к современности» (СПб., 1860): «Человек, ратующий за православие и протягивающий руку современной цивилизации — трус, ренегат, изменник»; Иванцов-Платонов, подчеркнув скромную деликатность о. Феодора, который был церковным цензором «Домашней беседы» и благородно устранился от запрещенных хамских тирад в свой адрес, подробно развивал мысль о союзе религии и цивилизации: «... в православном христианстве даны человечеству самые полнейшие и крепчайшие начала истины, любви, правды, свободы»².

Из всех известных церковных деятелей XIX века Иванцов-Платонов был, кажется, самым «земным», самым практическим. Невозможно вкратце перечислить все темы и проблемы, затронутые в его публицистических статьях, но стоит подчеркнуть наиболее значимые: проблемы педагогики, образования, воспитания молодежи; специфические проблемы воспитания в военно-

² Православное обозрение. 1861. № 1. С. 17.

учебных заведениях (законоучитель издал несколько брошюр для будущих офицеров на нравственно-воспитательные темы; между прочим, решительно осуждал дуэли); проблемы образования и воспитания в церковных учебных заведениях; проблемы благотворительности и попечительства (сам он был известным филантропом, организатором благотворительных акций и обществ). Он любил людей активной жизни и деятельности. В речи при отпевании усопшего профессора и ректора Московского университета С. М. Соловьева (1879) Иванцов-Платонов не преминул отметить: «...для покойного, как для истинно русского человека, всего больнее, всего противнее было то довольно распространенное мнение, будто в русском человеке мало нравственной твердости, много лени, беспечности, легкого отношения к делу, недостает терпения, выдержки в труде... Покойный постоянно старался опровергать это мнение не только лично, но и подчеркивая в русской истории людей с энергией воли, труда, дела» («За двадцать лет...». С. 581).

Сам великий труженик, посвятивший жизнь науке, Иванцов-Платонов всегда ратовал за честное служение истине, за объективное изучение истории и современности и противостоял церковным деятелям, считавшим науку рабыней веры или даже враждебной вере областью, подлежащей цензуре (не только служители церкви, но и многие государственные мужи XIX века весьма подозрительно относились к наукам, особенно к гуманитарным: вспомним, что Николай I в 1850 году закрыл в русских университетах кафедры философии, а известный управляющий III отделением царской канцелярии Л. В. Дубельт записал для себя афоризм как руководство к действию: «В нашей России должны ученые поступать, как аптекари, владеющие и благотворными, целительными средствами, и ядами — и отпускать ученость только по рецепту правительства»³).

Иванцов-Платонов как бы проводил равенство между верой и наукой, ибо обе они заинтересованы в истине, и выступал против и церковных, и светских гонений на науку: «В интересах веры, как показывает самый опыт, оказывается не только не полезным, но положительно вредным стеснять и ограничивать свободу науки или заставлять ее хитрить, лицемерить, являться робкою и пристрастною; особенно это неприлично тем, которые сами слу-

³ Голос минувшего. 1913. № 3. С. 133.

жат представителями и деятелями науки. Никакими ограничениями, стеснениями и искусственными направлениями нельзя ни уничтожить науку, ни лишить ее свободы, сделать ее покорною рабою веры, которая бы всегда только соглашалась с нею и никогда не смела бы противоречить ей; всем этим можно только более вооружить науку против веры и унижить, опозорить пред нею веру, — поставить ту и другую во взаимно враждебные отношения, вредные и для науки, и для веры»⁴.

Видя упадок русского богословия, Иванцов-Платонов пишет специальную статью «О преподавании богословских наук в русских университетах» («Православное обозрение», 1862, № 5). Наряду с другими практическими рекомендациями, автор предлагает командировать русских ученых для прослушивания циклов лекций ведущих западноевропейских профессоров теологии, да и вообще советует больше путешествовать с образовательными целями по западным странам; предлагает отказаться от страха перед западной наукой и от тайного использования чужих идей: «...наши богословы и духовные писатели только на словах иногда слишком ригористически относятся к западной богословской литературе, как будто она никуда не годится и в ней, кроме лжи и заблуждений, ничего доброго нет. На деле они всегда поступают гораздо умнее — пользуются при развитии своих мыслей всем, что только могут найти доступного для себя в западной литературе, не обегая иноверческих сочинений»⁵.

Терпимое и внимательное отношение к «чужой» вере, особенно — к инославной, Иванцов-Платонов проповедовал и с кафедры, и со страниц журналов. Еще будучи студентом, он выработал методологию научного спора, посвятив ей специальную статью «Об отношении полемической богословской литературы к современным требованиям науки и жизни» («Православное обозрение», 1860, № 2): «Главное здесь — чувство твердого и спокойного убеждения в истине, христианская братская любовь к заблуждающим(ся), кроткое, проникнутое искренним, а не официальным желанием душевного блага, обращение с ними, — уменье, не поступаясь православным убеждением, щадить религиозные чувства и симпатии самих

⁴ Православное обозрение. 1870. № 1. С. 22—23.

⁵ Там же. 1862. № 5. С. 61.

противников, обличать, не раздражая, обращаться к ним не с упреками и угрозами, а с словом любви и мира» (с. 233—234).

В качестве негативного примера автор приводит книгу Ив. Никольского «Об антихристе, против раскольников» (СПб., 1859), наполненную оскорблениями и насмешками, и заключает: «Странно, как человек, имеющий убеждение и знающий цену ему, может так легко относиться к чужому убеждению, убеждению религиозному, притом убеждению не одного человека, а целого общества, состоящего из наших же соотечественников!..» (с. 235).

Иванцов-Платонов много сделал для пропаганды богословских трудов А. С. Хомякова: он впервые публиковал их на страницах своего журнала, комментировал, но корректно отмечал и односторонность мыслителя, его принципиальный негативизм к западному христианству. Кн. С. Н. Трубецкой справедливо «приподнимал» идеи Иванцова-Платонова над хомяковскими, подчеркивал их большую «правильность»: «Он противуполагает учение западных исповеданий *чистому православию*, но фактически все же видит в них *церкви* — христианские, хотя и не православные, между тем как Хомяков признавал Церковь только в православии, отрицая ее в католицизме и протестантстве. Поэтому Хомяков последовательно отрицал вне православной восточной Церкви и какие бы то ни было таинства, как действия благодати, — воззрение, которое Иванцов-Платонов решительно отвергает, признавая его «слишком жестоким, тяжелым и несогласным с воззрениями православной Церкви», во всяком случае — с ее практикой»⁶.

Иванцов-Платонов дружил с некоторыми славянофилами, печатался в газетах И. С. Аксакова «День» и «Русь», но сдержанно или даже отрицательно относился к романтическим декларациям славянофилов и близких к ним публицистов, особенно по поводу величия России и русского народа. В цикле статей «Напутственные речи к выпускным воспитанникам Александровского военного училища» он писал: «Любовь к народу не должна иметь характера мертвенно-архивного. Плохо любят те свой народ, которые любят его только в прошедшем... Наша любовь к народу должна быть чужда фальшивого самообольщения; мы не должны слишком мечтать о своих национальных достоинствах, намеренно преувеличивать их,

⁶ Трубецкой, кн. Сергей. Научная деятельность А. М. Иванцова-Платонова // Вопросы философии и психологии. 1895. Кн. 2 (27). С. 195.

украшать свой народ небывалыми совершенствами и пристрастно возвеличивать его на счет всех других народов» («За двадцать лет...». С. 138—139). В уже цитированной речи при отпевании С. М. Соловьева Иванцов-Платонов подчеркнул сдержанность, скромность покойного, нежелание выставлять напоказ святые чувства: «Патриотизм, семейное чувство, расположение к дружбе, религиозность, это были для него такие святыни, до которых он не любил давать касаться другим» (Там же. С. 580).

Занятый богословскими науками и публицистикой на религиозные темы, Иванцов-Платонов в зрелые годы значительно меньше уделял внимание проблемам художественной литературы. Отметим его Слово на могиле С. Т. Аксакова в Симоновом монастыре к 100-летию со дня рождения писателя (1890): «Это был человек, художник и христианин, который тем отличался от других своих собратий по искусству, что в нем человек, художник и христианин составляли одно нераздельное целое. Это был художник, в произведениях которого идеальная художественная правда и правда реальная — самая простая бытовая, житейская — так тесно сочетались (так! — *Б. Е.*) между собою, как ни у кого из других наших писателей и более крупных по таланту» (За третье десятилетие...». С. 62).

Гармоническое соединение разных аспектов бытия всегда было идеалом Иванцова-Платонова. Поэтому в Речи к 50-й годовщине памяти Пушкина, произнесенной в церкви Московского университета 29 января 1887 г., он, в отличие от Слова о С. Т. Аксакове, начинал с негативных оценок: «Грустно и больно припоминать, как много в этой необыкновенной натуре потрачено даром в праздности, суетности, мелочности... и как, наконец, прекратилась эта дорогая жизнь человеком разумнейшим, человеком образованным, человеком-христианином, отданная в жертву нелепейшему и нечестивейшему из общественных предрассудков...» («За третье десятилетие...». С. 79). Но далее автор Речи перешел к великим достоинствам и талантам Пушкина, особо отметив его христианские воззрения.

В целом, конечно, литературные суждения Иванцова-Платонова не отличались большой самобытностью, характеризуя типичные взгляды православного ученого. Главная его заслуга, как и названных двух его старших соратников, — расчистка путей, подготовка почвы для значительно более свободной и разносторонней деятельности русских религиозных мыслителей XX века.

«ПЛУТАРХОВЫ ПАРЫ»

В. П. БОТКИН И А. И. ГЕРЦЕН

Герцен впервые увидел В. П. Боткина, очевидно, в конце августа — начале сентября 1839 г.¹, когда приезжал в Москву и познакомился с Белинским; а последний жил эти месяцы у Боткина². В письме Огарева к Герцену около 6 ноября 1839 г. говорится о Боткине как об общем знакомом³. Взаимоотношения Герцена и Боткина вначале были прохладными (сказывалась напряженность отношений Герцена и Белинского «примирительного периода»), сдержанность или даже недоброжелательность Боткина к Герцену продолжалась и после отказа Белинского от «примирительных» идей и сближения его с Герценом: судя по письму Белинского к Боткину от 16 января 1841 г., тот «несправедлив к нему (Герцену. — Б. Е.) как к лицу» и не любит его «как личность» (Белинский, XII, 17), но затем отношения их улучшаются. Боткин пишет Белинскому 17 сентября 1842 г.: «С Герценом вижусь часто и все больше и больше учусь любить этого человека. Мое прежнее понятие о нем лежало лишь в моей ограниченности и в гнилом остатке бессознательной романтики»⁴.

Герцен воспринимает Боткина как одного из членов дорогого его сердцу московского кружка западников, хотя утрированная чувственность Боткина вызывает иронию: она хорошо отражена в мемуарном очерке Герцена «Эпизод из 1844 года» (нужно 1843. — Б. Е.) (1857), где юмористически описывается неудачная женитьба Боткина на французской модистке Арманс Рульяр (очерк при жизни Герцена не был опубликован

¹ Летопись жизни и творчества А. И. Герцена. Т. I—V. М., 1974—1990. Т. I. М., 1974. С. 207 (далее ссылки в тексте).

² Белинский В. Г. Полн. собр. соч. Т. II. М., 1956. С. 404 (далее ссылки в тексте).

³ Огарев Н. П. Избр. социально-политические и философские произведения. Т. 2. М., 1956. С. 302. Ср. датировку этого письма в «Летописи Герцена» I. С. 211.

⁴ Литературная мысль. Т. 2. Пг., 1923. С. 182.

и печатается теперь, согласно авторскому замыслу, в составе четвертой части «Былого и дум»).

Споры по некоторым идеологическим вопросам (например, в 1847 г. Боткин, в противовес Герцену, защищал роль буржуазии в развитии современной Европы) не мешали в целом дружественным отношениям: даже после революции 1848 г., очень испугавшей Боткина, переписка между ставшим эмигрантом Герценом и москвичом Боткиным продолжалась, однако прекратилась после репрессий царского правительства 1849 г. (расправа над петрашевцами).

Переписка возобновилась лишь в 1857 г.; за минувшее десятилетие Боткин «поправел», стал умеренным (иногда даже трусливым) либералом, поэтому теперь высказывания о нем Герцена будут содержать оттенок презрительной иронии. Например, уже в самом первом сообщении о встрече с Боткиным после 11-летней разлуки в письме к М. К. Рейхель от 20 мая 1858 г. Герцен писал: «У нас теперь Василий Петрович Боткин — облез, состарился, похож на старого диакона расстриженного — и все восхищается и шмакует»⁵.

В 1858 году Боткин приехал в Лондон. И. Г. Птушкина определяет время его прибытия 17 или 18 мая (Летопись Герцена, II, 418); это подтверждается письмом Боткина к брату Дмитрию от 29 мая: «...вот уже скоро две недели, как я в Лондоне»⁶. Поселился Боткин в центре города, на Кавендиш-сквер. Он часто бывал у Герцена, что видно хотя бы из письма последнего к П. В. Анненкову от 1 июля 1858 г.: «А мы здесь с Василием Петровичем время препроводим...» (XXVI, 188). С середины июля до 21 августа (дата возвращения в Лондон) Боткин — на острове Уайт (в Вентноре), так что в это время он не виделся с Герценом; около 24—25 августа он покидает Лондон и Англию.

Летом 1859 г. Боткин снова обосновался в Англии: с 18 июля по 1 августа он жил в Лондоне, а со 2 августа по (приблизительно) 16 сентября — на о. Уайте, в Вентноре. Вечером 16 августа в Вентнор на несколько дней приезжал отдыхать Герцен и утром 17-го

⁵ Герцен А. И. Собр. соч. В 30 т. М., 1954—1966. Т. 26. М., 1962. С. 178. Далее ссылки в тексте (Т. 27—1963; Т. 29 — 1964).

⁶ РО ИРЛИ. 9029. LI, б. 66. Л. 119.

его уже навестил Боткин (см. XXVI, 287). Конец сентября Боткин тоже пробыл вместе с Герценом в Лондоне.

Почти то же расписание повторилось в 1860 г. Этим летом Боткин приехал в Лондон даже на месяц ранее, в середине июня. В таких длительных сроках частично был, разумеется, повинен и Герцен, но еще больше Боткина привлекала английская социально-политическая и бытовая жизнь. Об этом свидетельствуют англоманские статьи «Приюты для бездомных нищих в Лондоне» и «Две недели в Лондоне»⁷, а также восторженные описания в частных письмах (см., например, в письме к брату Дмитрию от 8 июня 1858 г. совсем не западнический, а скорее славянофильский, хомяковский дифирамб семье: «Знаешь ли ты, что Англия есть земля семейной жизни, семейного счастья. Нигде эта жизнь не имеет такой поэтической прелести, как здесь <...> семейная жизнь вовсе не имеет того апатического, скучливого характера, каким отличается она в иных странах. Я думаю, что причиною этому деятельность и занятия, которым здесь постоянно преданы и муж, и жена <...>. Вот почему я желаю, чтоб ты женился и именно женился теперь, молодым, с свежим сердцем, да, теперь, теперь. Пожилой муж все равно, что зелень в августе — ни цвету, ни запаху»⁸). Летом 1860 г. Боткин поселился на западной окраине Лондона, за Гайд-парком (Норфолк-Террас); Герцен жил на северо-западной окраине, у Ридженс-парка.

Их отношения стали и идеологически, и психологически портиться. Герцен писал Тургеневу 23 июня: «Боткин необыкновенно важен, бывает редко — на четверть часа» (XXVII, 72). Но все-таки бывшие товарищи встречаются; в письмах Герцена имя Боткина иногда мелькает. Пока Герцен был на вершинах славы и успеха, Боткин, несмотря на различие воззрений и интересов, тянулся к нему. Когда Герцен и Огарев объявили в декабре 1861 г. среди близких сбор денег для Бакунина, то первым откликнулся Боткин: прислал 23 фунта стерлингов (XXVII, 204).

В июне 1861 г. Герцен принимал в Париже представителей польской прогрессивной общественности с адресом издателю «Колокола» (свыше 500 подписей); как вспоминал Герцен в письме к Тургеневу от 10 апреля 1864 г., Боткин «со слезами на гла-

⁷ Русский вестник. 1859. Март. Кн. 2; 1830. Январь, кн. 1, 2.

⁸ РО ИРЛИ. Ф. 365. Оп. 1. № 68. Л. 50 об.— 51.

зенках восторгался, когда я принимал в Париже польскую депутацию» (XXVII, 454). Но революционные события 1861—1863 гг. проложили глубокую пропасть: Боткин еще более поправел, стал откровенным монархистом, и теперь никакая близость с Герценом уже была невозможна. Откровенные высказывания Боткина содержатся в его письмах из Парижа к брату Михаилу: «...значение Герцена очень изменилось в России, да не только в России, но и за границей. Несчастное его соединение с Огаревым и подчинение огаревским теориям — совершенно изгадили все дело. Хотеть перестроить государство по каким-то отвлеченным теориям, которые не выдерживают ни малейшей критики <...> «Колокол» совершенно лишился прежнего интереса. С тех пор, как в России все подвергнулось реформам, нельзя писать о ней, не зная дело специально. Прелестный, увлекательный талант Герцена остается по-прежнему, но на нем лежит какая-то тяжесть, которая лишает его свободы. А эта тяжесть есть социальные и другие фантастические теории. Жаль этого. <...> Вообще вся так называемая русская эмиграция представляет плачевное зрелище. Она состоит из нескольких юношей, недоучившихся, не знающих ни страны своей, ни народа, ни общественных потребностей; эти юноши добровольно переселились за границу, пишут брошюры, которые читать смешно»⁹ (9—18 декабря 1862 г.); «Увлечшись идеей свободы, Герцен и К°, сами не замечая того, совершенно подпали под польское влияние. Но поляки вели двойную игру; принимая услуги Герцена во имя свободы, они в то же время имели другую, скрытую от него цель: всячески обессилить, разложить Россию и, воспользовавшись этим, восстановить Польшу в ее первобытном виде»¹⁰ (12 марта 1863 г.).

После таких суждений мосты над пропастью уже невозможно было навести. Герцен иногда еще мог покровительственно пошутить, как, например, в письме к Анненкову от 6 августа 1864 г.: «...все мы начинаем мякнуть, как Тургенев. Мозг идет в компот, как у Боткина...» (XXVII, 500), но в упоминавшемся письме к Тургеневу 1864 года он уже весьма резко охарактери-

⁹ РО ИРЛИ. Ф. 365. Оп. 1. № 9. Л. 60 об. — 61. Небольшой отрывок из этого письма опубликован: Переписка В. П. Боткина и И. С. Тургенева. М.; Л., 1930. С. 314—315.

¹⁰ Там же. Л. 67 об.

зовал бывшего товарища: «Какой-нибудь одряхлевший мастурбатор — искусства, науки, политики, — который смотрит на мир, как старики на похабные картинки, словом, какой-нибудь Боткин, ругавший при Николае русскую типографию и сделавшийся моим почитателем во время успеха, ругает нас снова из патриотизма — только смешон» (XXVII, 454).

Случайные последующие встречи: в Веве (Швейцария) в сентябре 1865 г. и в Париже 19 сентября 1868 г. были больше чем холодные. Герцен писал 20 сентября 1868 г. Огареву: «Вчера встретился с Вас[илием] Боткиным <...>. Он мне ненавистен» (XXIX, 445).

Н. А. ДОБРОЛЮБОВ И Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

Этой теме посвящено немалое количество исследовательских работ. Большинство их авторов прямо в заглавиях подчеркивают близость и даже тождество взглядов двух великих деятелей: «Чернышевский и Добролюбов о...», «Чернышевский, Добролюбов и...» (а затем — реализм, материализм, проблема народности литературы, проблемы воспитания и т. д.). Иногда труды представляют тему еще более обобщенно: «Белинский, Чернышевский, Добролюбов о...», «Русские революционные демократы о...» и т. п. Подобные названия и соединения, естественно, имеют полное право на существование, так как в творческом наследии и всех русских революционных демократов, и Чернышевского с Добролюбовым в частности, много общих черт. Б. И. Бурсов, может быть, наиболее категорично сформулировал такую общность: «В области эстетики, как и в области политики, Чернышевский и Добролюбов стояли на одних и тех же позициях. Общность их позиций выражалась даже в поразительной текстуальной близости, которую можно без труда обнаружить при сличении некоторых статей Чернышевского и Добролюбова»¹.

В целом это действительно так. Сходство наблюдается, начиная с биографий и черт характера. Разница в возрасте, около восьми лет, для становления мыслителей в определенную эпоху и в определенной среде не такая уж большая.

И Чернышевский, и Добролюбов выросли и воспитались в 1840—1850-х годах, т. е. в последней половине николаевского царствования, не только на эмпирических фактах российской действительности, но и на трудах западноевропейских радикалов, на русской реалистической литературе, на прогрессивных журналах, на статьях Белинского и Герцена, в довольно культурной обстановке губернских волжских городов (Саратов и Ниж-

¹ Бурсов Б. И. Вопросы реализма в эстетике революционных демократов. М., 1953. С. 298.

ний Новгород), а затем в Петербурге (университет и педагогический институт). Оба выросли в семьях образованных священников, имевших хорошие домашние библиотеки, учились в семинариях, и эти условия детства, социальная среда навсегда отпечатались в характерах Чернышевского и Добролюбова, которые стали истинными интеллигентными разночинцами середины XIX века: трудолюбивые, собранные, настойчивые и волевые, целеустремленные, гордые своим разночинством, внимательные и даже нежные к друзьям, но грубоватые с социально «чужими».

Основы мировоззрения у них тоже были всегда сходными, тем более что Добролюбов непосредственно воспитывался на трудах Чернышевского и в личных беседах со старшим товарищем. Оба они — революционные демократы в общественно-политической сфере, материалисты в философии, защитники реализма, «гоголевской школы» в критических статьях и рецензиях. Поэтому, еще раз подчеркнем, вполне правомерно и научно обосновано изучение воззрений этих демократов-шестидесятников в едином комплексе.

И тем не менее, если перед нами являются два выдающихся мыслителя, две яркие индивидуальности, то трудно вообразить, что они будут во всем абсолютно тождественными. Невозможно Чернышевскому и Добролюбову оставаться только неразличимыми близнецами: ведь даже близнецы оказываются часто непохожими по характеру и взглядам! Тем более невозможно это в революционно-демократическом лагере. Наивно представление, что революционная идеология нивелирует личности. Наоборот, чем интенсивнее и деятельнее жизненная позиция человека, тем ярче в ней проявится индивидуальное. Общие мировоззренческие черты у революционных демократов раскрываются в диалектическом соотношении с частным, особенным, неповторимым.

Отличия между Чернышевским и Добролюбовым, своеобразие каждого из них изучены значительно менее основательно, чем общая совокупность их воззрений. Нельзя сказать, что это область сплошных белых пятен. Хотя специальных исследований на такую тему еще не было, но авторы некоторых работ отмечали и несходство двух вождей общественного движения шестидесятых годов.

Не будем опираться на публицистические произведения. Известно, например, что Чернышевский в статье «В изъявление

признательности. Письмо к г. З<ари>ну» («Современник», 1862, № 2) в полемических целях категорически отрицал свое влияние на мировоззрение Добролюбова, всячески подчеркивая самостоятельность и оригинальность последнего, и стремился доказать, что он, Чернышевский, по характеру мягок, уклончив и уступчив, а Добролюбов — тверд и непреклонен². Можно высоко оценить благородные мотивы, по которым Чернышевский выступил с таким заявлением в печати, но никак нельзя согласиться ни с отрицанием его роли в становлении мировоззрения Добролюбова, ни с таким противопоставлением характеров; если и была у Чернышевского некоторая «уступчивость», то лишь в самые первые годы александровского царствования (1855—1858), и объясняется она не «мягкостью» характера, а дипломатическими соображениями социально-политического порядка: в эти годы у руководителей «Современника» еще теплилась надежда на возможность консолидации с левыми либералами в общей борьбе с противниками общественных реформ; Добролюбов же был куда более непреклонным и в те годы, хотя ему и не удалось тогда избежать отдельных уступок либерализму (например, в его статьях 1857—1858 годов — «Губернские очерки...», «Николай Владимирович Станкевич» — проявлялось относительно терпимое отношение к дворянскому типу «лишнего человека» и даже надежда на его преобразование в полезного деятеля).

Что же касается исследовательской литературы, то первым отметил различия между Чернышевским и Добролюбовым Р. В. Иванов-Разумник в известной двухтомной «Истории русской общественной мысли» (1907; 5-е изд.—1917). Сопоставления и противопоставления автора предельно схематичны, что часто приводит его к антиисторичным утверждениям, хотя они и выглядят внешне эффектно. Например, он пытался доказать, что путь Белинского от радикального фихтеанства через «примирение» с действительностью к гармоническому (синтез объективного и субъективного начал) методу сороковых годов был затем «в обратном порядке» повторен критиками-шестидесятниками: Чернышевский — последователь идей Белинского тре-

² См.: Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. В 15 т. Т. 10, М., 1951. С. 121—123. В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте с указанием тома (римскими цифрами) и страниц.

твого периода, Добролюбов — «объективист» гегельянского толка, а Писарев — «бессистемный» субъективист³. Такая схема, вне учета эволюции всех трех шестидесятников (общественная жизнь развивалась такими бурными темпами, что метод критиков менялся в течение нескольких месяцев, а не лет!), вне учета сложных взаимоотношений методов Чернышевского и Добролюбова — никак не может быть признана удачной. Но заслуга автора в том, что он постоянно стремился отмечать своеобразие русских мыслителей даже по отношению к их ближайшим соратникам, поэтому на фоне многих натяжек и антиисторичных схем некоторые частные наблюдения Иванова-Разумника оказались истинными, о них ниже еще будет идти речь.

В дальнейшем исследователи, как правило, лишь в отдельных случаях отмечали расхождения между Чернышевским и Добролюбовым (подобные факты будут указаны в конкретных разделах). Больше всего работ данной теме посвятил, пожалуй, автор настоящей статьи⁴. Материалы этих работ используются ниже без ссылок. Следует также учесть ценные в целом книги и статьи М. Г. Зельдовича, посвященные революционным демократам. Автор наряду с другими проблемами рассматривает и своеобразие Добролюбова в сравнении с Чернышевским, правда, несколько схематизируя их позиции. Так, Чернышевскому с его понятием о мирозерцании писателя как совокупности сознательных убеждений М. Г. Зельдович противопоставляет Добролюбова, для которого «Мирозерцание воплощено в художественной реальности произведения»⁵ (на самом деле позиция

³ *Иванов-Разумник (Р. В.)* История русской общественной мысли: Индивидуализм и мещанство в русской литературе и жизни XIX в. СПб., 1907. Т. 2. С. 70.

⁴ *Егоров Б. Ф.* 1) «Реальная критика» Н. А. Добролюбова // Учен. зап. Тартуского гос. ун-та, 1958. Вып. 65. С. 32—37; 2) О некоторых композиционных и стилистических различиях в статьях Чернышевского и Добролюбова // Н. Г. Чернышевский: Статьи, исследования и материалы. Саратов, 1971. Вып. 6. С. 72—76; 3) Чернышевский о Достоевском // Н. Г. Чернышевский: Статьи, исследования и материалы. Саратов, 1978. Вып. 8. С. 122—123; 4) О мастерстве литературной критики: Жанры; Композиция; Силь. Л., 1980. С. 203—237; 5) Борьба эстетических идей в России середины XIX века. Л., 1982. С. 140—141, 148—151, 155.

⁵ *Зельдович М. Г.* Уроки критической классики: Вопросы теории и методологии критики. Харьков, 1976. С. 29

Добролюбова была более сложной — об этом см. ниже); в другом месте той же книги автор противопоставил в статьях Чернышевского и Добролюбова соотношение публицистических и собственно литературных фрагментов: первый, якобы, слил их воедино, а у второго публицистические элементы присутствуют в «чистом» виде (вряд ли справедливо отрицать у Чернышевского наличие «чистых» публицистических пассажей, как и, наоборот, считать, что для Добролюбова не характерно смешение публицистики с литературным анализом)⁶.

В некоторых случаях автор настоящей статьи соглашается с наблюдениями М. Г. Зельдовича, но не принимает их объяснения или конкретного применения. В уже цитированной книге преимущественное внимание Чернышевского к субъективной стороне художественной деятельности, т. е. к роли мысли писателя в его творчестве, в противовес добролюбовской установке на «объективность», на жизненный смысл произведения, трактуется как интерес теоретика-эстетика в противовес устремлениям практика-критика⁷, в то время как в предлагаемой читателю статье это реальное противопоставление объясняется глубинной, индивидуальной сущностью подхода каждого деятеля к искусству, вне разделения на теорию и практику. А индивидуальная сущность, как уже говорилось, вытекает из самих основ революционно-демократического мировоззрения.

Начнем разговор о различиях со сравнения черт характера. Чернышевский и Добролюбов отличались и внешне, о чем ярче других сказал в своих воспоминаниях П. М. Ковалевский: «Чернышевский, маленький, бледный и худой, в золотых очках, с тонкими чертами лица и длинными светлыми волосами, и Добролюбов — высокий, с волосами довольно темными, крупными чертами лица (строгого педагога или протестантского пастора), — тоже в очках»⁸. Но, разумеется, внешний облик мало что дает для понимания характера и мировоззрения человека. Обратимся же к «внутренним» чертам, которые постараемся рассмотреть обобщенно, т. е. выделяя в них типические начала, типологизируя их.

⁶ Зельдович М. Г. Уроки критической классики: Вопросы теории и методологии критики. Харьков, 1976. С. 183—185.

⁷ Там же. С. 31—32.

⁸ Н. А. Добролюбов в воспоминаниях современников. М., 1961. С. 262.

Чернышевский по своему душевному складу был очень *традиционен и постоянен*. Он был потрясающе постоянен в привязанностях, особенно в любви (см. его запись в дневнике от 5 марта 1853 года: «Я хочу любить только одну во всю жизнь» — I, 484). Он был очень домашним, «комнатным» человеком, не любил житейских перемен и путешествий. И в литературе он любил установившееся и укрепившееся. В начале критической деятельности ему казалось, что Гоголь навсегда установил свои принципы как ведущие в русской литературе: «... перемен во все последние десять лет не было» (IV, 569). Точно так же Чернышевский был склонен преувеличивать исчерпанность литературных проблем, решенных Белинским, — он неоднократно заявлял об этом в «Очерках гоголевского периода русской литературы», в рецензии на «Сочинения» Пушкина. Отметим еще постоянную нелюбовь Чернышевского к категории трагического (несколько раз он пытался отождествить трагическое с категорией случайного) и, наоборот, внимание и симпатию к жанру идиллии (понимаемой как идеальная гармония, равновесие в человеческом общении), вплоть до призыва в романе «Что делать?»: «... пусть станет господствовать в жизни над всеми другими характерами жизни идиллия» (XI, 162). Самое становление революционно-демократических убеждений Чернышевского связано с его органической ненавистью к неравенству, к несправедливостям, к беспорядку; в знаменитой его прокламации «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон» чувствуется твердое желание целенаправленно готовить всеобщее восстание и избегать в революционной ситуации стихийного развала, неорганизованных отдельных вспышек (в противовес, например, М. А. Бакунину, жаждавшему в революции стихийных беспорядков и разрушения). Конечно, после 1858 года, в связи с ростом социально-политического напряжения в стране и появления перспектив коренной ломки строя, в статьях Чернышевского усиливается пафос перемен, пафос нового, но все это не отменило его душевных симпатий к гармонии, постоянству, прочности, «идиллии», а может быть, и усилило их...

Добролюбов по натуре был более подвижным, более страстным, более *жизнелюбивым*, чем Чернышевский. Дневник Чернышевского, даже в самых интимных своих страницах, полон аналитических раздумий и обобщений, дневник Добролюбова более событийен и лиричен. Более лиричны, более личностны и

статьи критика. Чернышевский в «Материалах для биографии Н. А. Добролюбова» (1862) хорошо обрисовал эти качества покойного друга: «... было в нем такое живое сердце, что чувство постоянно служило ему первым возбудителем и мыслей и дел. От этого его убеждения и намерения всегда были реальны, его стремления всегда были чрезвычайно определены» (X, 11). И, добавим, иногда импульсивны, житейски нерасчетливы. Когда вслед за матерью скоропостижно скончался отец, то первым желанием Добролюбова, студента-второкурсника, было отказать от дальнейшей учебы и срочно найти место учителя в провинции, чтобы содержать большую семью: своих младших сестер и братьев; лишь потом он согласился на доводы родных и знакомых, что на первых порах его младшие будут обеспечены близкими, поэтому более целесообразно ему продолжать обучение в институте. Еще пример. Добролюбов влюбился в женщину, «падшее создание» из публичного дома и вознамерился жениться на ней; только решительное вмешательство Чернышевского, буквально насильно привезшего друга к себе и отговорившего его от женитьбы, помешало сердечному порыву. Чернышевский изложил этот эпизод в письме к А. Н. Пыпину от 25 февраля 1878 года (см.: XV, 138—139).

В «Материалах...» Чернышевский дал и замечательную характеристику лирического, точнее, личностного начала в добролюбовских критических работах: «Его статьи — как будто эпилоги к биографическим и автобиографическим рассказам» (X, 11). Тут же Чернышевский пояснил, что страстность, так ярко проявленная в статье, заклеившей «самодурство», связана с реальным биографическим фактом в окружении Добролюбова: «...умерла женщина... от неудовлетворительности отношений, в которые была поставлена» (иными словами, Чернышевский намекает, что судьба Катерины из «Грозы» соотносилась Добролюбовым в статье «Луч света в темном царстве» с какой-то близкой ему женщиной; этот намек до сих пор никем не разгадан).

Повышенная жизнедеятельность, эмоциональность (сдерживаемая в свете социальных установок и других природных черт характера: скромности, умения владеть собой и т. п.), пылкая «влюбчивость» Добролюбова бросались в глаза Чернышевскому, и недаром именно эти человеческие свойства сделал он доминирующими в образе Левицкого (роман «Пролог»), явным прототипом которого был Добролюбов.

Различия характера, естественно, не могли не отразиться в мировоззрении и творчестве. Если взять социальную и этическую сферу, то здесь заметна переакцентировка, при всех фундаментальных общностях: Добролюбов больше ратовал за автономию личности, за индивидуальное начало, а Чернышевский — за классовые и экономические проблемы, за типологические черты. Даже такая, казалось бы, личностная проблема, как «разумный эгоизм», рассматривается Чернышевским в общефилософском плане (статья «Антропологический принцип в философии», 1860), а Добролюбовым — применительно к конкретным лицам, даже к одному лицу — в статье «Николай Владимирович Станкевич» (1858), в заключении которой недаром говорится: «У нас еще недостаточно развито уважение к нравственному достоинству отдельных личностей»⁹.

Еще Р. В. Иванов-Разумник обратил внимание на различную интерпретацию революционными демократами публицистики Н. И. Пирогова¹⁰. В «Современнике» появилось два заметных отклика на известный труд Н. И. Пирогова «Вопросы жизни» (1856). Вначале его кратко охарактеризовал Чернышевский в ежемесячном обзоре «Заметки о журналах» (1856, № 8). Дав высокую оценку публицистическим очеркам знаменитого врача и общественного деятеля, критик главное внимание уделил пафосу универсального, общего обучения школьников и студентов, в противовес специализированному, и подчеркнул необходимость, «чтобы общечеловеческое образование играло главную роль в воспитании» (III, 688).

Несколько месяцев спустя статью «О значении авторитета в воспитании. (Мысли по поводу «Вопросов жизни» г. Пирогова)» («Современник», 1857, № 5) Добролюбов посвятил другой проблеме, поставленной публицистом, — воспитанию личности. Добролюбов отмечает в ребенке «сознание своей личности и некоторых прав человеческих» (I, 502) и требует, чтобы наставники «выказывали более уважения к человеческой природе и старались о развитии, а не о подавлении *внутреннего человека* в своих воспитанниках» (I, 507). Этот пафос внимания к «внутреннему челове-

⁹ Добролюбов Н. А. Собр. соч. В 9 т. М.; Л., 1962. Т. 2. С. 401. В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте с указанием тома и страницы арабскими цифрами.

¹⁰ См.: Иванов-Разумник (Р. В.). Указ. соч. Т. 2. С. 63—64.

ку», вообще пропаганда прав личности и защиты интересов личности, сохранится у Добролюбова и в дальнейшем. В статье «Русская цивилизация, сочиненная г. Жеребцовым» (1858) он особенно точно сформулирует эту мысль: «...интересы *всего вообще* охраняются не иначе, как посредством охранения интересов *каждого из всех*» (3, 265). Чернышевский, разумеется, не стал бы возражать против такого тезиса, но все-таки сфера основного его внимания — самое общество, законы его развития, сущность человека как социального типа, а не частной индивидуальности.

Все это относится к статьям на социально-политическую, этическую, философскую тематику. Что же касается литературной критики и непосредственно литературно-художественной деятельности, то здесь наблюдается парадоксальная перемена мест. Так как Добролюбов именно в этой сфере считал себя наиболее сведущим, то он именно в ней мог свободно связывать литературные проблемы с социально-политическими и этическими, широко обобщать конкретные наблюдения, типологизировать случайное и отдельное. Поэтому главной задачей своих литературно-критических статей он считал выведение общих закономерностей, и его конкретные анализы были устремлены к типологии, к созданию обобщающих терминов для характеристики тех или иных социальных типов и ситуаций («лишние люди», «люди дела», «обломовщина», «самодурство», «забитые люди»).

Чернышевского же в искусстве, пожалуй, больше интересовала индивидуальная сущность явлений (конечно, наряду с социальной типологией). Наверное, именно это своеобразие послужило М. Г. Зельдовичу фундаментом для следующих выводов: «Путь, избранный Добролюбовым (сосредоточение на „родовом“, на „генерализации“. — Б. Е.), существенно отличается от способа, примененного Чернышевским в статье о тургеневской „Асе“; в последнем случае социальный тип создается с помощью прояснения и политического осмысления, расширения индивидуального в характере и ситуации при самом пристальном интересе к индивидуально неповторимому»¹¹.

¹¹ Зельдович М. Г. Социальная типология и историзм: (Еще раз о трактовке «лишнего человека» в критике Н. А. Добролюбова) // Теория и история литературы: (К 100-летию со дня рождения академика А. И. Белецкого). Киев, 1985. С. 54.

Может быть, не стоило так категорично противопоставлять двух критиков: и Добролюбов создавал генерализацию на основе конкретного анализа конкретных образов и событий, и Чернышевский почти всегда склонялся к обобщению: «Лицо, чувства и мысли которого вы узнаете из поэзии г. Огарева, лицо типическое» (III, 565). Но в целом М. Г. Зельдович прав в том отношении, что Добролюбова сравнительно меньше, чем Чернышевского, интересовало индивидуальное своеобразие персонажей и, в особенности, самих писателей. В последнем, видимо, заключается наиболее существенное отличие двух критиков из лагеря революционных демократов. С этим же связано усиленное внимание Чернышевского к «субъективному» началу в искусстве, т. е. к мировоззрению писателя, проявленному в тексте произведения, к идеалам и целям писателя.

Расширяя и уточняя художественно-идеологические критерии Белинского (считавшего, что наиболее передовые писатели эпохи правдиво воспроизводят жизнь и осмысливают ее), Чернышевский в своей диссертации утверждал уже целых три признака, три «значения» искусства: искусство, во-первых, воспроизводит жизнь; во-вторых, объясняет жизнь, в-третьих, произносит приговор о явлениях жизни. Обычно не обращают внимания на то, что Чернышевский ввел дополнительно третий фактор: *приговор*. На первый взгляд, нет особой разницы между объяснением и приговором: разве в объяснении уже не заключается итоговая оценка? Но есть глубокий смысл в дополнении двух факторов Белинского третьим, «приговором». Чернышевский хотел подчеркнуть этим громадную важность для литературы не только объяснения жизни социально-историческими условиями, но и перехода к социально-политическим выводам, к ясной программе действия. «Приговор» — это и подведение черты, итог, и одновременно прогнозирование будущего, это ответ на вопрос «Что делать?». Так Чернышевский уточнил в новых условиях понятие того важного фактора, который Белинский называл «субъективностью» писателя.

Чернышевский при этом добавлял: «приговор о воспроизводимых явлениях» возможен, «если художник — человек мыслящий» (II, 110). С этой точки зрения и подходил он к оценке художественного произведения. Отсутствие приговора часто осуждалось критиком в качестве существенного недостатка: «Наблюдательность у иных талантов имеет в себе нечто холодное, бес-

страстное. У нас замечательнейшим представителем этой особенности был Пушкин. Эта наблюдательность — просто зоркость глаза и памятьливость» (III, 422). Приблизительно так же оценивал Чернышевский и творчество Гончарова.

Критик ценил заслуги Гончарова перед русской литературой, он неоднократно ставил его в один ряд с Тургеневым и Л. Толстым, но тем не менее общее отношение Чернышевского к личности и творчеству этого писателя было скорее отрицательным. Немалую роль сыграла здесь идейная позиция Гончарова: его принадлежность к дворянскому лагерю, служба в цензурном ведомстве, борьба с революционно-демократическими идеями и принципами. Эта позиция и обусловила резкие отзывы о писателе в письмах Чернышевского: «... даже те, которые не любят его (Белинского. — Б. Е.)... не имеют сказать о нем ничего, кроме похвал (исключение остается за Булгариным, Дружининым и Гончаровым)». Или еще резче: «Это все равно, что Дружинина упрекать в пылкости или Гончарова в избытке благородства» (XIV, 320, 324; письма к А. С. Зеленому от 26 сентября и к Н. А. Некрасову от 5 ноября 1856 года).

Художественные произведения Гончарова, несмотря на их реалистическую основу, тоже вызывали отрицательные оценки Чернышевского. В частности, он так характеризовал роман «Обломов»: «...автор не понимал смысла картин, которые изображал» (XIII, 872). Или в другом месте: «... я до сих пор прочел полторы из четырех частей „Обломова“ и не полагаю, чтобы прочитал когда-нибудь остальные две с половиною, — разве опять примусь за рецензии, тогда поневоле прочту и буду хвалиться этим, как подвигом» (I, 634). Однажды Чернышевский написал пародию на «Обломова», высмеивая растянутость романа и повторения в нем (см.: VII, 451). «Бесстрастность» Гончарова, отсутствие в романах прямого авторского вмешательства в ход событий приводило критика к убеждению, что автор не понимает «смысла картин», которые он изображает, что он вообще безразличен к образам и к коллизиям.

Напротив, у Тургенева и Л. Толстого, считал Чернышевский, «такого равнодушия вы не найдете; их чувства более возбуждены, их ум более точен в своих суждениях» (III, 422).

Впрочем, отсутствие объяснения и приговора не вызывало абсолютно негативного отношения Чернышевского, он делал исключения для демократических писателей. Так как они, счи-

тал критик, изображают действительность с точки зрения «поселянина», то их «эпичность», «хладнокровие», «отсутствие лиризма» «скорее составляет достоинство, нежели недостаток», ибо «это спокойствие есть сдержанность силы, а не слабость» (речь идет о Писемском — IV, 570). «У г. Успенского не обнаруживается никакой тенденции», — отмечает Чернышевский в другое время и между тем дает высокую оценку творчеству писателя за «правду без прикрас» (VII, 856). В данном случае мы не касаемся односторонних, чрезмерно, может быть, положительных оценок Чернышевским творчества этих писателей. Ведь, несмотря на демократические тенденции Писемского и Н. Успенского, они оказались идеологически не такими уж близкими к «Современнику» (интересно, что Добролюбов всегда очень холодно, если не сказать враждебно, относился к творчеству Писемского). Для нас здесь важны общие принципы Чернышевского, а не частные исключения.

Когда Чернышевский уже достаточно широко и четко изложил на страницах «Современника» свои методологические установки, и начал свою деятельность Добролюбов. Он, в свою очередь, развил и уточнил идеи Чернышевского. Задача литературы, по Добролюбову, — как можно шире и глубже изображать «различные стороны жизни» (5, 28) с точки зрения «народных стремлений» (6, 316) и, таким образом, способствовать «распространению между людьми правильных понятий о вещах» (5, 23). «Теперь дело литературы — преследовать остатки крепостного права в общественной жизни и добивать порожденные им понятия» (6, 223). Но далеко не все писатели могут стать на точку зрения народных интересов. Даже многие крупные художники, из-за противоречивости их мирозерцания, не способны объяснить в произведении истинные причины того или другого явления, не говоря уже о приговоре (как со стороны «добивания» враждебных понятий, так и с точки зрения позитивной программы).

И Добролюбов, как бы корректируя положения Чернышевского, считает, что если писатель создает правдивые, типические образы и ситуации, но не идет дальше этого, т. е. если произведение не отвечает второму и третьему признаку Чернышевского (объяснение и приговор), то особой беды в этом нет, «реальная критика» дополнит писателя: «... критика разбирает, возможно ли и действительно ли такое лицо; нашедши же, что оно верно действительности, она переходит к своим собственным со-

ображениям о причинах, породивших его и т. д. Если в произведении разбираемого автора эти причины указаны, критика пользуется и ими и благодарит автора; если нет, не пристаёт к нему с ножом к горлу — как, дескать, он смел вывести такое лицо, не объяснивши причин его существования?» (5, 20). В таком случае задача «реальной критики» — объяснить причину жизненных явлений, отображенных в литературе¹². По этому принципу построены известные статьи Добролюбова о Гончарове, Островском, Тургеневе.

В отличие от Чернышевского Добролюбов на основе «реальной критики» положительно оценивает роман «Обломов», хотя Гончаров «не дает и, по-видимому, не хочет дать никаких выводов». Главное в том, что автор «представляет вам живое изображение и ручается только за его сходство с действительностью» (4, 309). Если произведение выходило из-под пера писателя, не принадлежавшего к демократическому лагерю, то для Добролюбова, вероятно, было даже предпочтительнее такое отсутствие прямой авторской оценки (при условии, конечно, что в произведении имеет место «сходство с действительностью»): в таком случае читателю и критику не придется «распутывать» сложные противоречия между объективными образами, фактами и некоторыми субъективными, искажающими факты выводами, которые наверняка оказались бы у «идейного», но не демократического автора¹³. Поэтому для Добролюбова «Обломов» предпочтительнее «Униженных и оскорбленных» Достоевского.

Напрашивается сходство этих принципов Добролюбова с теорией о противоречии между мировоззрением и методом писате-

¹² В противовес этой программе идеалистическая теория критики подчеркивала иррациональность, «необъяснимость» искусства, которое созвучно лишь интуитивному чувству. Анализируя стихи Фета, Н. Щербина писал: «Объяснение критики здесь неуместно и затруднительно: это стихотворение непосредственно сказывается внутреннему чувству... Всякое чувствующее... сердце — лучший на него эстетический и психологический комментарий» (Библиотека для чтения. 1857. № 4. Отд. IV. С. 3).

¹³ Ср. интересное мнение другого шестидесятника по сходному поводу: «Переделывать эти неправильные взгляды не всегда возможно, исключать их тоже, потому что часто они бывают тесно связаны с изложением» (Михайлов М. Пермский сборник. Кн. 1 // Русское слово. 1859. № 10. Отд. II. С. 41).

ля (якобы большой писатель может вопреки своим реакционным убеждениям правдиво изобразить жизненные факты). Кстати сказать, отдельные исследователи, хотя и с оговорками, считали Добролюбова сторонником этой теории¹⁴, и не без некоторого основания, ибо у Добролюбова имеются высказывания, которые, будучи рассмотрены в отрыве от общей концепции критика, вполне могут дать некоторый повод к такому истолкованию.

Точка зрения Добролюбова была весьма сложной и в какой-то степени отличалась от позиции Чернышевского, всегда выступавшего против теории «бессознательного» творчества, особенно по отношению к Гоголю, который служил в этом вопросе опорой для теоретиков из лагеря «чистого искусства». «Некоторые вздумали говорить, — писал Чернышевский, — что Гоголь сам не понимал смысла своих произведений, — это нелепость, слишком очевидная» (IV, 636). Добролюбов же не сразу подошел к такой трактовке проблемы, его взгляды претерпели некоторую эволюцию. Рассмотрим это на примере его оценки гоголевского реализма. В 1858 году Добролюбов высказал такое мнение: «Гоголь хотя в лучших своих созданиях очень близко подошел к народной точке зрения, но подошел бессознательно, просто художнической ощупью» (2, 271). Правда, мы можем эту мысль истолковать так, что Добролюбов говорит лишь о стихийном приближении к *народной* точке зрения, не отрицая сознательности вообще. Но, по крайней мере, прямое *утверждение* определяющей роли сознательности здесь отсутствует.

А год спустя, в статье «Темное царство», Добролюбов довольно категорически говорит как будто о стихийности вообще в творчестве Гоголя: «В этих образах поэт может, даже неприметно для самого себя, уловить и выразить их внутренний смысл гораздо прежде, нежели определит его рассудком. Иногда художник может и вовсе не дойти до смысла того, что он сам же изображает» (5, 70).

В этой же статье Добролюбов излагает свою теорию о том, что в художественных произведениях следует искать *художественное* же

¹⁴ См., например: Витенсон М. Литературно-эстетические взгляды Добролюбова // Н. А. Добролюбов: Памятка. Л., 1936. С. 45—72. Против такого понимания «реальной критики» неоднократно уже выступали многие литературоведы (см.: Бурсов Б. Вопросы реализма в эстетике революционных демократов. М., 1953. С. 319—326), хотя обычно и не рассматривали всю сложность позиции Добролюбова в этом вопросе.

миросозерцание писателя, которое может быть в противоречии с его «отвлеченными рассуждениями», т. е. с его общественно-политической системой взглядов (5, 22). Здесь, несомненно, Добролюбов недостаточно четко формулирует свою мысль, так как может создаться впечатление, что он разделяет сознание писателя и художественную способность изображать правду. Ниже прямо говорится о «разногласии внутреннего художнического чувства с отвлеченными... понятиями» (5, 24). Лишь позднее в статье проскальзывает формулировка: «... сознание жизненной правды никогда не покидало художника» (5, 70). Речь идет о произведениях Гоголя и Островского, следовательно, Добролюбов здесь как бы корректирует свои прежние, не совсем ясные, тезисы о связи сознательного и стихийного элементов в творчестве писателя. Как видно из приведенной фразы, Добролюбов в общем уже довольно близок к взглядам Чернышевского: «художническое чувство» — не только интуиция, оно связано с сознанием писателя, а сознание, таким образом, заключается не только в «отвлеченных понятиях».

Позднее, в статье «Забитые люди» (1861), Добролюбов вообще не говорит о стихийности гоголевского гения, а, наоборот, подчеркивает осознанное отношение Гоголя к изображаемым событиям и образам: «Но вот в том-то и заслуга художника: он открывает, что слепой-то не совсем слеп; он находит в глупом-то человеке проблески самого ясного здравого смысла; в забитом, потерянном, обезличенном человеке он отыскивает и показывает нам живые, никогда не заглушимые стремления и потребности человеческой природы, вынимает в самой глубине души запертый протест личности против внешнего, насильственного давления и представляет его на наш суд и сочувствие. Такие открытия делает нам Гоголь в некоторых повестях своих» (7, 248).

Следовательно, в конце своего творческого пути Добролюбов особенно близко подошел к концепции Чернышевского¹⁵.

¹⁵ Г. А. Соловьев, справедливо протестуя против представления о Добролюбове как о популяризаторе «своих великих предшественников», повторившем их идеи, использовал почему-то в качестве негативного примера мои сопоставления, впервые опубликованные в «Ученых записках Тартуского университета» (1958. Вып. 65. С. 36), правда, оговорившись, что речь идет здесь о частном случае (Соловьев Г. А. Эстетические взгляды Н. А. Добролюбова. М., 1963. С. 96). Думается, что данная концепция меньше всего дает повод для подобных упреков.

В свете вышесказанного фразу Добролюбова, которая больше всего давала повод считать его сторонником теории о разрыве между сознанием и чувством писателя («Художник может и вовсе не дойти до смысла того, что он сам изображает»), должно истолковываться следующим образом: писатель изучает жизнь, художественно отображает ее в своих произведениях, но далеко не всегда он понимает общественное значение своих образов и фактов, далеко не всегда он может объяснить жизнь и произнести над нею приговор, а если он и произносит суждение, то — если его взгляды ошибочны — и приговор будет искажать правду. В этом случае, считает Добролюбов, «критика и существует затем, чтобы разъяснить смысл, скрытый в созданиях художника» (5, 70). Следовательно, под «смыслом» Добролюбов подразумевает те выводы, которые делает революционно-демократическая критика при рассмотрении художественных образов. Естественно, что до этих выводов не могли дойти многие писатели.

Добролюбов и анализирует содержание произведений в свете трех факторов Чернышевского: отражение действительности в образах, объяснение их, социальные выводы. Таковы в общих чертах особенности его «реальной критики».

Следует еще учесть, что Добролюбов был решительным противником *приговора над писателем*. В статье «Луч света в темном царстве» он темпераментно ополчается на «пошлую метафору, что критика есть трибунал, пред которым авторы являются в качестве подсудимых», и противопоставляет этой точке зрения другую: критик «не считает своего мнения решительным приговором, обязательным для всех; если уж брать сравнение из юридической сферы, то он скорее адвокат, нежели судья»; «он излагает читателям подробности дела, как он понимает, и старается им внушить свое убеждение в пользу или против разбираемого автора» (6, 293).

Где еще проявилось отмеченное выше различие между Добролюбовым и Чернышевским (акценты на социально-типологическом или на индивидуальном) — в их художественном творчестве. В стихотворениях Добролюбова наблюдается явное стремление автора типологизировать образы и выводы, начиная с пародий (где сам жанр требует обобщений различных признаков пародируемого объекта) и кончая серьезной, «положительной» лирикой. Лишь в 1861 году, в связи с предсмертной тяжелой болезнью, несколько усиливается личностное, даже

биографическое начало, но и здесь почти не ослабевает обобщение. Даже в известном стихотворении «Милый друг, я умираю...», которое исследователи с полным основанием считают последним произведением поэта и которое, вероятно, было создано за несколько дней до смерти, имеется своего рода типология. Друг лирического героя получает следующее напутствие:

И тебя благословляю:
Шествуй тою же стезею.

Иными словами, друг — продолжатель, последователь деяний лирического героя, он пойдет той же дорогой, он — *тот же*.

Чернышевский стихов не писал, но в прозе его очень заметно стремление индивидуализировать героев: много места в романе «Что делать?» уделено различиям в характерах Лопухова и Кирсанова, подчеркнута уникальность Рахметова, в «Прологе» противопоставление характеров Волгина и Левицкого — чуть ли не главная тема. А в повестях Добролюбова, которые он публиковал в «Современнике» («Донос» и «Делец»), как и в юношеской повести «Провинциальная холера», наоборот, образы главных персонажей принципиально типологизированы.

И вот что еще чрезвычайно интересно. Чем напряженнее развивалась общественная жизнь России, чем ближе страна подходила к революционной ситуации 1859–1861 годов, чем радикальнее становились статьи Чернышевского, тем больше усиливался его интерес к личностным началам.

В литературных статьях 1856—1857 годов Чернышевский больше сосредоточивался на объяснении обусловленности сознания человека средой, особенно подробно он рассматривал эту проблему в рецензии на «Губернские очерки» Щедрина («Современник», 1857, № 6). Хотя из этого объяснения и вытекало следствие: чтобы создать людям нормальную жизнь, нужно изменить ненормальную среду, — но это следствие носило еще в основном теоретический характер, без прямого практического руководства к действию. А в 1858 году в статье «Русский человек на rendez-vous» критик подчеркивает, что наступила пора изменения среды, пора активности человека, пора борьбы.

И как часто бывает (Белинский пережил подобный этап — правда, не в «чистом» виде — в начале сороковых годов), активизация сознания в социальном плане, порою, ослабляет внимание мыслителя к обусловленности сознания человека средой и

усиливает его антропологические принципы, т. е. первостепенное внимание к природно-биологическим началам в человеке. Интересно, например, что чем более радикальным делалось в 1846—1847 годах мировоззрение Вал. Майкова, тем более укреплялись его антропологические взгляды. Но, занимаясь идеализированными построениями гармонических черт характера человека будущего, Майков стал значительно больше обращать внимание на творчество художников, углубленно разрабатывающих индивидуальную психологию персонажей. Ведь никто с таким вниманием не отнесся к новаторским поискам молодого Достоевского, как Майков (в то время как Белинский, очень высоко оценив первую повесть, «Бедные люди», к последующим, особенно к «Двойнику» и «Хозяйке», отнесся более чем сдержанно; Белинский в эти годы оттачивает реалистические принципы своего метода (в первую очередь — анализ отражения в литературе ведущих, типических черт эпохи), углубленно интересуется социальной типологией, а новые опыты Достоевского ему казались «фантастическими», нарушающими жизненное правдоподобие). В обзорной статье «Нечто о русской литературе в 1846 году» Майков и сопоставил, и противопоставил Достоевского Гоголю: «И Гоголь, и г. Достоевский изображают действительное общество. Но Гоголь — поэт по преимуществу социальный, а г. Достоевский — по преимуществу психологический. Для одного индивидуум важен как представитель известного общества или известного круга; для другого самое общество интересно по влиянию его на личность индивидуума»¹⁶.

Нечто подобное происходит и у Чернышевского: его и ранее интересовал индивидуализированный психологизм (например, интерес к героям Тургенева и Толстого), а после 1858 года этот интерес еще более усиливается. Очень важен с этой точки зрения подробный положительный отзыв о романе Достоевского «Униженные и оскорбленные», данный Чернышевским в обзоре первого номера журнала «Время» за 1861 год:

«В первой части, по нашему мнению, рассказ имеет правдивость; это соединение гордости и силы в женщине с готовностью переносить от любимого человека жесточайшие оскорбления, одного из которых было бы, кажется, достаточно, чтобы заме-

¹⁶ Отечественные записки. 1847. № 1. Отд. V. С. 3.

нить прежнюю любовь презрительную ненавистью, — это странное соединение в действительности встречается у женщин очень часто... К несчастью, слишком многие из благороднейших женщин могут припомнить в собственной жизни подобные случаи, и хорошо, если только припомнить как минувшую уже чуждую их настоящего историю» (VII, 951—952). Следует, впрочем, учесть, что Чернышевский ознакомился лишь с первой из четырех частей романа.

Несколько месяцев спустя в статье «Забитые люди» Добролюбов, наоборот, решительно не согласится с психологической достоверностью героев «Униженных и оскорбленных», назвав любовь Наташи «исключительной, ненатуральной» и удивляясь, «как может смрадная козявка, подобная Алеше, внушить к себе любовь порядочной девушке» (7, 234)¹⁷.

Как уже говорилось, по своему характеру и поведению Добролюбов был куда более активным «жизнелюбом», чем Чернышевский, более раскованно выражал себя «вовне», открыто проявляя и сердечные страстные порывы, и откровенные отношения к людям (и положительные, и отрицательные); Чернышевский был значительно сдержаннее и лишь в своем дневнике да в уникальных, поистине единичных письмах раскрывал свои душевные глубины, не менее напряженные и страстные, чем у Добролюбова, даже, пожалуй, более драматические благодаря своей постоянной нереализованности. Так, в письме к Н. А. Некрасову от 5 ноября 1856 года Чернышевский признавался: «... не от мировых вопросов люди топятя, стреляются, делаютя пьяницами, — я испытал это и знаю, что поэзия сердца имеет такие (же) права, как и поэзия мысли» (XIV, 322).

И не исключено, что именно благодаря дпящемуся житейскому, бытовому раскрытию, реализации натуры, благодаря частому включению личности в жизнь Добролюбов в своей критической деятельности значительно меньше интересовался вопросами первоизданной, «природной» сущности человека и почти целиком погружался в социально-политическую проблематику, в то время как Чернышевского постоянно интересовало соотно-

¹⁷ Подробнее см. статьи В. А. Туниманова «Чернышевский и Достоевский» и Г. М. Фридендера «Эстетика Чернышевского и русская литература» в кн.: Н. Г. Чернышевский: Эстетика; Литература; Критика. Л., 1979.

шение природно-биологического и общественного, недаром он так много внимания и в научных трудах, и в художественном творчестве уделял «антропологическим», «досоциальным» началам человека, да и в литературной критике эти вопросы его очень занимали: именно Чернышевский открыл в повестях Л. Толстого «диалектику души», именно он, как мы видели, взял под защиту странную, не объяснимую логически любовь Наташи в романе Достоевского «Униженные и оскорбленные».

В различии мнений Чернышевского и Добролюбова наблюдается отдаленное сходство с противоположностью оценок Достоевского Белинским и Валерианом Майковым. Белинский и Добролюбов сближаются как реалисты и социологи, главное внимание уделяющие социально типическим, массовым явлениям их времени и аналогичным отображениям в художественной литературе, поэтому нарочитая исключительность характеров и коллизий Достоевского им чужда¹⁸. Майков и Чернышевский объединяются, в свете их утопических идеалов, интересом к совсем не массово, а единично типическому, к сложным глубинам индивидуальной психики. Эти различия не расшатывают фундаментального мировоззренческого сходства критиков, однако разные акценты дают повод к типологическому противопоставлению.

Следует еще учесть, что различия в критическом методе вряд ли сводятся только к индивидуальному своеобразию натур Чернышевского и Добролюбова: частично мы уже отмечали важность конкретных условий определенного года для расстановки тех или иных акцентов. Проблема эта многоаспектна и требует дальнейших исследований.

Значительные отличия наблюдаются и в построении статей Добролюбова и Чернышевского, в способах соединения отдельных частей в единое целое. Главный композиционный стержень статьи Добролюбова — причинно-следственное развитие проблематики, своего рода линейная цепь, состоящая из отдельных звеньев, каждое из которых продвигает мысль на следующую ступень. Продemonстрируем такое построение на примере статьи «Что такое обломовщина?».

¹⁸ Ср. еще — прямо в духе Добролюбова — удивление Белинского: как это в «Герое нашего времени» Вера может любить Печорина?! (Белинский В. Г. Полн. собр. соч. Т. 4. М., 1954. С. 268).

«Сюжет» этой статьи можно разложить на следующие звенья: история появления романа «Обломов» — прогнозирование возможных откликов — задачи критики при оценке писателей, подобных Гончарову, — большое значение Гончарова для русской литературы — доказательство этого на примере «Обломова» — главные черты обломовского характера: паразитическое воспитание, неприспособленность к труду — общность черт у «лишних людей» — эволюция образа «лишнего человека» от Онегина до Обломова — современное состояние «обломовщины» — «противоядие» Обломову Штольц — ограниченность образа Штольца, превосходство Ольги — значение образа Ольги для современной русской жизни.

Таким образом, статья Добролюбова действительно строится как бы подобно цепи: каждый последующий раздел вытекает из предыдущего, объясняет его, дополняет — и так до самого конца. Разумеется, это лишь схема, общий план статьи, в действительности развитие добролюбовской мысли не укладывается в «железную» цепь: имеется целый ряд отступлений, как и в других его статьях, — например, литературные параллели, притча о рубке леса и т. п. Но эти «ответвления» замедляют и дополняют, но не нарушают общего идейного развития статьи, следующего «цепевидно». Аналогичным образом строятся и другие статьи Добролюбова. Главная «цепевидность», еще раз подчеркнем, свободно сочетается с отступлениями, отчего эта особенность не противоречит свободной композиции добролюбовской статьи.

Иначе строится литературная статья Чернышевского: не «цепевидно», а на базисной, на «корневой» основе, на развитии в разных вариантах фундаментальной темы. Вначале критик выдвигает определенный тезис, а остальной текст посвящается, главным образом, объяснению и доказательству этого тезиса. Говоря обобщенно (т. е. отбрасывая различные отклонения от общего правила), Чернышевский излагает свои идеи дедуктивным способом. Для развития и доказательства основной мысли Чернышевский пользуется множеством сценок и эпизодов, рассуждений из области общественной жизни, истории, быта.

Особенно заметно это проявляется в рецензии на «Губернские очерки» Салтыкова-Щедрина (см.: IV, 263—302). Вся статья построена на доказательстве первоначально заявленного тезиса — «среда обуславливает человека», с последовательным разбором

то одного, то другого рода образов и с обильными примерами, ассоциациями, притчами из самых различных областей жизни.

Рецензия на «Губернские очерки» наиболее наглядно, в «чистом виде» демонстрирует этот принцип, в других статьях он иногда усложняется наличием нескольких главных тезисов, но сущность сохраняется; статьи Чернышевского строятся, так сказать, подобно фигуре куста: берется основная, коренная идея, и затем она развивается в виде различных ветвей, после чего автор снова возвращается к коренному тезису¹⁹. Здесь тоже богатый выбор вариантов, тоже свободная композиция, но главные принципы организации статьи — иные.

Указанное различие в композиционном построении статей Чернышевского и Добролюбова подтверждается статистическим подсчетом ряда синтаксических категорий. Так, при анализе состава сложноподчиненных предложений выявилось резкое преобладание целевых (в полтора-два раза больше) и причинных (в три раза) придаточных предложений у Добролюбова по сравнению с Чернышевским²⁰.

В свете вышесказанного понятно, почему в статьях Добролюбова такое обилие причинных и целевых предложений: включаясь в общий поток мыслей критика, они являются соединительными звеньями цепи, осуществляя связь между отдельными ее элементами.

Употребление же причинных и целевых предложений у Чернышевского связано, в основном, с вспомогательными этюдами, сценками, рассуждениями, т. е. эти предложения расположены внутри отдельных ветвей куста, ибо ветви не нуждаются в причинных или целевых взаимосвязях между собой, как звенья цепи у Добролюбова. Например, в «Губернских очерках»

¹⁹ Б. И. Бурсов не очень точно называет эту особенность «циклическостью» (Бурсов Б. Мастерство Чернышевского-критика. Л., 1956. С. 248).

²⁰ Здесь и далее использованы данные, полученные в дипломной работе А. Л. Самсоновой (Тартуский университет, 1957) на основании анализа статей Добролюбова «Что такое обломовщина?», «Когда же придет настоящий день?», «Луч света в темном царстве» и статей Чернышевского «Губернские очерки», «Русский человек на rendez-vous», «Не начало ли перемены?». У Добролюбова 10—11 % целевых и 5,5—6 % причинных предложений, а у Чернышевского соответственно 5—7 % и 2 % (проценты от общего количества придаточных в сложноподчиненных предложениях).

целевые и причинные предложения употребляются в рассуждениях о невыгодности для купцов железных дорог, о взаимоотношениях арендатора и помещика, в эпизодах о привычках людей, о предпочтении во Франции и Германии карьеры чиновника, в притчах о собирании подати, о нравах купцов, в эпизоде из римской истории.

Структурные особенности статей объясняют и другое синтаксическое различие в стиле Чернышевского и Добролюбова. Если сопоставить союзные и бессоюзные сложносочиненные предложения у обоих критиков (при этом для удобства брались лишь сложносочиненные, состоящие из простых), то оказывается, что у Добролюбова больший процент, чем у Чернышевского, составляют сложносочиненные союзные предложения. В статьях Добролюбова мы почти в равной мере находим союзные и бессоюзные сложносочиненные предложения, у Чернышевского же наблюдается заметное преобладание бессоюзных сложносочиненных предложений над союзными (последних в три раза меньше, чем бессоюзных, в статьях «Губернские очерки» и «Русский человек...» и в семь раз меньше в статье «Не начало ли перемены?»).

Такое несоответствие в употреблении союзных и бессоюзных сложносочиненных предложений у Добролюбова и Чернышевского также тесно связано с композиционными особенностями их статей. Ведь в бессоюзных сложносочиненных предложениях второй (если есть — и третий, четвертый) член обычно уточняет или усиливает содержание первого. Мысль, так сказать, не двигается дальше, а расширяется и углубляется.

Иное — в союзных предложениях. Здесь первоначальное понятие или сопоставляется с другим, или последнее противоплагается первому и т. д.; в связи с этим и необходимо употребление соответствующих союзов. Ясно, что союзное сложносочиненное предложение служит большею частью для дальнейшего развития мысли, для ее поступательного движения. Поэтому вполне закономерно, что «цепевидная» конструкция добролюбовской статьи требует большего количества союзных предложений, чем кустообразное построение статьи Чернышевского, для которой более органичны бессоюзные периоды.

Таким образом, анализ ряда синтаксических категорий дает возможность не только обнаружить стилистическое различие в статьях Чернышевского и Добролюбова, но и объяснить это раз-

личие внестилевыми факторами, содержательно объяснить «формальные», чисто грамматические различия у двух авторов.

А можно ли сами композиционные принципы и различия объяснить какими-либо более крупными мировоззренческими факторами? Скажем, заманчиво было бы предположить, что глубинная сущность добролюбовской методологии предельно подвижна в своей историчности, поэтому требует всюду векторно-динамического своего воплощения, то есть именно линейного, «цепевидного» развития в причинно-следственной связи отдельных звеньев, а у Чернышевского и в историчных построениях, и вне их содержится неизменный фундаментальный базис, может быть, обусловленный антропологизмом и своеобразным традиционализмом автора и влияющий на композицию трудов тем, что к нему, базису, постоянно возвращается мысль, создавая своеобразный структурный круговорот. К сожалению, при современном уровне наукологии и психологии творчества трудно ответить определенно в таком роде, как трудно и опровергнуть это предположение.

Далеко не все различия перечислены в данной статье²¹ (большинство из них рассматривалось в предыдущих работах автора): в статьях Чернышевского и Добролюбова наблюдаются еще некоторые расхождения в трактовке сущности таланта писателя, соотношения в связи с этим содержания и формы, в трактовке образов «лишних людей», однако эти различия были временными, к 1859—1861 годам заметна тенденция к единению взглядов: Добролюбов приближался к Чернышевскому, а в некоторых случаях и Чернышевский к Добролюбову (в статье «Не начало ли перемены?», опубликованной в «Современнике» после смерти Добролюбова).

В целом прослеживается единая поступательная линия в истории революционно-демократической критики: принципы Белинского были в условиях пятидесятых годов развиты и расширены Чернышевским, затем Добролюбов, опираясь на предше-

²¹ Отдельные наблюдения об отличиях во взглядах Чернышевского и Добролюбова см. также в статьях: *Свердлина С. В.* Чернышевский и Добролюбов в их суждениях об Островском // *Вопросы биографии Н. Г. Чернышевского и восприятия его личности в России и за рубежом.* Волгоград, 1979. С. 37—50; *Кружков В. С.* Н. Г. Чернышевский и Н. А. Добролюбов // *Н. Г. Чернышевский и современность.* М., 1980. С. 180—188.

ственников, в свою очередь углубил и расширил их идеи, и эту цепь замыкает статья Чернышевского «Не начало ли перемены?».

Однако органическое единство основ мировоззрения Чернышевского и Добролюбова нисколько не сглаживает их человеческого и творческого разнообразия. Напротив, оно, это единство, лишь ярче проявляет их глубокую оригинальность. Изучение своеобразия двух великих революционных демократов еще только начинается, можно быть уверенным, что в дальнейшем будут обнаружены и другие существенные проявления «непохожести», но, опять же возвращаясь к истокам, подчеркнем, что все эти «противопоставления» нисколько не поколеблют общих основ мировоззрения и критического метода Чернышевского и Добролюбова как типичных представителей русской революционно-демократической интеллигенции шестидесятых годов.

БУЛГАКОВ И ГОГОЛЬ (ТЕМА БОРЬБЫ СО ЗЛОМ)

Творческое использование гоголевского наследия М. А. Булгаковым — глубокая и многоаспектная проблема, частично уже ставшая объектом литературоведческих исследований как с фактических сторон (интерес к конкретным гоголевским произведениям, формы их использования, инсценировки для театра и кино-сценарии и т. п.), так и с точки зрения теории (соотнесение художественных методов, сущность творческой интерпретации, возможность перевода произведений в другие жанры). Без темы «Булгаков и Гоголь» не обходится ни одна общая работа о писателе, в том числе и первая монография о нем¹, да и немало уже опубликовано специальных статей на эту тему². В предлагаемом сообщении речь пойдет лишь об одном аспекте, указанном в заглавии.

В большинстве исследований о Булгакове вообще и по теме «Булгаков и Гоголь», в частности, наиболее подробно рассматривались — в плане указанного аспекта — проблемы творчества, мастерства, положения художника в обществе и т. п. Но эти пробле-

¹ См.: Яновская Л. Творческий путь Михаила Булгакова. М., 1983.

² См.: Егоров Б. Ф. М. А. Булгаков — «переводчик» Гоголя: (Инсценировка и киносценарий «Мертвых душ». Киносценарий «Ревизора»): Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1976 год. Л., 1978. С. 57—84; Чудакова М. О. Булгаков и Гоголь // Русская речь. 1979. № 2. С. 38—48; № 3. С. 55—59; Файман Г. С. 1) На полях исследований о Булгакове: Заметки читателя // Вопросы литературы. 1981. № 12. С. 203—209, разделы 2, 3; 2) «В манере Гоголя...» // Искусство кино. 1983. № 9. С. 106—109; Чеботарева В. А. О гоголевских традициях в прозе М. Булгакова // Русская литература. 1984. № 1. С. 167—176; Смелянский А. Булгаков и поэма Гоголя // Театральная жизнь. 1984. № 7. С. 14—15; № 8. С. 30—31; № 11. С. 22—23; Мацкин А. Станиславский: Скрещение идей и судеб в «Мертвых душах». 1932 // Мацкин А. На темы Гоголя: Театральные очерки. М., 1984. С. 214—367. Из зарубежных трудов мне известна статья: Milne L. M. A. Bulgakov and Dead Souls: the Problems of Adaptation // The Slavonic and East European Review. 1974. Vol. 52. № 128.

мы можно расширить до жизненного деяния вообще, ибо деятельность человека — особенно в свете идеалов и целей жизни — ее результативность и ценность, соотношение с нравственными критериями — этот круг вопросов постоянно интересовал как Гоголя, так и Булгакова. Большую роль играет он и для исследовательских сфер: литературоведческой, театроведческой и даже культурологической.

Гоголь, выросший и вращавшийся в мире дворянской обломщины, а впоследствии довольно хорошо познавший чиновничий круг, слишком много видел на своем веку бездеятельности, псевдодеятельности, деятельности насильной (крепостной, т. е. из-под палки, или ради денег), чтобы не отобразить всего этого в своих произведениях.

Совершенно исключительным на фоне неподвижного, мертвого мира монстров выглядит деятельный Чичиков (гений Гоголя глубоко вскрыл в этом образе почти нереальное, фантастическое слияние социально-экономических, накопительских стимулов к действию со страстью, артистизмом, творчеством). А почти единственный антипод Чичикова — Костанжогло, деятель положительный, нравственный, нарочно выведен греком, представителем известной своей практической активностью нации, а не русским.

Булгаков, человек исключительно деятельной и динамичной эпохи, сам принадлежавший к семье упорных тружеников, наоборот, как правило, изображал в своих произведениях людей энергичных, активных, даже часто активных до настырности. Контрасты у него в отличие от классических сюжетов возникают не между анемичными, пассивными обломовыми и деятельными штольцами, а между разными по нравственному уровню и идеалам «активистами». Творческие люди высокой нравственности у Булгакова обычно отличаются чудаковатыми, донкихотскими чертами, почти всегда бытовой непрактичностью, и наоборот — дельцы, хапуги, наделенные талантливым практицизмом, характеризуются изумительной приспособленностью к любым условиям, любым переменам. Интересно, что одним из первых сатирических откликов на распространявшийся по России НЭП была осовремененная переделка Булгаковым «Мертвых душ» — «Похождения Чичикова» (1922). В этом рассказе-очерке тема «положительного» предпринимательства (типа деяний Костанжог-

ло) была совершенно снята, осталась лишь галерея приспособленцев и гешефтмахеров (впрочем, сопутствуемых и бездельниками).

Когда в 1930 г. Булгаков принялся за инсценировку «Мертвых душ» для МХАТа (как чуть позднее, в 1934 г. — за киносценарий для И. А. Пырьева), то тема Костанжогло, так же как и вообще тема созидания в любом виде, совершенно его не привлекала. Весь динамичный сюжет театральной инсценировки и киносценария был посвящен приключениям Чичикова: его успехам по скупке мертвых душ, его провалу и заключению в тюрьму, а затем, с помощью крупной взятки, освобождению. Лирические и пафосные инкрустации, вставлявшиеся в текст, выглядели достаточно инородными телами, почти все они в результате оказались сокращенными. Создавалось как бы господство активного, деятельного зла, творившего свои поступки нагло, бесконтрольно, безнаказанно.

Гоголь пытался уравновесить стихию зла положительными образами 2-го тома «Мертвых душ» и предполагал затем показать возможность нравственного перерождения «падших» персонажей, и в первую очередь Чичикова. Булгаков же совершенно обошел эти темы.

Гоголь не был просветителем, но он почти по-просветительски верил в могучую силу слова. На такой вере основаны все его утопии. «Выбранные места из переписки с друзьями» пестрят призывами к действенным устным проповедям («Найдешь слова, найдутся выражения, огни, а не слова, излетят от тебя, как от древних пророков...»; «...умей пронять его хорошенько словом...»; «Народу нужно мало говорить, но метко»³ и т. д.), не говоря уже о специальной главе книги «О том, что такое слово». Велика сила слова и в «Мертвых душах». Заключительная глава второго тома в сохранившейся части полна возвышенных речей генерал-губернатора, взывающего к честности и благородству; ошеломленные его словами прожженные мерзавцы и взяточники чуть ли не проникаются раскаянием...

А Булгаков был весьма далек от просветительских иллюзий: сложные потрясения XX в. не давали трезво, реалисти-

³ Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. Т. 8. [Л.], 1952. С. 281, 324, 327.

чески мыслящему художнику почвы для веры в словесные увещевания. Но, с другой стороны, Булгакову не дано было в силу целого комплекса причин увидеть в жизни социальные силы, способные *реально* бороться со злом в любых его ипостасях (буржуазное хищничество, корыстная общественно-политическая мимикрия и т. д.). Прочный этический фундамент, построенный дореволюционной русской интеллигенцией, оказывался, по Булгакову, достоянием одиночек, трагически бессильных в противостоянии злу. А в то же время романтически возвышенной душе писателя очень хотелось *возмездия*, наказания зла. Булгаков отнюдь не был «непротивленцем», он готов был применить к злу самое настоящее насилие. Будучи мужественным человеком, он всегда ненавидел трусость — и в жизни, и в творчестве.

Борьба со злом с помощью силы возможна в двух вариантах: «рыцарская», благородная борьба и борьба «злая», с использованием недозволенных средств, т. е. варварская, «иезуитская» борьба с варварством. Первый вариант результативен при достаточно весомой поддержке активистов широкими слоями недовольных царящим злом, в противном случае борьба оказывается неравной; в ней не равны также и этические диапазоны действий и результатов. Как справедливо заметил В. Г. Белинский в письме к В. П. Боткину от 5 ноября 1847 г., «подлецы потому и успевают в своих делах, что поступают с честными людьми, как с подлецами, а честные люди поступают с подлецами, как с честными людьми»⁴.

В таком случае активная борьба со злом оказывается донкихотством, в сложной реальности не столько смешным, сколько трагичным. Этот вариант постоянно привлекал творческое внимание Булгакова. Донкихотские ситуации, мотивы, черты характера присутствуют в большинстве его крупных произведений: в «Белой гвардии» (1925—1927), в пьесах «Дни Турбиных» (1926), «Бег» (1928), «Адам и Ева» (1931) — и вся эта цепь завершается театральной инсценировкой романа «Дон Кихот» (1938). Как правило, донкихоты не способны дать отпор силам зла, не говоря уже о серьезном его наказании (лишь в «Адаме и Еве» глухо намечена «гоголевская» тема нравственного

⁴ Белинский В. Г. Полн. собр. соч. Т. 12. М., 1956. С. 412.

перерождения антагонистов академика Ефросимова — своеобразного социального и научного Дон Кихота).

А так как Булгакову очень желалось увидеть воплощение возмездия, то он вынужден был с самых ранних своих писательских лет обращать внимание и на второй вариант борьбы со злом: когда для этого используются злые же силы. Наиболее характерный пример — рассказ «Похождения Чичикова», где персонажи гоголевского романа оказываются прекрасно приспособившимися к условиям московской жизни начала НЭПа. Булгаков высмеивает буржуазное предпринимательство, а также бюрократические неполадки в ранних советских учреждениях, но не только высмеивает: он хочет на страницах рассказа наказать приспособленцев, бюрократов, бездельников и передает повествователю функции «бога из машины», мотивируя свободу действий и жестокость тем, что все происходит во сне. Вот какие варварские способы используются при этом:

«— Подать мне сюда Ляпкина-Тяпкина! Срочно! По телефону подать!

— Так что подать невозможно... Телефон сломался.

— А-а! Сломался! Провод оборвался? Так чтоб он даром не мотался, повесить на нем того, кто докладывает!!

.....

— ...Подать мне списки! Что? Не готовы? Приготовить в пять минут, или вы сами очутитесь в списках покойников!

.....

В два счета починили и подали.

.....

— Чичикова мне сюда!!

— Н...н...невозможно сыскать. Они скрымшишь. . .

— Ах, скрымшишь? Чудесно! Так вы сядете на его место.

.....

И через два мгновения нашли!»

Чичикова, несмотря ни на какие его мольбы, повествователь немедленно казнит: «Камень на шею и в прорубь! И стало тихо и чисто»⁵.

Повествователь у Булгакова — интеллигентный человек, лишь во сне способный на подобную жестокость. В дальней-

⁵ Сельская молодежь. 1966. № 1. С. 40—41.

шем писатель отдаст функции жестокого возмездия «нечистой силе»; с особой наглядностью это будет воплощено в «Мастере и Маргарите» (1940).

У Гоголя «нечистая сила» выступает в двух видах: это или ничтожный черт, «мелкий бес», близкий к соответствующему образу русской и украинской бытовой сказки («Пропавшая грамота», «Ночь перед Рождеством»), или же адская дьявольщина, жестокая и безгранично сильная (воистину нечистая сила!) («Страшная месть», «Вий»). Оба вида слиты в «Вечере накануне Ивана Купала». Тема возмездия лишь пунктирно намечена в «Страшной мести»: его осуществляет всадник-рыцарь, явный представитель добра и света; в заключительной же новелле об Иване и Петре — сам Господь Бог. Ближе к булгаковской теме наказания зла злом концовка «Шинели»: на грани реальности и фантастики в Петербурге стали действовать какие-то темные силы (чуть ли не мертвый-воскресший Акакий Акакиевич), сдергивающие по ночам шинели не только с бедняков, но и с «тайных советников», и в конце концов ограбившие «одно значительное лицо», не помогшее в свое время Акакию Акакиевичу.

А. П. Скафтымов заметил, что в отличие от драм А. Н. Островского у Гоголя «нет жертвы порока», ибо в его пьесах нет «подлинно человеческих» характеров: «Действие в пьесах Гоголя складывается в сфере вольных или невольных столкновений разных порочных типов»⁶. В какой-то мере это наблюдение может быть распространено почти на все творчество Гоголя, ибо и в повествовательной прозе у него немного найдется «подлинно человеческих» характеров. «Шинель» — скорее исключение, чем правило. Если же идет соревнование одних порочных типов, то горе некоторых из них не воспринимается читателем как несчастье, взывающее к нравственному отмщению.

У Булгакова же очень часто и больше всего, пожалуй, в «Мастере и Маргарите» благородные, «человеческие» образы показаны как жертвы различных сил зла, и автор исподволь, но неуклонно, приводит сюжет романа к таким нравственным коллизиям и результатам, которые как бы вопиют о возмездии. А право на возмездие Булгаков передает представителям ада,

⁶ Скафтымов А. П. Белинский и драматургия А. Н. Островского // Учен. зап. Саратовского гос. ун-та. 1952. Т. 31. С. 77—79.

Воланду и его компании: единственная сила, которая в романе взрывает и наказывает мещанскую пошлость, подлость, корысть, — дьявол. Фантастические и жестокие расправы Воланда и его «ближних» демонстрируют безграничные возможности сил ада: человек как будто становится пассивной и ничем не защищенной игрушкой в руках темных и неумолимо беспощадных властителей. Но люди, воплощающие в себе идеалы добра, света, творчества, оказываются еще более могучими: перед ними останавливается и оказывается пассивным сам дьявол, не просто бессильный перед их высокими качествами, но и как бы склоняющийся перед ними в своем признании их величия и ценности. Эта тема у Гоголя совсем не была намечена.

ОБЩЕЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ: БРАТЬЯ БАХТИНЫ

Эта тема уже привлекала исследователей, особенно — О. Е. Осовского. В настоящем сообщении главное внимание уделено уникальному своеобразию Николая Михайловича Бахтина. Братьев-погодков объединяли генетические задатки, воспитание в детстве, обучение в юности, внимание друг к другу. Общим у них были четко гуманитарные интересы, универсальность знаний, углубленное изучение греческой античности, черты душевно-психологического эллинизма (особенно, при приоритете духовных занятий, тяга к земному, плотскому: например, пристальный интерес Михаила к Рабле и воспевание Николаем «осязания», «осязаемого вожделения»), стремление к крупномасштабному осмыслению бытия и истории, создание таких же крупномасштабных теорий, из-за чего их отношение к методам, ставящим в центр относительно частные области (формализм, стиховедение), было более чем сдержанным (утверждения М. Лопатто, что Николай Бахтин не искал основополагающих концепций, что его ум был скорее дробно-аналитический — весьма односторонни: Лопатто, видимо, не знал философских работ товарища). Характерен также обоюдный интерес братьев к иронии и пародии. Михаил позднее создаст обобщающую теорию карнализации, а Николай пронижет свои статьи и стихи термином «веселость».

Оба брата были хорошими диалектиками (здесь можно видеть и гегельянский заквас, но еще больше влияние античных мыслителей), оба строили свои концепции в динамическом ключе, статические структуры были им чужды. Встречаются отдельные сходные частные суждения братьев, которые можно объяснить и прямым влиянием Николая на Михаила (помимо раннего общения еще существует легенда, что кто-то с Запада прислал Михаилу эмигрантские публикации Николая), и типологической конгениальностью.

Однако между братьями имеются и существенные различия. Генетически Николай был значительно живее, напористее, «мо-

торнее». Трудно представить Михаила офицером или солдатом, даже до его болезни, а Николай добровольно ушел в гусары во время первой мировой войны, потом — в Белую армию, а уже в эмиграции служил в Северной Африке во французском Иностранном легионе. Одно из любимых словечек Николая в стихах и прозе — «крутой»: литератор 1920-х гг. как бы на две трети века предвещает современную молодежную лексику. Совершенно немыслимо вообразить у Михаила такие строки: «Я рубил бы вновь таких, как ты, // Как бывало — в остром взлете боя». И, конечно, Николай значительно больший индивидуалист. Михаил развивал теорию диалога, занимался сложным сплетением «я» и «другого», а Николай, наоборот, всячески отделял личность, обособлял ее от «других». Кажется, Николай никогда не заводил настоящей семьи.

Михаил — христианин, частично даже протестантского или католического склада (особенно по антицеломудренному отношению к плотскому), а Николай — язычник (очевидно, именно потому, в отличие от Михаила, он не любил Достоевского и возвышал над ним как бы языческого Толстого; он настолько обожал Толстого, а вместе с ним и Чехова, что до неприличия приносил русскую поэзию второй половины XIX века: в оксфордской лекции 1947 г. «Пушкин» Николай объявил Толстого и Чехова испытывающими отвращение к поэзии, тем более, что в ней тогда «царил сладкий покой, блаженная безответственность, никем не возмутимый лирический уют»; и это говорится о эпохе Некрасова, Тютчева, Фета!).

В философских эссе 1920-х гг. Николай откровенно отрицательно относится к вечному и абсолютному, они для него являются хаосом, противостоящим живому индивидууму, а индивидуальность, в свою очередь, есть «чистейшее отрицание вечности». Такое противоположение и неверие в нехаотическую вечность создает трагическое мироощущение, ибо рядом с жизнью индивидуума стоит смерть, жизнь неумолимо кончается смертью. В пафосе трагизма Николай опирается на античную философию и на Ницше. А чтобы снять страх и ужас, он доказывает естественность и неизбежность смерти, утверждает отсутствие страха смерти у яркой, творческой, богатой событиями жизни. В другом месте он прямо критикует христианское представление об отделении души от тела человека после его смерти, ратует за единство, неотделимость души от

тела. Видимо, при этом он не верит в загробную жизнь, предлагает сжигать трупы людей.

Возможно, где-то в глубинах сознания или чувства Николай Бахтин оставался христианином. В некоторых произведениях просвечивает вера в вечную жизнь, особенно прозрачно — в стихотворении «На краткий срок сошел я в эти доли...», где есть строка: «Я не хочу во времени приюта». А восьмистишие «У вод речных, вблизи могил, себе...» развивает мотивы лермонтовского «Выхожу один я на дорогу...» и предвещает пастернаковский «Гефсиманский сад». Но в самом христианстве, считал Николай, «все еще судорожно тлеет искра древнего божественного огня», т. е. *античного* огня. В эллинской культуре он видел предпосылки для появления христианства, она подготовила соответствующий «душевный строй». Поэтому если в душе Николая и были христианские элементы, то они явно вели в древность, по крайней мере — в Византию, а скорее всего — в Элладу, но никак не в Серебряный век нашего православия, с которым все-таки был связан Михаил. Русскую богословскую мысль нового времени Николай критиковал за чрезмерное впитывание идей западно-европейской, т. е., конечно, германской, философии. В целом он оставался язычником, и именно там была его религия: «Подлинное антихристианство всегда религиозно» (статья «Защитник язычества», 1926). Да и само обращение к вечности может быть интерпретировано не в христианском, а в античном или ницшеанском духе циклических повторов и вечных возвратов.

В свете своего языческого эллинизма Николай Бахтин презирал современный буржуазный мир Западной Европы, ему были чужды и просвещение, и позитивизм, и марксизм, и либерализм. В течение XVIII—XIX веков, считал он, «Европа разжирела и обмякла» (статья «Антиномия культуры», 1928).

В одной из самых ценных статей — «Разложение личности и внутренняя жизнь» (1931) — он проявил себя, возможно, даже не осознавая до конца всей полемичности, яростным антилибералом. Фон здесь таков. В середине XIX в. типичнейший либерал П. В. Анненков, споря с Чернышевским, четко раскрыл коренное отличие либерального «постепенновца» от революционного демократа: последний, не задумываясь о сложности жизни, о непредсказуемых последствиях, воодушевленный единственной узкой идеей, всю энергию бросает на ее осуществление, он концентрирует, фокусирует свои силы в одной точке, и поэтому

пробивает даже толстую стену сопротивления; а либерал, задумавшийся над сложным комплексом причинно-следственных связей, взвешивающий все «про» и «контра», не способен к активным действиям и остается нерешительным и слабым в практическом отношении. И. С. Тургенев, опираясь на эти образы друга, создал замечательную статью «Гамлет и Дон-Кихот».

А Николай Бахтин повернул эту тему неожиданным образом: он с ненавистью описывает «абсентеистов», уклоняющихся от активного выбора, погружающихся во внутреннюю жизнь, он усматривает в этом «трусливое сластолюбие и бессильную жадность», т. е. наслаждение призраками, искусственными образами и стремление «ничем не поступиться», все удержать внутри себя, в то время как активные люди всегда при выборе готовы от чего-то отречься. Получается, что призраки создаются не Дон-Кихотами, а Гамлетами, а цельные и активные Дон-Кихоты — настоящие люди (впрочем, конкретно к Дон-Кихоту мыслитель относился как к мифоману). При этом Николай Бахтин неоднократно с большим презрением говорит о толерантности и «всеядности» либеральной интеллигенции, за то с нескрываемым восхищением о Константине Леонтьеве.

Антилиберализм и антизападничество Н. Бахтина, наличие в его мировоззренческой натуре «скифских», «языческих» стремлений создавали весьма сложный клубок симпатий-антипатий и ценностных шкал: в грозные дни октября 1917 г. он готов был видеть в революционных рабочих и крестьянах аналог древнегреческих диких дорийцев, разрушавших элитарную Крито-Микенскую культуру, с тем, чтобы в будущем, после ряда «темных веков», создать прекрасный эллинизм; но когда большевики стали бесчинствовать, то Николай Бахтин уехал в Крым, а потом и присоединился к Белой армии; однако, опять же, когда увидел бесчинства белогвардейцев, то снова стал склоняться к оправданию «временного» хаоса большевизма ради светлого социалистического будущего; долг не позволил ему покинуть Белую армию, да и позднейшую эмиграцию он не сменил на возврат, однако какие-то блестящие симпатии к большевизму он время от времени выявлял: то неожиданно в отрывке «Троил и Крессида» (на английском языке) сочувственно сошлется на статью Ленина о Толстом, по поводу «срывания всех и всяческих масок», то, уже после второй мировой войны, даст какой-то положительный отзыв о Сталине; и, опять наоборот, он мог произ-

водить на знакомых впечатление лютого ненавистника большевиков и Советской власти, а в статье «Антиномия культуры» назвал марксизм «темным и противоестественным браком гегелевской диалектики и голода» (в другом случае он сопоставил классовую борьбу с борьбой за место у корыта).

Подобные противоречия и крайности, коих можно найти очень много, иногда существовали в мироощущении Николая отдельно, но чаще они сливались в сложную структуру, отсюда происходит постоянное использование в стихах и прозе оксюморонов и контрастов. Примеры из стихотворений: «Тяжелой мощи лучезарных дней»; «мой враг и брат»; «и веет простором, зачатьем и тленьем»; «рвалась к высотам, мутно вожделая, // И пыжилась обрюзгая душа!» Из прозы: «Мы покоряемся, презирая»; «гордо стоим на страже собственного застенка»; «извечный удел мятежника — покориться»; «веселое ремесло войны».

Вообще, мировоззрение и труды Николая Бахтина насыщены неожиданными парадоксами (здесь можно провести много параллелей с трудами Михаила). Вот только несколько примеров: «В основе всякого оптимизма мне чувствуется духовная нечистоплотность»; «воплощение всегда есть некоторое *уменьшение* воплощаемого, т. е. <...> *ложь*»; «бороться с разумом можно только подчинившись ему»; «степень оформленности есть степень хрупкости»; «каждый шаг к совершенству есть шаг к гибели».

Оксюморонно парадоксальны и некоторые противостояния двух братьев. Михаил остался в Советской стране, но, понимает, ненавидел и презирал режим, который принес ему столько горя и всячески мешал творить и реализовать творимое. Николай эмигрировал, но, в духе западной левой интеллигенции, относительно лояльно отзывался о Советском Союзе. Михаил жил в стране, где все сильнее и сильнее, с явным подталкиванием сверху, развивался интерес к национальному, русскому, но мыслитель в своей крупномасштабности, при изучении многих культур и многих веков, был скорее «космополитом»; а Николай, находясь в достаточно космополитичной Западной Европе, заметно и сильно чувствовал себя русским, декларировал «славянское возрождение» в будущем, хотя был совершенно чужд шовинизма и сепаратизма.

Понимая существенные идеологические и психологические расхождения, Николай в стихотворении «Одному из оставших-

ся» — характерно, что под знаком вечности, а не сиюминутности — подчеркнул общие корни, типологические и генетические связи двух братьев:

Делила нас тревожная вражда,
Что с каждым годом строже и упорней.
Но в глубину — как прежде, как тогда —
Уходят волю черплющие корни.

Пусть нет пути между тобой и мной,
Но два непримиримые хотенья
Питаемы единой глубиной,
Которой не коснулось разделенье.

Здесь — долу — предначертаны пути
И вольно был предызбран и измерен
Земной удел. Избравший, будь же верен
И смей, упорней, до конца идти.

Но в высший миг прозренья и свободы
Двух разных душ коснется та же дрожь,
Мой враг и брат; — и сквозь вражду и годы
Ты мой привет услышишь и поймешь.

Больно и безысходно сознавать, что самые глубокие, продуктивные годы в творчестве братьев Бахтиных оказались разрывными, несообщающимися.

Источники

Бахтин Н. М. Из жизни идей: Статьи. Эссе. Диалоги. М., 1995.

Bachtin N. Lectures and Essayes. Birmingham, 1963.

Christvian R. F. Some Unpublished Poems of Nicolas Bachtin // Oxford Slavonic Papers. Vol. 10. 1977.

Осовский О. Е. «Неслышный диалог»: Биографические и научные созвучия в судьбах Николая и Михаила Бахтиных; *Бахтин Н.* Философское наследие / Публ. О. Е. Осовского // М. Бахтин и философская культура XX века. Вып. 1. Ч. 2. СПб., 1991.

М. БАХТИН И Ю. ЛОТМАН

В необозримо громадной литературе о Бахтине довольно часто упоминаются труды представителей тартуско-московской семиотической школы и, конечно, труды ее главы Лотмана. Может быть, и не в такой обширной, но тоже достаточно количественной литературе о Лотмане ссылки на Бахтина не менее часты. Было бы странно, если бы этого не наблюдалось. Четверть века назад один коллега (В. А. Зарецкий) во время литературоведческой конференции, на которой присутствовали Д. С. Лихачев и Ю. М. Лотман, заметил, обращаясь к соседям: «Здесь две трети вершин нашей науки. Не хватает еще Бахтина». Воистину.

Именно тогда, в начале семидесятых годов, появились ценные работы Вяч. Вс. Иванова и Д. М. Сегала¹, освещавшие воздействие идей Бахтина на труды Лотмана, а потом работы на эту тему пошли косяком. Авторы некоторых из них уже стали как бы бить отбой и подчеркивать не столько сходство, сколько отличие современных семиотиков от Бахтина (статьи И.Р.Титуника²). И уже в недавнее время опубликованы исследования непосредственно на тему «Бахтин и Лотман» — статьи А. Рейда, А. Манделькер, П. Гржибека, Н. Каухчишви-

¹ *Иванов Вяч. Вс.* Значение идей М. М. Бахтина о знаке, высказывании и диалоге для современной семиотики // Семиотика. 6. 1973. С. 5—44; данная статья перепечатана в журнале «Диалог. Карнавал. Хронотоп» (1996. № 3. С. 5—58) с интересным современным «Послесловием» автора (С. 59—67); *Segal D.* Aspects of Structuralism in Soviet Philology. Tel Aviv, 1974.

² *Titunik I. R.* M. M. Baxtin (The Baxtin School) and Soviet Semiotics // «Dispositio» (Ann Arbor). 1976. Vol. 1. № 3. P. 327—338; *Titunik I. R.* Bakhtin and Soviet Semiotics // Russian Literature (Amsterdam). Vol. 10. № 1. P. 1—16.

ли, И. Верча, Д. Бетэа (грубая транскрипция фамилии *Bethea*)³.

А. Рейд, как видно даже из названия его статьи («Кто же Лотман и почему Бахтин говорит о нем такие гадкие вещи?»), явно преувеличивает негативность весьма деликатных замечаний Бахтина о современной семиотике, хотя и пытается наметить возможность сближения. П. Гржибек более тщательно исследует соотношение методов Бахтина и Лотмана (хотя в заглавии его работы стоит более широкое понятие «школы», но практически речь идет именно о Лотмане). Правда, значительная часть статьи Гржибека посвящена сравнению работ Бахтина и ранних теоретических трудов Лотмана (1960—1970-х годов), что дает автору основание говорить лишь о самых общих сходжениях: и Бахтин, и Лотман вместе со «школой» рассматривают язык в широком семиотическом смысле, т. е. как понятие, относящееся к любой знаковой системе, а не только к словесной; точно так же и «текст» трактуется широко — как созданный любыми знаками. А в остальном Гржибек находит различия, опираясь на бахтинские высказывания в его записях 1970—1971 годов, посвященные тогдашнему уровню отечественной семиотики, имея в виду в первую очередь труды Лотмана и «школы»: «Семиотика занята преимущественно передачей готового сообщения с помощью готового кода. В живой же речи сообщение, строго говоря, впервые создается в процессе передачи и никакого кода, в сущности, нет <...>. Код — только техническое средство информации, он не имеет познавательного творческого значения. Код — нарочито установленный, умерщвленный контекст»⁴.

³ *Reid A. Who is Lotman and Why is Bakhtin Saying Those Nasty Things About Him? // Discours Social / Social Discourse. 1990. Vol. III, № 1—2. P. 325—338; Mandelker A. Semiotizing the Sphere: Organicist Theory in Lotman, Bakhtin and Vernadsky // Publications of the Modern Language Association of America. Vol. 109, 1994. P. 385—396; Гржибек. П. Бахтинская семиотика и московско-тартуская школа // Лотмановский сборник. I. М., 1995 (далее: Лотм. сб. 1). С. 240—259; Kauchtschischwili N. Florenskij, Bachtin, Lotman (dialogo a distanza) // Slavica Tergestina. Vol. 4. Наследие Ю. М. Лотмана: Настоящее и будущее. Trieste, 1996. P. 65—80; Verč I. Стих vs проза: От Бахтина к Лотману и дальше... // Ibid. P. 153—162; *Bethea D. M. Bakhtinian Prosaics Versus Lotmanian «Poetic Thinking»: the Code and its Relation to Literary Biography // Slavic and East European Journal. Vol. 41. № 1. 1997. P. 1—15.**

⁴ *Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 352.*

Бахтин, недостаточно знакомый с работами Лотмана 1960-х годов, упрощает картину, но в первом приближении его критика справедлива, и Гржибек имел некоторое основание провести такие параллели: Бахтин подчеркивает, в отличие от «школы», индивидуальность, неповторимость текста как высказывания (достаточно было бы проштудировать первую структуралистско-семиотическую книгу Лотмана «Лекции по структуральной поэтике» (1964), чтобы увидеть там конкретные, «индивидуальные» анализы, но, опять же, некоторые теоретические высказывания времен «летних школ» давали основания для бахтинских обобщений). Далее Гржибек, однако, переходит к противопоставлению концепции Бахтина учению Ф. де Соссюра, полагая, что метод Лотмана базируется на учении Соссюра, и тогда бахтинские утверждения о социальной и материальной сущности знаковых систем противостоят как бы «идеализму» и «абстрактности» не только соссюровской, но и лотмановской семиотики.

А в конце статьи Гржибек справедливо отмечает изменения, произошедшие в методе Лотмана: «Однако во второй половине 70-х годов понятие текста в московско-тартуской школе было пересмотрено, особенно в серии статей Лотмана (далее идут ссылки на теоретические труды Лотмана 1977—1986 годов. — Б. Е.). Примечательно, что в этих статьях первоначальное определение текста подвергнуто некоторым изменениям в духе бахтинской семиотики. Статьи, написанные после Вяч. Вс. Иванова, Л. Матейки и Д. М. Сегала, подчеркнувших важность бахтинских идей для современной семиотики, демонстрируют явное теоретическое и концептуальное сходство со взглядами Бахтина»⁵. Именно так.

Статья Н. Каухчишвили посвящена не столько сопоставлениям ученых, сколько общему обзору русских культурологических концепций XX века, с главным вниманием к Флоренскому. Остальные труды посвящены более частным, хотя и значительным, проблемам; наиболее обстоятельна статья Д. Бетэа.

К сожалению, всем авторам (по крайней мере, всем находившимся в моем поле зрения) осталась неизвестной осново-

⁵ Гржибек П. Бахтинская семиотика... С. 247—248. Упомянутая статья Л. Матейки — послесловие к английскому переводу книги: *Vóloshinov V. N. Marxism and the Philosophy of Language*. N. Y. 1973.

полагающая статья Лотмана «Бахтин — его наследие и актуальные проблемы семиотики», прочитанная как доклад на международном Бахтинском симпозиуме в германском университете им. Ф. Шиллера (Иена, 1983) и опубликованная в материалах конференции⁶.

Данная статья Лотмана чрезвычайно интересна для понимания более поздних идей тартуско-московской школы, поздних по отношению к высказанным в начале пути и служившим объектом критики Бахтина. Так как статья посвящена не анализу эволюции «школы», а наследию Бахтина, то автор, совсем не касаясь вопроса об изменениях своего метода, в самом подчеркивании главных выводов бахтинского учения, представляемых без полемики (лишь с небольшими коррективами), как бы с согласием, фактически намекает и на свою эволюцию и обезоруживает прошлых и будущих оппонентов, судящих о Лотмане лишь по ранним его работам.

Поэтому статью можно воспринимать и как изложение своих взглядов. Если они почти все совпадают с бахтинскими, значит, произошло изменение метода, обусловленное, добавим от себя, как имманентными потенциями, заложенными в ранних идеях, так и, очевидно, влиянием Бахтина: и его трудов, и критики в адрес «школы». Это очень существенно.

В первой части статьи рассматривается соотношение метода Бахтина с концепциями Ф. де Соссюра и отмечаются два важных контраста: 1) в отличие от «статического» представления швейцарского лингвиста о знаковых системах, Бахтин утверждал их динамический характер; 2) Бахтин строил учение о диалоге в противовес прежним «монологическим» концепциям. Тут Лотман делает единственное замечание; он считает, что понятие Бахтина о диалоге несколько неопределенно, иногда даже метафорично, и ниже дает свое семиотическое определение диалога: «...механизм переработки новой информации, которая еще не существует до диалогического контакта» (с. 38). А так как Бахтин воспринимал современных структуралистов как последова-

⁶ Lotman Ju. Bachtin — sein Erbe und aktuelle Probleme der Semiotik // Roman und Gesellschaft. Internationales Michail-Bachtin-Colloquium. Jena, Friedrich-Schiller-Universität, 1984. S. 32—40. В дальнейшем ссылки на эту статью даются непосредственно после цитат. Цитатные переводы принадлежат мне.

телей де Соссюра⁷, то выгодное отличие Бахтина от швейцарского ученого, намеченное в статье Лотмана без критики и как бы с одобрением, косвенно означает и деликатную корректировку суждений Бахтина: вы, дескать, бранили нас за «соссюрговскую» ограниченность, а мы вполне солидарны с вашим противостоянием де Соссюру!

Приведенная выше цитата с определением диалога взята из второй части лотмановской статьи, посвященной *развитию* идей Бахтина на новом этапе существования тартуско-московской школы, особенно идей о диалоге. С диалогом Лотман связывает свой основополагающий принцип второго этапа существования «школы», начавшегося с 1970-х годов, постулат о необходимости для культуры двух или более языков, взаимодополняющих друг друга: языки вербальный и изобразительный, литературы и театра, литературы и кино и т. д.; сюда же подключается одно из крупнейших психофизиологических открытий XX века, обнаружение различий между функциями двух полушарий головного мозга.

И в самом деле, этот принцип как бы вытекает из понятия диалогизма (наличие двух или более языков и кодов создает диалогическое общение) и усиливает внимание к динамическим процессам в семиотических сферах; новое определение диалога, данное Лотманом, как бы прямо вытекает из постулата динамичности (процесс создания нового) и, в свою очередь, порождает динамичность⁸. В рассматриваемой статье Лотман несколько раз подчеркивал большую важность для семиотики не механического переноса аутентичной информации, а творческих процессов, в которых создается новая информация, всегда включаемая в диалог.

(Заметим в скобках: в последние годы жизни, особенно в книге «Внутри мыслящих миров», Лотман как бы согласился, что при обычной односторонней передаче информации от «Я» к «Другому» она, информация, не меняется, остается константной; но есть исключение: когда происходит автокоммуникация, передача са-

⁷ См.: Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества... С. 238.

⁸ М. Л. Гаспаров выводит динамичность в лотмановских анализах из наследия Ю. Н. Тынянова (см.: Гаспаров М. Л. Анализ поэтического текста Ю. М. Лотмана: 1960—1990-е годы // Лотм. сб. 1. С. 189). Пожалуй, бахтинское влияние более прямое.

тому себе, тогда могут меняться коды, а информация — наращиваться; однако Лотман не учитывал, что и при передаче другому коды часто меняются, а в свете новых контекстов информация еще возрастает, поэтому вряд ли стоит противопоставлять передачи «Я–Он» и «Я–Я».)

Таким образом, в области теории семиотики произошло сближение позиций, метод Лотмана в 1980-х годах приблизился к бахтинскому. Но общие семиотические принципы не охватывают всех сторон мировоззренческих систем, в которых взаимоотношения носили значительно более сложный характер. К сожалению, насколько мне известно, авторы, создавшие труды на тему «Бахтин и Лотман», не касались глубинных основ их мировоззрения и мироощущения, а там различия весьма существенны.

Прежде всего стоит говорить о религиозности Бахтина, неизменной на протяжении всей его жизни, и об атеизме Лотмана, идущем от семейного и общественного воспитания. Бахтин был по-интеллигентски свободным и творческим христианином, далеким от официозности и консервативного традиционализма, он толерантно относился к карнавальным кощунствам, да и сам мог высказывать парадоксальные «кощунственные» мысли вроде представления об Евангелии как карнавале, вскользь брошенного в беседе с В. Н. Турбиным, однако религиозность была основой творческого мировоззрения Бахтина⁹. На ней строилась его этика; понятия греховности, вины, жертвы, искупления, благодати наполняют его труды.

Бесспорно заметно холодное отношение Бахтина к формалистам в течение всех двадцатых годов и не менее холодное отношение формалистов к Бахтину: ведь хвалебную рецензию на его книгу о Достоевском 1929 года написал марксист А. В. Луначарский, а не кто-либо из вождей формализма, как будто бы должных заинтересоваться виртуозным анализом стиля и языка писателя! Конечно, тут могла сыграть роль враждебная книга П. Н. Медведева «Формальный метод в литературоведении», вы-

⁹ См.: Турбин В. Н. Карнавал: Религия, политика, теософия // Бахтинский сборник. Вып. 1. М., 1990. С. 25. За последние годы вышло немало работ о религиозности Бахтина и об ее источниках. Из новейших исследований отмечу: Тамарченко Н. Д. Автор и герой в контексте спора о Богочеловечестве (М. М. Бахтин, Е. Н. Трубецкой и Вл. С. Соловьев) // Дискурс. (Новосибирск). 1998. № 5/6. С. 25—39.

шедшая в 1928 году: формалисты, разумеется, знали, что она создавалась в круге Бахтина, но главное не в этом. «Отчуждение» объясняется прежде всего контрастом мировоззренческих основ: религиозность — атеизм, из чего вытекают и более поздние, спустя сорок лет, упреки Бахтина в пренебрежении формалистами «большого времени», т. е. вечности, невнимании к истории культуры, содержательным и ценностным аспектам искусства и т. д. (однако Бахтин отмечал и достоинства формалистов: заметны «...новые проблемы и новые стороны искусства»¹⁰).

Прохладное отношение Бахтина к появившимся в 1960-х годах отечественным структуралистам и семиотикам — как бы продолжение его неприятия формализма, ибо и у структуралистов он видит имманентное «замыкание в текст», «механические категории», «деперсонализацию» и т. д.¹¹. Подчеркнем еще раз, что Бахтин, видимо, не знал историко-литературных трудов Лотмана, как не знал и эволюции его семиотических концепций. Бахтин объявил семиотико-кибернетический «код» техническим, завершенным, нетворческим, в противовес необъятному, незавершенному контексту, а уже в ранних трудах представителей тартуско-московской школы намечались выходы из «статики» и неизменности, не говоря уже о дальнейшей эволюции метода. (Кстати, Бахтин не прав, заменяя код контекстом, это разные вещи: код — свод правил для передачи информации, а контекст — громадный культурный фон, мир ассоциаций, глубокий и разнообразный до бесконечности.) Учтем, однако, что Бахтин в статье 1970 года «Ответ на вопрос редакции «Нового мира»» выделяет «выдающиеся литературоведческие работы последних лет — Конрада, Лихачева, Лотмана и его школы»¹², но это не мешало ему постоянно подчеркивать свою отдаленность от «Лотмана и его школы»: «Я — не структуралист», — любил повторять ученый.

Соотносясь с религиозными (и антирелигиозными) основами, разными были и философские корни мировоззрения. Молодость Бахтина прошла под знаком неокантианства. Вокруг его старшего друга, философа-профессионала М. И. Кагана в

¹⁰ Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества... С. 372.

¹¹ Там же. С. 352, 372.

¹² Там же. С. 330.

Невеле образовался своеобразный кантовский семинар. Каган учился в 1907—1914 годах на философских факультетах Лейпцига, Берлина, Марбурга, главным образом, у неокантианцев Г. Когена и П. Наторпа, писал диссертацию о «трансцендентальной апперцепции от Декарта до Канта», в период мировой войны 1914—1918 годов оказался как бы интернированным в Германии, а в 1918 году вернулся в родной город Невель, где и познакомился с Бахтиным и организовал кружок по изучению «Критики чистого разума» Канта¹³. Бахтин, помимо штудирования трудов Канта и кантианцев, видимо, много узнал от Кагана о Когене, Наторпе, вообще о марбургской философской школе.

Любопытен странный антибюрократический розыгрыш Бахтина, который присутствует в недавно обнаруженной в Витебске официальной автобиографии ученого 1920 года: «С 1910 по 1912 год находился в Германии, где прослушал 4 семестра Марбургского университета и один семестр в Берлине»¹⁴. Однако, согласно архивным разысканиям дотошных исследователей В. И. Лапуна и Н. А. Панькова, Бахтин в 1912 году закончил лишь 4-й класс Одесской гимназии¹⁵, так что вся витебская автобиография, включающая, помимо других искажений дат, совсем уж фантастическое сообщение об учебе в германских университетах, является как бы контаминацией некоторых действительных фактов из жизни Бахтина с данными о философских занятиях в Германии его старшего друга М. И. Кагана. Бахтин устроил, как говорят специалисты по поэтике, «реализацию метафоры»: духовное восприятие кантианства он превратил в материальное обучение в Марбурге и Берлине. Но по сути Бахтин не очень «сочинял»: в беседах с В. Д. Дувакиным он говорил об очень раннем знакомстве с «Критикой чистого разума» Канта, чуть ли не с тринадцатилетнего возраста; в тех же устных высказываниях он подчер-

¹³ Память. Вып. 4. М., 1979; Париж, 1981. С. 255, 273.

¹⁴ Лисов А. Г., Трусова Е. Г. Реплика по поводу автобиографического мифотворчества М. М. Бахтина // Диалог. Карнавал. Хронотоп. 1996. № 3. С. 165.

¹⁵ Лапун В. И. К «Биографии М. М. Бахтина» // Диалог. Карнавал. Хронотоп. 1993. № 1. С. 70—71; Паньков Н. А. Загадки раннего периода: (Еще несколько штрихов к «Биографии М. М. Бахтина») // Там же. С. 80.

кивал «огромное влияние», которое оказала на него Марбургская школа, особенно Г. Коген¹⁶.

В параллель к кружку Кагана, Бахтин в Невеле читал философские лекции для местной интеллигенции: «...главное внимание я в своих лекциях обращал на Канта и кантианство. Я это считал центральным в философии. Неокантианство»¹⁷. С одной из самых интересующихся слушательниц, будущей великой пианисткой М. В. Юдиной Бахтин вел специальные «неокантианские» беседы¹⁸. В конце двадцатых годов уже в Ленинграде ученый тоже читал «кантианские лекции»¹⁹.

На неокантианские принципы Бахтин опирался, разрабатывая нравственные проблемы и доказывая первенствующую роль этики в философии (заметим, что он в письме от конца 1921 года просит Кагана добыть в Москве книгу Г. Когена об этике Канта²⁰), выдвигая понятия «единство», «поступок», «ответственность» и др.; выдвигая также на первый план индивидуально-персонологические аспекты, соотношение субъектно-объектных сфер в художественных произведениях, познавательно-новаторскую роль вопросов-ответов и т. д. Лотман считал, что, в отличие от представителей тартуско-московской школы, пользующихся понятием пространства как универсального языка, в формах которого выражается и время («бежит»), Бахтин в термине «хронотоп» уравнивает пространство и время, хотя к самому хронологу Лотман отнесся весьма положительно (см. об этом ниже).

В письме к Л. Л. Фиалковой от 15 июля 1983 г. Лотман так формулирует различие: «...в современной семиотике существу-

¹⁶ См.: Беседы В. Д. Дувакина с М. М. Бахтиным. М., 1996. С. 35—36, 39—40. На тему «Бахтин и неокантианство» сейчас существует уже обширная литература (труды К. Кларк и М. Холквиста, Н. Перлиной, В. Ляпунова и др.). См. ее обзор: *Николаев Н. И.* Невельская школа философии (М. Бахтин, М. Каган, Л. Пумпянский в 1918—1925 годах): По материалам архива Л. Пумпянского // М. Бахтин и философская культура XX века (Проблемы бахтинологии). Вып. 1. Ч. 2. СПб., 1991. С. 33; эта статья важна новыми материалами и оценками философской жизни «невельцев»; см. также обзор и публикацию Н. И. Николаева в сборнике «М. М. Бахтин как философ». М., 1992. С. 221—252.

¹⁷ Беседы... С. 230.

¹⁸ Там же. С. 237—238.

¹⁹ Там же. С. 145.

²⁰ Память. Вып. 4... С. 262.

ет два совершенно различных понимания пространства <...>. Бахтин идет от идей физики (теория относительности) и рассматривает пространство и время как явления одного ряда (в перспективе это восходит к Канту). Мы же (полагаю, что первыми стали исследовать эту проблему С. Неклюдов и я) исходим из математического (топологического) понятия пространства: пространством в этом смысле называется множество объектов (точек), между которыми существует отношение непрерывности <...>. С этой точки зрения пространство — универсальный язык моделирования. Заметьте, что мы в бытовой речи выражаем временные категории на языке пространства (*предыдущий, последующий, время бежит, время остановилось и пр.*), а пространственные понятия на временном языке выразить невозможно»²¹.

В последние годы ряд ученых заговорил о преодолении Бахтиным принципов неокантианства в середине двадцатых годов: «...он значительно перерос свое неокантианское происхождение» (Г. С. Морсон)²²; «М. Бахтин в своем философствовании, бесспорно, перерастает границы системы Г. Когена» (Н. И. Николаев)²³; «...философа, критически пересматривающего свое юношеское неокантианство» (К. Эмерсон)²⁴; такое преодоление считал «естественным» В. В. Кожин²⁵. Наиболее обстоятельно рассмотрел сходство и отличие немецкого и русского философов В. Л. Махлин в докладе «Г. Коген и М. Бахтин», прочитанном 28 января 1994 года на Теоретическом семинаре Бахтинской научно-педагогической лаборатории при Московском педагогическом государственном университете. Общий вывод автора доклада относительно отличий таков: «...проблема «преодоления ме-

²¹ Лотман Ю. М. Письма 1940—1993. М., 1997 (далее: Письма). С. 270. «С. Неклюдов и я» — имеются в виду статьи этих авторов: «Тезисы докладов во второй летней школе по вторичным моделирующим системам». Тарту, 1966.

²² Morson G. S. The Bakhtin Industry // Slavic and East European Journal, 1986. Vol. 30, № 1. P. 86 (цит. по русскому переводу этой цитаты: Диалог. Карнавал. Хронотоп. 1994. № 1. С. 65; перевод неточен).

²³ Николаев Н. И. Невельская школа... С. 33.

²⁴ Эмерсон К. Американские философы в свете изучения Бахтина // Диалог. Карнавал. Хронотоп. 1993. № 2—3. С. 7.

²⁵ Кожин В. В. Бахтин в живом диалоге // Беседы... С. 277.

тафизики» у Когена и Бахтина решалась в разных направлениях: Коген пытался найти опору в «чистой» культуре и «чистом» познании; Бахтин хочет укоренить культуру в «нравственной реальности»²⁶. С этим нельзя не согласиться, но все-таки, что и подчеркивает большинство исследователей, Бахтин остался кантианцем до конца своих дней.

Зато к гегельянству у Бахтина никогда не было симпатии. Философский метод Гегеля определяется Бахтиным как монологический и абстрагирующий, диалектика воспринимается как редукция диалога: в диалектике уничтожаются эмоционально-личностные, индивидуальные черты, «вылущиваются абстрактные понятия и суждения, все втискивается в одно абстрактное сознание»²⁷. О нелюбви Бахтина к Гегелю и его диалектике интересно рассказал С. Г. Бочаров в мемуарно-аналитической статье, где привел ярко парадоксальное высказывание кантианца: «Диалектика гегелевского типа — ведь это обман. Тезис не знает, что его снимет антитезис, а дурак-синтез не знает, что в нем снято»²⁸.

Конечно, гегелевский историзм, рассмотрение как крупных образований типа литературных жанров, так и конкретных произведений на историческом фоне не мог не затронуть метода Бахтина, но все-таки ученый предпочитал крупномасштабные категории, существующие в библейском «большом времени». И недаром оппоненты находили у Бахтина исторические неточности. В этом плане Лотман сравнивал его с Ю. Тыняновым как литературоведом: «В научном отношении Тынянов, в определенном смысле, подобен Бахтину: конкретные идеи часто ложные, а концепции предвзятые <...>. Но — общая направленность исключительно плодотворна и оплодотворяюща» (Письма. С. 331). Это — цитата из письма Лотмана к автору данной статьи, письма 1984 года, а в 1990 году он повторил эту мысль в печатной статье о Тютчеве: «Подобно тому, как теоретическая идея, лежащая в основе книги Бахтина о Рабле, глубока и плодотворна,

²⁶ Диалог. Карнавал. Хронотоп. 1994. № 4. С. 126. В этом номере (С. 124—126) содержится подробное изложение доклада В. Л. Махлина.

²⁷ Бахтин М. М. Эстетика... С. 352, 364.

²⁸ Бочаров С. Г. Об одном разговоре и вокруг него // Новое литературное обозрение. 1993. № 2. С. 72, 88.

несмотря на очевидную уязвимость историко-литературной ее реализации применительно к Рабле, смысл статьи Тынянова «Пушкин и Тютчев» — совсем не в исследовании отношений Пушкина и Тютчева»²⁹. Разумеется, теоретичность, крупномасштабность мышления Бахтина совсем не гегелевская, а «библейская» и кантианская.

Лотман, наоборот, вырос в университетской научной среде Ленинграда тридцатых–сороковых годов, его учителя опирались на гегелевский и вытекавший из него раннемарксистский метод, потому пафос историзма и диалектики проник в самые основы мировоззрения молодого ученого; на диалектике будут строиться потом и многие теоретические положения лотмановского структурализма.

Русская общественная и философская мысль XIX века, которая тоже активно воспитывала Лотмана, была сама густо замешана на Гегеле и почти не заметила Канта. Но XX век несколько сместил пропорции, и если не поубавилось гегелистов, то явно прибавилось кантианцев. М. Ю. Лотман склонен зачислить в этот лагерь и отца: «Ю. М. Лотман был кантианцем»³⁰. Или, в последнем варианте: «...в работе 1989 г. отказ от гегелевской традиции и ориентация на Лейбница и Канта получит теоретическое осмысление» — и следует ссыла на статью Лотмана «Культура как субъект и сама себе объект»³¹. Подобные мнения — сильное преувеличение. Нигде Лотман не отказывается от Гегеля; в упомянутой его статье он говорит, что герменевтические проблемы, смещающие интерес от отражения «духа» в тексте на отражение текста в аудитории (т. е. на интерпретацию текста воспринимающими), восходят к Канту, но далее от «великих основоположников нового европейского мышления — Гегеля и Канта» Лотман переходит к обретающему актуальность, как представлялось ученому, Лейбницу³². То, что Лотман заинтересовался по существу

²⁹ Лотман Ю. М. Поэтический мир Тютчева // Тютчевский сборник. Таллинн, 1990. С. 109.

³⁰ Лотман М. Ю. За текстом: заметки о философском фоне тартуской семиотики (Статья первая) // Лотм. сб. 1. С. 216.

³¹ Лотман М. Ю. Послесловие: Структуральная поэтика и ее место в наследии Ю. М. Лотмана // Лотман Ю. М. Об искусстве. СПб., 1998. С. 678.

³² Лотман Ю. М. Избранные статьи. Т. III. Таллинн, 1993. С. 368—369.

мистическими монадами Лейбница, которые он переводит в «семиотико-информационный» план, чрезвычайно важно (жаль, что эта проблематика не получила дальнейшей разработки), но это совсем не кантианство.

Сильно преувеличено «кантианство» отца и в статье М. Ю. Лотмана «За текстом...», хотя и конкретный пример с семиотическим «текстом» (размывание антиномии субъекта и объекта) и констатация, что в работах Лотмана последних лет содержатся принципиальные отсылки к сочинениям и идеям Канта, — бесспорно, справедливы. Но все-таки в большинстве случаев ссылки — или объективная констатация исторических фактов (например, в работах о Карамзине теме «Карамзин и Кант» уделено немало страниц), или проведение границ между кантианцами и собою; выше отмечалось различие в понимании пространства и времени у Бахтина и тартуанцев; в книге «Культура и взрыв» Лотман кантовской трансцендентной ноуменальной реальности противопоставляет сложное семиотическое пространство, где происходят прорывы в трансцендентные области³³; в книге «Внутри мыслящих миров» Лотман представления Канта о предсказуемости массовых явлений корректирует идеей И. Пригожина об «индивидуально» непредсказуемом поведении больших систем при бифуркациях³⁴. Далек Лотман, как уже говорилось, и от восходящего к Канту бахтинского уравнивания пространства и времени.

Вообще надо быть осторожным при анализе влияний и при дарении мыслителям определений с суффиксами «-ист» и «-анец» / «-янец». М. Ю. Лотман законно удивляется, что некто Р.Ветик делает Ю. М. Лотмана последователем Платона. Но если известный марбургский неокантианец П. Наторп находил тесные связи Платона с Кантом и марбургской школой неокантианства, то почему бы истоки и лотмановского метода не возвести к Платону?! В принципе у любого крупного ученого можно найти какие-то схождения со всяким знаменитым предшественником, отдаленным хотя бы на несколько веков. Но все дело в степени влияния и в пропорциях.

³³ Лотман Ю. М. Культура и взрыв. М., 1992. С. 42—43.

³⁴ Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров: Человек — текст — семиосфера — история. М., 1996. С. 326—327.

Если оба ученых имеют разные истоки своей тяги к генерализирующим обобщениям (Бахтин — библейскую и кантианскую онтологию, Лотман — Гегеля и западных семиотиков и структуралистов), то черты самого метода крупномасштабных выводов из анализа большого конкретного материала у них очень сходны. Характерно, что целый ряд крупных открытий Бахтина Лотман использовал в своем творчестве, плодотворно их развивая. Например, на бахтинские понятия хронотопа и романного слова он опирался при анализе сюжетов: «Введение М. М. Бахтиным понятия хронотопа существенно продвинуло изучение жанровой типологии романа <...>. Если к этому добавить особенности романного слова, глубоко проанализированные М. М. Бахтиным и открывающие почти неограниченные возможности смыслового насыщения, то делается понятным ощущение сюжетной безграничности, которое вызывает роман у читателя и исследователя»³⁵. В. С. Вахрушев в интересной рецензии на книгу Лотмана «Внутри мыслящих миров» конспективно отмечает, что автор «часто заходит на «бахтинскую территорию», когда рассуждает о Достоевском, о «неточном» слове писателя, о «сложном многоголосии гетерогенных языков культуры» (с. 148), о дискретности как «законе всех диалогических систем» (с. 194) и т. д.» (см. «Вопросы литературы», 1998, № 6). Сам Лотман в упоминавшейся немецкой статье отметил, что его идея о необходимости для культуры по крайней мере двух семиотических языков прямо вытекает из бахтинского диалога (см. с. 37).

Можно немало найти то общих, то более частных аспектов методов двух ученых, а также категорий их мировоззрения, в которых есть сходные элементы и структурные каркасы. Например, плодотворно было бы рассмотреть присутствующую у обоих противопоставленность субстанции и функциональности. Недавно польский культуролог Богуслав Жилко в добротной книге о Бахтине интересно соотнес «жанр» и «большое время» ученого с понятием «символа» у Лотмана³⁶. А сам Лотман в книге «Культура и взрыв» наметил важную проблему: предложил

³⁵ Лотман Ю. М. Сюжетное пространство русского романа XIX столетия // Лотман Ю. М. В школе поэтического слова: Пушкин. Лермонтов. Гоголь. М., 1988. С. 325—326, 330.

³⁶ Żyłko B. Michał Bachtin. Gdańsk, 1994. S. 182—184.

рассмотреть метод О. М. Фрейденберг и ее исследования жанров и сюжетов в соотношении с соответствующими областями у Бахтина³⁷. Сюда было бы полезно подключить и работы на эти темы самого Лотмана.

Не все параллели отличаются полным сходством. В отдельных случаях Лотман вносил уточнения; см., например, его замечание по поводу применения Бахтиным оппозиции «монолог — диалог» лишь к родовому противопоставлению «поэзия — проза», в то время как конкретно эта оппозиция была не столько между родами, сколько в методах: например, многоязычное барокко — и монологический романтизм и в стихах, и в прозе³⁸.

В чем, конечно, наблюдается полное схождение двух ученых, это — в основах этики. И в теоретическом плане, и в практическом, т. е. в смысле жизненного поведения. Христианские нравственные императивы вели Бахтина в его многотрудной жизни, он никогда им не изменил. Лотман, слава Богу, не испытал арестов и ссылок, но четыре года самого тяжелого пекла великой войны да еще обильные притеснения и угрозы потом — тоже значат немало. И тоже он ни разу не поступился высокими (по сути, христианскими) нравственными принципами. И главное — глубокий демократизм обоих ученых, проявлявшийся и в быту, и в творческих идеях (ведь все аспекты диалога и карнавала основаны на презумпции равенства участников; лотмановская культурология тоже демократична). И все их творческие искания глубоко честны и совестливы, они тесно связаны с «правдой-истиной» и «правдой-справедливостью», говоря терминами Н. К. Михайловского.

В концовке немецкой статьи о Бахтине Лотман говорит именно об этих чертах применительно к анализируемому автору: «Все, кто имел счастье знать М. М. Бахтина лично, были убеждены, что он не только гениальный исследователь, но также ученый высокого человеческого уровня, с выдающейся профессиональной этикой и величайшей честностью в поисках истины. Поэтому мы должны говорить не только о том, как мы смотрим на Бахтина, но также и о том, как он смотрит на нас. Я желал бы,

³⁷ Лотман Ю. М. Культура и взрыв... С. 217—218.

³⁸ Лотман Ю. М. Роман в стихах Пушкина «Евгений Онегин»: Спецкурс. Тарту, 1975. С. 33.

чтобы мы в нашем научном стремлении были бы достойными его» (С. 40). Но точно такими же словами можно охарактеризовать и самого Лотмана.

Лотман «имел счастье знать М. М. Бахтина лично». Как только семья Бахтина получила возможность жить не в Саранске, а близ Москвы (с конца 1969 г. — семь месяцев лечения в Кунцевской больнице, с мая 1970-го — постоянное жилье в доме для престарелых в Гривне), Лотман через московских друзей смог лично познакомиться со старшим коллегой по науке. Первое знакомство, очевидно, состоялось в конце июля или начале августа 1970 г., когда Лотман был в Москве. Визит оставил у тартунца тяжелое впечатление из-за бытового неустройства великого ученого: ведь первые месяцы пребывания в доме для престарелых Бахтины имели комнату в общежитии; длинный коридор со спующим народом, «удобства» в конце этого коридора мешали нормальной творческой жизни, хотя терпеливые Бахтины, привыкшие и не к таким трудностям, не жаловались.

Лотман, вернувшись в Эстонию, сразу же занялся реализацией пришедшей ему в голову замечательной идеи: пригласить Бахтина на постоянное жительство в Тарту. В предшествующие годы кафедра русской литературы уже пыталась обогатиться двумя выдающимися учеными, Ю. Г. Оксманом и В. Д. Днепровым-Резником, но неудачно. Думалось, что с Бахтиным может получиться. Лотман писал Б. А. Успенскому 29 сентября 1970 г.:

«Есть серьезное дело. Мы думали-думали и решили, что грех нам, что Бахтин *так* живет. Мы прикинули, что для того, чтобы, если он согласится, снять ему с женой хорошую комнату в Тарту и организовать медицинское и бытовое обслуживание, нужно:

а) Инициатива и желание — это у нас есть. И, главное, чувство, что иначе стыдно.

б) Деньги. Это, как мы прикинули, тоже потянем. Хотя очень желательно было бы, если бы несколько москвичей присоединились, добровольно отяготив себя сбором 10 р. в месяц.

в) Его согласие и желание. Вот по этому поводу я и обращаюсь к Вам. Нельзя ли каким-либо образом узнать *его* отношение к этому проекту? Хорошо бы не очень откладывая — комнату мы уже присмотрели, но в Тарту с этим очень трудно — может уплыть» (Письма. С. 512—513).

Но, увы, Бахтины отказались переехать в Тарту. Может быть, уже виднелась московская квартира (В. Н. Турбин через свою

студентку-семинаристку, дочь могущественного председателя КГБ Ю. В. Андропова, смог добиться вначале поселения Бахтиных в Подмосковье, а потом и городской квартиры для них), может быть, не хотелось уезжать далеко от Москвы, но Бахтины отказались от эстонской жизни.

В дальнейшем материальная помощь Бахтиным ограничивалась неперIODическими денежными сборами, которые организовывал В. Н. Турбин. Летом 1971 г. проводился один из таких сборов, зафиксированный в опубликованном письме ко мне Лотмана от сентября 1971 г.: я собирал деньги в Питере, а через свою дочь Татьяну, уезжавшую тогда в Эстонию и Псков, я бросил клич тартуанцам и псковичам, чтобы собрать деньги и договориться о суммах и периодичности дальнейших сборов, но у Лотмана, как всегда к концу лета, не было ни копейки, и он присоединился к компании лишь осенью (см. Письма. С. 235).

Осенью же 1971 г. Лотман подготавливал научную конференцию к 150-летию Ф. М. Достоевского и в письме к Б. А. Успенскому от 15 сентября приглашал принять в ней участие адресата, Вяч. Вс. Иванова и В. Н. Топорова, Лотману хотелось, чтобы Иванов подготовил «доклад о Бахтине и Достоевском или любой другой» (Письма. С. 522). Кажется, тот не приезжал с таким докладом, но когда Лотман стал готовить специальный, шестой, том «Трудов по знаковым системам (Семиотика)» «в честь Михаила Михайловича Бахтина (к 75-летию со дня рождения)», как потом было объявлено на титульном листе (том вышел лишь в 1973 г.), то Вяч. Вс. Иванов дал в сборник основополагающую статью «Значение идей М. М. Бахтина о знаке, высказывании и диалоге для современной семиотики». Лотман назвал эту статью «очень хорошей» в письме к В. Н. Топорову от 4 декабря 1972 г. (Письма. С. 682).

Продолжались и личные посещения Бахтина. 12 февраля 1973 г. Лотман и Б. А. Успенский были на московской квартире ученого. Ф. С. Сонкина, ведшая тогда подробный дневник, изложила в письме ко мне от 19 мая 1998 г. содержание своей записи рассказа Лотмана об этом визите: «Старенький благостный Бахтин сидит, прикованный к своему креслу (лишенному ноги было трудно вставать. — Б. Е.), хозяйничает какая-то толстая баба (домработница Г. Т. Гревцова. — Б. Е.), на кухне во весь голос ревет репродуктор. Висит объявление: „Профессор Бахтин принимает по таким-то дням и часам“. Юра сокрушался о его судьбе».

Лотману очень хотелось опубликовать в «Трудах по знаковым системам» какую-либо работу Бахтина, тот двумя порциями прислал статью, но потом оказалось, что она может войти в сборник трудов ученого «Вопросы литературы и эстетики» (сборник появился уже посмертно, в 1975 г.). Об этой неудачной истории Лотман сообщает мне в письме от 13 июня 1974 г. (Письма. С. 255). С 1972 г., когда вышло 3-е издание бахтинской книги «Проблемы поэтики Достоевского», материальное положение ученого несколько улучшилось.

Видимо, личные встречи продолжались и в последний год жизни Бахтина. В книгу «Сотворение Карамзина» Лотман включил, наверное, одну из последних услышанных фраз старшего коллеги: «Михаил Михайлович Бахтин за несколько месяцев до своей кончины произнес замечательные слова: «Нет ничего абсолютно мертвого: у каждого смысла будет свой праздник возрождения»»³⁹. Духовное бахтинское наследие начало праздновать свое возрождение еще при жизни ученого, но телесное существование человека, увы, имеет свой четкий предел.

8 марта 1975 г. Лотман получил телеграмму Б. А. Успенского о кончине Бахтина (см. Письма. С. 557). 9 марта он пишет Ф. С. Сонкиной: «Слыхали ли Вы грустную новость о том, что скончался М. М. Бахтин? Говорят, последние дни он очень страдал. Грустно. Он был последним из стариков <...>. На похороны я не поехал — сильно разболелась нога (старость?) и нет никакой возможности расписать лекции» (Письма. С. 372).

В те недели он часто думал о Бахтине; приведу запись его слов из дневника Ф. С. Сонкиной (апрель 1975 г.): «Анабиоз у рыб зимой, когда прекращается биологическое время. Так, вероятно, жил Бахтин последние 25 лет. А окружающим казался мирным, другим. Так человек в тюремном бараке может говорить о портянках, и даже с интересом, похоронив внутри себя совсем другое».

Лотман с ужасом встретил московское известие о передаче архива Бахтина в частные руки (по завещанию ученого, совладельцами его архива назначались С. Г. Бочаров, В. В. Кожинов, Л. С. Мелихова), он очень растревожился, что рукописи могут быть растащены, опубликованы под чужими именами, и настаи-

³⁹ Лотман Ю. М. Сотворение Карамзина. М., 1987. С. 319.

вал в письме к Б. А. Успенскому от 22 марта 1975 г., что должна быть срочно сделана полная опись архива, после чего он передан в Ленинскую библиотеку в Москве или в Публичную в Ленинграде (см. Письма. С. 558—559). История показала, что Лотман ошибался и в своих тревогах, и в пожеланиях: хранители архива проявили аккуратность и заботу ничуть не меньшую, чем потенциальные государственные рукописные отделы библиотек, а при издании современного собрания сочинений Бахтина, подготавливаемого С. Г. Бочаровым и другими сотрудниками ИМЛИ, особенно важно, чтобы архив был непосредственно в руках редакторов.

4 апреля 1975 г. в Литературном музее Москвы состоялся вечер памяти Бахтина, в котором участвовал и Лотман. Опять процитирую описание вечера в дневнике Ф. С. Сонкиной, любезно сообщившей его мне: «Разумеется, маленький зал переполнен. Выступает Турбин, очень сдержанно и вполне прогрессивно. Славословит Бахтина какой-то приезжий коллега Бахтина по Саранску. Но главным, и так предполагалось, было выступление Кожина. Он построил свое выступление на том, что наука имеет нравственный характер и должна учить нравственности, как учат труды Бахтина, Чижевского, Ухтомского. Как будто бы завершающим должен был стать доклад В. В. Иванова. Остановившись на плодотворности основных работ покойного, В. В. назвал его великим ученым XX века. И после него, совершенно неожиданно для присутствующих, вышел Ю. М. Его выступление было завершающим, и были даже попытки аплодисментов; думаю, потому, что он размышлял и не давал ни оценок, ни сравнений с другими. Он начал со своего известного положения о том, что после смерти меняется представление о творчестве ученого так же, как изменилось суждение об «Онегине» после смерти Пушкина, как меняются портреты усопших... Он думает, что пока еще рано и трудно сказать, что работы Бахтина бессмертны, но надо, чтобы живущие не измельчили его наследие в бесконечных спорах, а содействовали своим единством пониманию главных идей Бахтина».

ВОКРУГ БАХТИНА

СЛОВО О М. М. БАХТИНЕ

Мировоззрение и литературоведческий метод М. М. Бахтина тесно связаны с русской и европейской культурой и в то же время — как у всякого большого таланта — глубоко оригинальны.

В истории русской гуманитарной культуры можно схематично наметить две линии, противоположные по отношению субъекта к миру и поэтому заметно соотнесенные не только с мировоззрением, но и с характером субъекта: одна линия, идущая от протопопа Аввакума к славянофилам и Л. Толстому, где главенствует твердая убежденность в единственности и всеобъемлемости, божественной всепроникаемости утверждаемой истины и в том, что именно он, данный субъект, обладает правами на знание всех критериев истины и всех отклонений от правильного пути; и вторая линия, которая зародилась, если не ошибаюсь, в демократическом сознании XVIII века, в журналах Новикова, заметно повлияла на Пушкина, во второй половине XIX века укрепилась в мировоззрении демократических писателей типа Короленко и Чехова и оказала мощное воздействие на академическую гуманитарную науку: здесь господствовали доверие и ответственный интерес к другому (к другому в любом масштабе: к человеку, к социуму, к нации, к культуре), к другому, как непохожему, своеобразному и имеющему право на это своеобразие. (Со свойственной ему парадоксальностью Б. Шоу хорошо сформулировал сущность последнего принципа, переделав известную просветительскую формулу: «Не желай ближнему того, чего бы ты не хотел, чтобы сделали с тобой» на еще более толерантную: «Не желай ближнему того, чего бы ты хотел, чтобы сделали с тобою, ибо у ближнего может быть свой вкус»; следует, кстати, заметить, что вторая линия была особенно сильной в западноевропейской культуре XIX — нач. XX вв.).

Обе линии в «чистом» виде содержали опасные тенденции разных планов и степеней (например, в первой могли преобладать религиозный фанатизм, нормативность, бесконтрольное узурпаторство, а во второй — безыдейный эмпиризм и всеядность), поэтому, как правило, чистых крайностей в реальности почти не встречалось; просто можно говорить о преобладании в творчестве какого-либо гуманитария одной или другой тенденций.

Мне представляется, что Бахтин — один из тех мыслителей XX века, кто особенно ярко отобразил вторую тенденцию и тем самым явился наследником европейской и русской классической, т. е. девятнадцативечной, академической традиции. Однако оригинальное и широкое разветвление главенствующего принципа Бахтина, амбивалентности в самых различных применениях (ведь и диалогичность у Достоевского, и полифонический роман, и все контрастные оппозиционные пары в книге о Рабле, и проблемы «чужого слова» — это все ипостаси амбивалентности), такое глубокое и широкое распространение амбивалентности не могло бы осуществиться в XIX веке при всей его диалектичности, здесь Бахтин оказывается законным современником XX века, ибо его главенствующий принцип тесно связан с теорией относительности, с дополнительностью Бора, со знаменитой теоремой Геделя (разумеется, не в физико-математических аспектах этих явлений, а в их философских интерпретациях). И уж совсем двадцативечным «западником» выступает Бахтин в явном предпочтении функциональности традиционным предметам, в явном внимании к семиотическим проблемам искусства и жизни. Впрочем, замечу в скобках, здесь возможна и традиция философского средневековья, хорошо знакомая Бахтину, т. к. там проблемы семиотики и чистой функциональности занимали существенное место. Эти проблемы — традиции и новаторство Бахтина — чрезвычайно интересны, многослойны и — нужно смело сказать — амбивалентны. Иначе говоря, на уровне метода создается амбивалентность амбивалентности.

Если бы только одни эти методологические сферы составляли сущность мировоззрения Бахтина, то уже сама оригинальная и виртуозная разработка их, помноженная на изумительную эрудицию, давала бы автору почетное место в первых рядах гуманитариев. Но Бахтин был неразрывно связан и с той синтетической культурой дореволюционной России, которую можно условно назвать интеллигентской. Эта культура была лишена крайностей отмеченных двух тенденций, ибо от первой брала целостность и

«глобальность» мировоззрения, твердый фундамент идейной веры, а от второй — антинормативный историзм и диалектическую осторожность. Именно в этой культуре следует искать истоки не просто глобальной, а прямо космической масштабности и целостности мировоззрения Бахтина и — что особенно хочется подчеркнуть — истоки его стремлений к социально-идеологическому и предметному наполнению, так сказать, «бесплотных» связей и функций. Именно отсюда вытекают (иногда несколько неожиданно) такие темы статей и книг Бахтина, как телеология, аксиология, семантика. Не следует модернизировать или улучшать метод Бахтина, наоборот, следует прямо сказать, что далеко не всегда Бахтину удавалось свободно и безболезненно свести различные аспекты в гармоническое целое: иногда заметна драматическая напряженность стыков и интерпретаций. Но если учесть, что, например, аксиологическая, ценностная сущность художественного произведения или связь семантики и знака и ныне остаются сложнейшими и неразработанными проблемами, то придется удивляться не тому, до чего «не дошел» Бахтин, а его поистине гениальным предвидениями многих открытий и настоящим открытиям в различных областях гуманитарных наук, о чем хорошо и подробно написал Вяч. Вс. Иванов в статье «Значение идей Бахтина о знаке, высказывании и диалоге для современной семиотики» (Труды по знаковым системам. Вып. VI. Тарту, 1973).

Однако как личность Бахтин тяготеет все-таки ко второй культурной тенденции, к толерантной позиции объективного наблюдателя (и в жизни, и в науке). Мне ярко запомнился эпизод примерно 5-летней давности. В квартирке Бахтина шла неторопливая беседа гостей-литературоведов (хозяин, как обычно, предпочитал слушать). И вдруг неожиданно пришли, извинившись за отсутствие предварительной договоренности (у Бахтина не было телефона), два корреспондента польской печати и начали оживленно интервьюировать Михаила Михайловича. Бахтин мучительно улыбался, просил пощады, обещал в ближайшие дни прислать письменные ответы, но газетчики были непреклонны, быстро разложили магнитофонные принадлежности, сунули Бахтину, чуть ли не в рот, микрофон и завалили его вопросами, на которые он медленно, устало и отрешенно, и лаконично отвечал. В мире газетных корреспондентов и магнитофонного верчения Бахтин выглядел древним, старомодным, одиноким, растерянным. В этом, наверное, было его величие, и в этом же — амбивалентно — была и его глубокая драма...

ДИАЛОГИЗМ М. М. БАХТИНА НА ФОНЕ НАУЧНОЙ МЫСЛИ 1920-Х ГОДОВ

Христианская культура монотеистична. А по своей религиозной сущности она еще и монологична, ибо всякая религиозная культура устанавливает иерархическую вершинность божественных начал и их незыблемость, непрерываемость. Когда в определенной национальной или эпохальной культуре преобладают «наместники» Бога на земле (императоры, папы, инквизиторы и т. д.), присваивающие себе право определять, что соответствует божественным началам, а что враждебно им, то, конечно, не приходится говорить о широкомасштабных диалогах: любой самостоятельный оттенок мысли может быть истолкован как антиправительственный и церковно кощунственный, и автору следовало ожидать сурового наказания, вплоть до лишения жизни.

Но в закоряченную, казалось бы, систему издавна вторгались протуберанцы общественных и личностных взрывов: то великие деятели Возрождения вносили в мир и в религию свои оригинальные представления, то протестанты, то энциклопедисты XVIII века... Французские революции, наполеоновская эпопея, романтическая стихия, охватившая Европу, сильно расшатали монологизм государственной и клерикальной власти. Романтические ирония и двойничество особенно могуче способствовали укоренению диалогизма и плюрализма при разрушении монологизма и сингуляризма (сингуляризм, в нашей терминологии, не совсем синонимичен своему греческому собрату — монологизму; сингуляризм — антоним плюрализму, так как он является понятием единственного: единственность в противовес множественности; а монологизм, скорее, тяготеет к декларативной, не предполагающей отклика речи; монологизм противоположен диалогизму).

Своеобразная романтическая эстетизация Зла вместе с иронией подтачивала и этические устои, прежде казавшиеся незыблемыми. Поэтому творчество Байрона, Гейне, Лермонтова

воспринималось носителями консервативных принципов как безнравственное.

С другой стороны, реакцией на колоссальные социально-политические сдвиги в Европе явилась фундаментальная философия Гегеля, в которой иерархическая и непоколебимая пирамида понятий и ценностей с вершинной Абсолютной идеей была куда более заметной, чем диалектика, незаконное дитя гегелевской гениальности, порождение противоречивой эпохи. Диалектика вела к признанию динамики, развития мира, к объяснениям сложных парадоксов бытия, а грандиозная конструкция философской иерархической пирамиды, наоборот, замораживала жизнь, способствовала утверждению незыблемых принципов национального, социального, политического толка.

Если бы Николай I был более сведущ в гуманитарных науках, он не относился бы так яростно враждебно к гегелевскому учению, не запрещал бы кафедры и курсы философии в русских университетах: ведь из философии Гегеля можно было логически вывести прочность, вечность самодержавного строя. Отдельные умные и образованные представители русской православной церкви, кстати сказать, хорошо понимали ценность гегелевской системы для национального консерватизма (см., например, труд Н. Гилярова-Платонова «Онтология Гегеля», его студенческую курсовую работу 1846 г., опубликованную посмертно в «Вопросах философии и психологии», 1891 г.).

Радикальная общественная мысль Западной Европы и России, благодаря большему вниманию к гегелевской диалектике, чем к его Абсолютной идее, выдвигала на первый план изменчивость социально-политических и культурных форм, зыбкость и непрочность отживающего мира, иногда даже склонна была преувеличивать субъективизм: в отечественной истории можно указать на элементы личностного «волютаризма» в концепциях Чернышевского и совсем уже «распоясанный» релятивизм у Писарева.

Однако в главных идеологических схемах радикальные мыслители забывали о диалектике и плюрализме и проявляли изрядную долю нормативного сингуляризма; это заметно в декларациях Белинского, Чернышевского, В. Зайцева. Из западных деятелей наиболее ярким представителем антиплюрализма был Карл Маркс. П. Анненков оставил нам замечательную характеристику молодого коммунистического вождя (встреча русского либерала с ним состоялась в Брюсселе в апреле 1846 г.):

«Все его движения были угловаты, но смелы и самонадеянны, все приемы шли наперекор с принятыми обрядами в людских сношениях, но были горды и как-то презрительны, а резкий голос, звучавший, как металл, шел удивительно к радикальным приговорам над лицами и предметами, которые произносил. Маркс уже не говорил иначе, как такими безапелляционными приговорами, над которыми, впрочем, еще царствовала одна, до боли резкая нота, покрывавшая все, что он говорил. Нота выражала твердое убеждение в своем призвании управлять умами, законодательствовать над ними и вести их за собой. Предо мной стояла олицетворенная фигура демократического диктатора...»¹.

Любопытно, что радикальные, даже самые крайние, революционные идеи, долженствующие, казалось бы, утвердить в мировоззренческих методах принципы изменчивости, переходности, диалектики, диалогизма разных систем, наоборот, очень быстро костенели, стагнировали, превращались в незыблемую догму, не терпящую «чужого» взгляда.

Не менее любопытно, что идеологическая терпимость к «чужому», допускаемость этого «чужого» в свои тексты на равных основаниях была возможна, главным образом, в глубоких художественных натурах: Пушкин, Лермонтов, Достоевский, Тургенев... И среди радикальных деятелей наиболее толерантными и плюралистичными были люди с художественными задатками: Герцен, М. Михайлов, частично Добролюбов и Писарев.

Характерно, что в естественно-научных, т. е. в физических, химических, биологических теориях почти весь XIX в. господствовала ньютоновская монологическая и сингулярная картина мира, не допускавшая диалектизма и относительности. Гениальные открытия неевклидовых геометрий (Н. Лобачевский, Я. Больяй), совершенные еще в первой половине века и утверждавшие относительность наших пространственных представлений, не были поняты современниками, не повлияли на философские и эстетические концепции.

Только дарвинизм с его эволюционной динамикой, борьбой видов и особей, созданием новых форм в результате борьбы оказал воздействие на философскую мысль второй полови-

¹ Анненков П. В. Литературные воспоминания. М., 1883. С. 292.

ны XIX в., укореняя диалектику и разрушая незыблемую картину мира.

Но особенно мощное влияние на философию оказали открытия микрочастиц в конце века. Методологические трудности в изучении атомов (главным образом, в связи с возмущающим воздействием прибора на объект) должны были способствовать расшатыванию незыблемого объективизма ньютоновского физического мира, вводить принципы релятивизма. Эмпириокритицизм Р. Авенариуса с лозунгом «Без субъекта нет объекта», парадоксальная теория Э. Маха, рассматривавшего предметы не как причины ощущений, а как следствия, как совокупность ощущений, вызывали своей необычностью бурные споры и физиков, и философов. Этим спорам хотел положить конец В. Ленин, не допуская в качестве истого марксиста никаких трещин в стройном и непоколебимом здании материалистической объективности. В нашумевшей тогда (1909 г.) в социал-демократических кругах книге «Материализм и эмпириокритицизм» Ленин пытался теоретически расправиться с Махом—Авенариусом и со всеми их продолжателями, разгромить субъективные и релятивистские вторжения в «объективность», хотя жизнь чем дальше, тем больше углубляла и укрепляла именно эти аспекты бытия, входившие в научные интерпретации Вселенной (теория относительности А. Эйнштейна, открытие двойственной — корпускулярной и волновой — природы микромира и т. д.). Но практика и теория марксистской мысли остановилась на книге Ленина, не желая поступиться ее принципами, подозрительно всматриваясь в любые мировоззренческие открытия, которые не попадали под ленинские формулировки: так, например, долгие годы почти нелегальной наукой в официальных марксистских кругах считалась семиотика — ведь Ленин разносил в пух и прах теории знаков и символов!

Хранители марксистского сингуляризма болезненно реагировали на малейшие подкопы под фундамент. Приведу два примера из личного опыта. Будучи студентом I курса, я на практических занятиях по истории партии, при разборе книги В. И. Ленина «Материализм и эмпириокритицизм» задал преподавателю вопрос как бы в духе Маха—Авенариуса: «Но можно ли считать, что цвет — абсолютная объективность? Ведь объективно существует лишь определенная длина волны, ее могут зарегистрировать физические приборы. А белизна потолка или

зеленость стены — это уже субъективное восприятие человеческого глаза. Какие-то животные (кажется, куры), видящие мир лишь в черно-белом варианте, не воспримут зеленинку. По-другому увидят цвета дальтоники. И если мы все выйдем из аудитории, можно ли считать, что там останутся белизна и зеленина? Скорее всего, там не будет никаких цветов, останутся лишь световые волны разной длины?» И как на меня обрушился преподаватель! Отбросив цвета, он начал доказывать объективность мира, объективность физических явлений и т. д. Никаких примешиваний субъекта!

Другой пример. Моя знакомая (уже на III курсе) на практических занятиях по политэкономии капитализма осмелилась предложить преподавательнице такой провокационный вопрос: «А когда социалистическое государство торгует на мировом рынке, оно вынуждено становиться вроде как капиталистическим партнером, т. е. подчиниться законам политэкономии капитализма?» Преподавательница и здесь не допустила никакой диалектики, никакого плюрализма, стала защищать незыблемые принципы социалистической политэкономии, от прямого ответа ушла.

Между тем практика марксистского учения демонстрирует обилие субъективистских установок, полезных вождям в данную минуту (недаром вместо традиционного для русской философии онтологизма Ленин и его продолжатели выдвинули на первый план гносеологические аспекты: в теории и практике познания легче было сфальсифицировать объект). Если для европейского социального развития XIX — начала XX вв. еще имело смысл утверждение о первенствующей роли пролетариата, и то с оговорками, то для крестьянской России это было чистой утопией, которая претворилась в жизнь в 1917 году лишь благодаря заманчивым лозунгам мира и свободы и вооружению нескольких тысяч рабочих и матросов. Непрерывные социологические и философские «открытия» последующих лет, уже при Сталине и его продолжателях, также носили абсолютно субъективистский характер: коллективизация, новое учение о языке Н. Марра, разгром генетики и господство лысенковщины, обвинение целых наций в политических грехах, депортация, хрущевская мечта перегнуть Америку и пр. Но это не мешало властям монополизировать все дикие постулаты, лишить противников малейшего права на спор, на диалог.

Аналогичная картина наблюдалась при фашистских режимах Западной Европы. Какими бы варварскими и сумасшедшими ни были идеи Гитлера и его приспешников, они были единственно разрешаемыми в фашистской Германии.

С этим сингуляристским субъективизмом фашистского толка ни в коем случае не следует смешивать мощнейший поток анти-объективистских и антисингуляристских тенденций в естественно-научной и гуманитарной культурах XX века. Колоссальную роль сыграла теория относительности А. Эйнштейна. В 20-е годы окончательно была установлена двойственная природа света (корпускулярная и волновая). Как будто вызовом надвигающейся на мир коричневой чумы явились замечательные «релятивистские» открытия в физике и математике: в 1927 г. Н. Бор постулировал принцип дополнительности при исследовании микрочастиц; в том же году В. Гейзенберг открыл принцип неопределенности; в 1931 г. замечательный австрийский математик К. Гёдель сформулировал свои теоремы, философский смысл которых заключается в доказательстве того, что не может быть создана непротиворечивая система аксиом, где все утверждения были бы разрешимы в замкнутом кругу этих аксиом; необходима хотя бы одна, выходящая за пределы круга, необходим как бы взгляд со стороны (мы еще вспомним теоремы Гёделя в связи с «внеаходимостью» Бахтина!).

Отметим также расшатывание в XX в. старых, якобы, неизблемых сингуляристских теорий в области искусства. В 1911 г. А. Шёнберг выпускает в свет «Учение о гармонии», где классическое учение о тональности, о гегемонии одного звука в данной музыкальной системе заменяется новым, разрушающим эту гегемонию; где стирается качественная разница между консонансом и диссонансом, и диссонанс приобретает права равноправного гармонического члена; подчеркивалась субъективность и историческая подвижность ощущения консонанса и диссонанса. Сам звук оказался синтезом интервалов между звуками (десятилетие спустя у формалистов появятся идеи о представлении персонажа как синтеза, точнее — как точки пересечения определенных функций).

В 10—20-х годах XX столетия широко распространяются новейшие течения в области теории и практики живописи: кубизм, лучизм, экспрессионизм и ряд других «измов»; их объединяет отказ от общепринятых прежде принципов «реализма»;

выдвигаются субъективные лозунги, права художника на личную концепцию мира. В теории искусства расшатывание, впрочем, совершалось и как бы в противоположном направлении: П. Флоренский в замечательном труде «Обратная перспектива» (1919) рассматривал возрожденческую «прямую» перспективу как антропоцентрический, узко личностный принцип (художник рисует мир лишь со своей исходной позиции), а «обратную» — как стремление к объективной, надличностной картине мира (мы сейчас не рассматриваем религиозно-фундаментальные и антисубъективистские причины создания такой теории). В любом случае разрушался монологизм, сингуляризм прежних методов.

Философская мысль XX в. тоже чутко реагировала на социально-политические изменения и на естественно-научные открытия. Она становится динамичнее и диалектичнее, в ней более и более играет роль личностное начало в противоречивых взаимоотношениях с внешним миром, в сложных внутренних конфликтах с собою. Для философии, создававшейся на все более фашизирующемся европейском фоне, т. е. в промежутке между двумя мировыми войнами, значительную ценность представляли системы предшествующих десятилетий, труды З.Фрейда, А. Бергсона, Э. Гуссерля, Н. Бердяева, Л. Шестова. Основатели новых течений в философии: экзистенциализма (Г. Марсель, К. Ясперс и др.) и персонализма (Э. Мунье) — именно в 20-х годах, параллельно с замечательными теориями в физике, с одной стороны, и как бы отвергая фашистские тенденции — с другой, особенно серьезно и диалектично рассматривали связи личности с миром, утверждали ценность личности и сложности ее взаимодействий с «другими».

Но, пожалуй, самой существенной философской предпосылкой к бахтинской теории диалогизма явился труд австрийского (впоследствии израильского) философа М. Бубера «Я и Ты» (1923). Бубер равно отвергает замкнутый индивидуализм и фашистский коллективизм, подавляющий человека общественным приоритетом; исследует сложные диалогические взаимосвязи личности с другим человеком и с миром в целом. Кажется, не удалось обнаружить прямых высказываний Бахтина о его знакомстве с трудами Бубера, но, бесспорно, доказано их знание в кругу близких товарищей Бахтина. Находившиеся в 1923 г. в Петрограде его друзья явно читали уже книгу Бубера. В ответ на какие-то пред-

шествующие разговоры Л. В. Пумпянский пишет 23 марта М. И. Кагану: «М. Buber талантлив»².

У Бахтина же встречаются также места в его работах, которые как бы «конгенитальны» концепциям Бубера. Помимо фундаментальнейшего понятия диалогизма отметим еще как частный пример рассуждения Бахтина в его незавершенной книге, озаглавленной публикатором «Автор и герой в эстетической деятельности», о своеобразном освящении «телесности» в раннем иудаизме и интересное пояснение комментаторов текста С. Аверинцева и С. Бочарова, хорошо осведомленных в жизни и творчестве Бахтина: ««...ср. центральное место понятия «Leiblichkeit» в интерпретации Библии у Мартина Бубера, которого Бахтин отлично знал и ценил»³.

Однако основы теории диалогизма Бахтин создавал в Витебске в начале 20-х годов, когда он, естественно, не мог еще знать книги Бубера «Я и Ты». Главные принципы диалогизма, хотя пока и без обозначения сути данным термином, были заложены в статье Бахтина «К философии поступка» (1921) и в упомянутой книге об авторе и герое (названия не авторские, они даны С. Бочаровым). Видимо, и история науки подвела сразу нескольких ученых к оформлению идей, размыто витающих в воздухе эпохи, и временная обстановка общекультурная, и, более частно, социально-политическая, помогли изрядно.

Современный исследователь В. Махлин справедливо подчеркнул эту одновременность: «В культурно-историческом плане осуществленный двадцатилетним русским мыслителем переход от монологической парадигмы (идеалистическая классика XVII—XIX вв.) к диалогическому видению мира диалогически-синхроничен тому же самому переходу у «официальных» основоположников философии диалога на Западе: к «новому мышлению» у Ф. Розенцвейга, к «пневматологии» Ф. Эбнера, наконец к «диалогике» М. Бубера. Каждый из упомянутых мыслителей, практически независимо друг от друга, положил в основание новой онтологии (примерно между 1917 и 1923 гг.), говоря словами Фердинанда Эбнера, «утверждение Ты в качестве этического требования»,

² Память: Исторический сборник. Вып. 4. М., 1979; Париж, 1981. С. 265.

³ Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 51, 389.

то есть принцип «ты еси», как диалогической альтернативы «всей идеологической культуры нового времени»⁴.

Точно также можно говорить и о создании бахтинских концепций диалогизма на фоне уже открытых явлений и выводов естественных наук и как бы в предвестии готовящихся открытий или параллельно с ними (принцип Бора и Гейзенберга, заявленные в 1927 г., и книга Бахтина о Достоевском, вышедшая в 1929). А замечательное понятие внеаходимости, введенное Бахтиным в тесной связи с диалогизмом, поразительно предвещает будущие теоремы Гёделя.

Бахтин глубоко осознал не только общенаучный, общепhilosophический смысл этих открытий, но и прямой жизненный: в фашизирующемся мире, насаждающем монологизм и сингуляризм, настоящая культура противостоит своей толерантной «относительностью». Выводы Бахтина в книге о Достоевском совершенно не двусмысленны: «Научное сознание современного человека научилось ориентироваться в сложных условиях «вероятностной вселенной», не смущается никакими «неопределенностями», а умеет их учитывать и рассчитывать. Этому сознанию давно уже стал привычен эйнштейновский мир с его множественностью систем отсчета и т. п. Но в области художественного познания продолжают иногда требовать самой грубой, самой примитивной определенности, которая заведомо не может быть истинной»⁵.

Однако в утверждениях всеобщей относительности, диалогической амбивалентности, зыбкости и переходности ощущений и понятий может содержаться опасная тенденция разрушить самые основы человеческой культуры: прочность традиций, этические заповеди и запреты и т. п. «вечные» категории. Недаром ведь широко известно высказывание М. Юдиной, замечательного участника бахтинского кружка, о том, что верующий человек не может держать у себя дома книгу Бахтина о Рабле.

Но ведь и Бахтин был верующим... Несомненно, со своими идеалами и догмами религия в XX в. оказалась существенным противовесом всем вариантам субъективизма и релятивизма.

⁴ Махлин В. А. «Диалогизм» М. М. Бахтина как проблема гуманитарной культуры XX века // Бахтинский сборник-I. М., 1990. С. 116.

⁵ Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1963. С. 361—362.

Однако развитие культуры XX в. с ее глобальностью (если не космоизмом), диалектичностью, плюрализмом способствовало и проникновению в религиозное сознание, в религиозные теории идей отнюдь не монологических: согласительные споры между разными конфессиями, экуменическое движение, идеи о диалогах человека с Богом и т. п. ипостаси антисингуляристского толка делали возможным развитие диалогических принципов в рамках религиозного сознания. Правда, «телесная» акцентированность книги о Рабле оказывалась как бы чужой и даже враждебной традиционному православному аскетизму, но это, скорее, свидетельствует о консерватизме и об отсталости церковной традиции, чем о сути религиозного сознания вообще. Показательно, что православный модернизм (чего стоят одни декларации В. Розанова!) далеко ушел от прежнего аскетизма. В этом отношении развитие в творчестве Бахтина идей карнавализации, иронии, смеха, амбивалентности «верха» и «низа» и других атрибутов народного быта не может быть противопоставлено общим тенденциям религиозного движения, скорее, оно тоже созвучно им.

А незыблемые этические заповеди, фундамент современной культуры Бахтин, отнюдь, не расшатывал. Этический религиозный пафос пронизывает все его работы, начиная с самых ранних. Думается, что враждебный холодок Бахтина по отношению к формалистам, также как и полное их равнодушие к выходу в свет книги Бахтина о Достоевском (казалось бы, своим виртуозным стилистическим и языковым анализом должной быть им близкой), глубинно означает отдаленность, неслиянность религиозного и атеистического сознания.

НЕВЕЛЬСКИЙ КРУЖОК БАХТИНА И ТИПОЛОГИЯ КРУЖКОВ

Относительно замкнутые группы людей, отделявшие себя от остального общества по идеологическим, структурно-пространственным, профессиональным и т. п. признакам, известны с античных времен (например, платоновская школа). Христианский мир создал монастыри и университеты как своеобразные братства, имеющие прочные традиции и ритуалы и противостоящие не только другим, совсем не похожим на них социумам (монастыри — секулярному миру, студенты — филистерам), но и аналогичным, но «чужим» группам (например, соперничество Оксфордского и Кембриджского университетов).

Монастыри и учебные заведения, а также другие пространственные образования (воинские части, клубы, общества, театры, тюрьмы), хотя и создавали некое братство, особенно высоко ставившее взаимопомощь, верность коллективу и его идеалам, все же были достаточно крупными учреждениями, чтобы между всеми их членами существовала тесная дружба.

Исторический опыт показывает, что пространственные и профессиональные объединения, расширяя количество своих членов, ослабляют межличностные связи, несмотря на все лозунговые и мифологические тексты, долженствующие объединять людей (лицей, гвардейский полк, спортивное общество, знаменитый театр и т. д.). К тому же некоторые коллективы, формируемые по пространственным и профессиональным признакам (салоны, клубы и кружки), как бы изначально предполагающие «текучесть кадров», и не ставят целью подружить всех своих членов.

Более спаяны идеологические группы: мировоззренческие связи очень сильны, они значительно сильнее, чем выше отмеченные. Но и здесь расширение состава влечет за собой экстенсификацию отношений. Может быть, лишь политическим группировкам удастся за счет четкой, а иногда и жестко-насильственной организации, увеличивать количество участников без

ослабления межличностных связей. Однако психологические отличия, духовно-душевные индивидуальные структуры даже при мировоззренческом сходстве порождают отграничение личностей, а иногда и исконную невозможность чисто человеческих дружеских связей между членами. Политические партии и группировки не могут обеспечить всеобщую дружбу своих членов. Небольшие же идеологические коллективы могут отличаться не только мировоззренческим, но и относительным психологическим единством: Любомудры, славянофилы, «Могучая кучка», поэты-символисты, футуристы и т. д. Разногласия и ссоры, конечно, возможны и здесь, но они слабеют на фоне связей и общностей в группах. Все они создавались очень узкой группой людей, но затем рост влияния и привлечение в их орбиту новых сотрудников создавали несколько размытые, нечеткие окраины, ослабленно связанные с ядром.

Коренное отличие таких небольших идеологических групп от политических партий заключается в достаточно мощной автономизации, отделении себя от социально-политических движений и идеалов (некоторое исключение здесь являют славянофилы как промежуточное образование между партией и интимным кружком). Если политические партии стремятся активно вторгаться в общественную жизнь, то небольшие идеологические коллективы, которые в России издавна получили название кружков, почти всегда ставят своей целью общественное уединение. Они создаются, подобно ранним христианским общинам, на негативной основе, отталкиваясь от внешнего мира, по тем или иным причинам не устраивавшего членов кружка. Само понятие кружка предполагает ограничение себя окружностью, оградой от остального пространства. Кстати, и небольшие политические группировки, в своей зачаточной стадии весьма далекие от партий (студенческие кружки Московского университета: Сунгурова и Герцена—Огарева; кружок Н. А. Добролюбова в Главном педагогическом институте и т. д.), тоже создавались по принципу замыкания в себе.

Но особенно интенсивен сепаратизм кружков, создававшихся не в социально-политической сфере интересов, а, так сказать, в культурологической: в центре внимания оказывались философия, религия, история, литература, музыка и т. д. При государственном тоталитаризме, при цензурном давлении не только в социально-политической, но и во всех сферах человеческой дея-

тельности, кружки оказывались той крепостью, за стенами которой можно было свободно творить и обсуждать свои творения с ближними.

Наиболее контрастными по отношению к господствующим идеологическим структурам стали идеологические культурологические кружки в советское время. В катакомбы уходили не только церковники, но и светские гуманитарии, желавшие самостоятельно мыслить и творить. А советские органы, несравненно более обильно и глубоко прослеживавшие жизнь частных людей, чем царский режим, крайне нервозно относившиеся к любого рода сепаратизму («Кто не с нами, тот против нас»), обрушивали на вполне невинные и аполитичные кружки всю мощь своих репрессий (ср. судьбу молодого Д. С. Лихачева).

Невельский кружок Бахтина представляет собой одну из первых небольших групп, пытавшихся отъединиться от господствующей идеологии и отличавшихся не только творческими талантами его членов, но и мировоззренческим единством и привязанностью, глубокой и прочной, друг к другу (дружественные отношения, кажется, особенно связывали Бахтина с М. И. Каганом). И, подобно другим несоветским культурологическим кружкам, он с самого начала вызывал идеологический гнев «советских» деятелей, и, если бы он просуществовал в Невеле еще несколько лет, вряд ли его члены уже тогда остались бы на свободе. Но, впрочем, позднее каждый из членов бахтинского кружка испытал тяжелые гонения. А все существовавшие тогда «сепаратные» кружки были разгромлены уже в первом десятилетии советского строя.

Кружки, подобные бахтинскому, были одиноки и в «сходной», как будто бы не чужой интеллигентской среде: например, несомненна чуждость формалистов и бахтинистов, объясняемая целым рядом причин (разное отношение к религии, к христианству, к идеологическому содержанию культуры и т. д.).

**ЛИТЕРАТУРНОЕ
КРАЕВЕДЕНИЕ**

ЖУКОВСКИЙ И ТАРТУ

Жуковский сыграл большую роль в развитии русской литературы. В годы рабства и унижения он воспевал человеческое достоинство и самое высокое звание «человек». Жуковский раскрыл в своих романтических стихах богатый душевный мир человека, разнообразные оттенки настроений и переживаний. Белинский имел основания говорить: «Без Жуковского мы не имели бы Пушкина». И сам Пушкин прекрасно понимал значение Жуковского в истории русской поэзии:

Его стихов пленительная сладость
Пройдет веков завистливую даль.

(«К портрету Жуковского»)

Наиболее значительный период в творчестве Жуковского — второе десятилетие прошлого века, то есть именно те годы, когда он был тесно связан с Тарту. Глубокая и трагическая любовь поэта к Марии Протасовой вдохновляла его творчество, эта же любовь привела его в Дерпт (современный Тарту). Поводом к приезду Жуковского в Эстонию послужило назначение А. Воейкова (мужа сестры М. А. Протасовой, Александры Андреевны) профессором университета и в связи с этим — переезд всей семьи Протасовых в Тарту. Прибыв сюда вслед за Воейковыми и Протасовыми в марте 1815 года, Жуковский провел в Эстонии (с некоторыми перерывами) около трех лет (до января 1818 года) и в дальнейшем неоднократно приезжал сюда.

История любви Жуковского к М. А. Протасовой (1795—1823) важна и интересна потому, что она полнее раскрывает нам внутренний облик поэта, а также потому, что это чувство оказало исключительно сильное влияние на его творчество.

История эта такова. Сводная сестра Жуковского, Екатерина Афанасьевна Протасова, из-за ограниченности в средствах после смерти мужа, пригласила поэта быть домашним учителем ее дочерей (а его племянниц), Марии и Александры, живых и любознательных девочек. Они стали настоящими духовными воспитанницами Жуковского, так как все свои знания и весь свой

поэтический талант он вложил в педагогическую деятельность. Вскоре учитель глубоко полюбил старшую ученицу, Марию Андреевну. Она любила Жуковского не менее глубоко и искренне. Но на их пути к счастью возникли препятствия, и непреодолимые. Е. А. Протасова наотрез отказалась дать свое согласие на брак из-за родственной близости молодых людей (хотя в действительности Жуковский был лишь сводным братом Е. А. Протасовой). Вероятно, категоричность отказа обуславливалась еще и «незавидным» положением Жуковского в глазах его сестры: сын рабыни (как известно, мать Жуковского — пленная турчанка), не занимающий никаких должностей и не имеющий «доходов».

Жуковский пытался разубедить Е. А. Протасову, пытался воздействовать на нее через родственников, знакомых, через официальных лиц, но все было бесполезно. Об отношении Жуковского к этому отказу можно судить по следующему отрывку из его письма к А. П. Киреевской (14 апреля 1814 г.): «И эти люди называют себя христианами... Что это за религия, которая учит предательству и вымораживает из души всякое сострадание! Эти люди, эгоисты под святым именем христиан, смотрят на людей свысока: одним несчастным более или менее в порядке создания! Какое дело! Режь во имя Бога и будь спокоен!»¹.

Тяжелое настроение Жуковского особенно усилилось в 1814 году, когда в семью Протасовых вошел А. Ф. Воейков, мелкий писатель и еще более мелкая личность, принесший впоследствии много горя семье и своими издевательствами ускоривший смерть молодой жены. Жуковский, плохо разбиравшийся в людях, сам познакомил Протасовых с Воейковым, с которым он еще в юношеские годы встречался в литературных кругах. Вскоре хитрый Воейков втерся в доверие к Е. А. Протасовой, попросил руки второй ее дочери, Александры, и получил согласие (вскоре состоялась и свадьба). С этого времени он начал третировать Жуковского и настраивать против него Е. А. Протасову (правда, он обычно активно помогал Жуковскому издавать его сочинения, но, разумеется, надеясь на личную материальную выгоду). Положение Жуковского ста-

¹ Русская старина. 1883. II. С. 435.

ло невыносимым: «У Воейкова заболела голова — его положили в кабинете; сами (т.е. Е. А. Протасова — Б. Е.) подкладывали ему под ноги, под голову подушки... Я посматривал исподлобья, не найду ли где в углу христианской любви, внушающей сожаление, пощаду, кротость. Нет! Одно холодное жестокосердие в монашеской рясе с кровавою надписью на лбу *должность* (выправленное весьма неискусно из слова *суеверие*) сидело против меня и страшно сверкало на меня глазами»².

Жуковский был вынужден покинуть село Муратово, где жила семья Протасовых. С другой стороны, жизнь «без Маши» для него была не менее невыносимой. Насильственные меры (увоз М. А. Протасовой, тайный брак и т.п.) были ему чужды. Тогда он решил переломить свое чувство и объявить, что не будет больше добиваться руки Марии Андреевны. Он приносил эту жертву ради права быть вместе с ней, пользоваться положением близкого родственника, помогать ей советом. Е. А. Протасова вела себя настороженно, но согласилась. В это время Воейков добился через Жуковского и его петербургских друзей места профессора Тартуского университета, и вся семья переехала в Тарту. Е. А. Протасова разрешила следовать за ними и Жуковскому. Таким образом, 16 марта 1815 года он впервые приехал в университетский город Эстонии, тогдашней Эстляндской губернии.

Мучимый любовью и своим двойственным положением, Жуковский опять делает энергичные попытки добиться разрешения на брак (вплоть до просьбы к А. Тургеневу, чтобы тот уговорил царицу оказать воздействие на Е. А. Протасову). И опять его ждет отказ, и опять он вынужден покинуть семью и уехать из Тарту. Настроение его, отношение к нему со стороны Е. А. Протасовой и Воейкова очень полно охарактеризованы в дневнике Жуковского, относящемся к этому периоду. Снова он вынужден заявить об отказе от руки Марии Андреевны.

А в это время Воейков, будучи единственным мужчиной в семье, распоясывался все больше и больше. Его пьянство, брань, грубые издевательства довели Марию Андреевну до чахотки. И, тем не менее, его положение в семье было «освящено» религией, поэтому Е. А. Протасова предпочитала в данном случае

² Русская старина. 1883. II. С. 433—434.

молчать и терпеть, а честнейшего и благороднейшего Жуковского, который требовал «противозаконного», она не гнушалась гнать из дому.

В конце 1816 года домашний врач семьи Протасовых профессор Тартуского университета Мойер (впоследствии учитель Н. И. Пирогова) сделал предложение Марии Андреевне. Та, желая избавить себя и мать от возмутительных выходок Воейкова, решила пожертвовать собой, пожертвовать последней надеждой на возможность счастья с Жуковским и согласилась на брак с Мойером. Е. А. Протасова также была довольна предложением. Жуковский был потрясен этим известием. Тут уже не оставалось ни капли надежды, все рушилось окончательно. Но он имел достаточно мужества, чтобы и в этом случае переломить себя, и после мучительных переживаний дал и свое согласие на брак Марии Андреевны. О своих переживаниях он откровенно писал А. П. Киреевской (19 февраля 1816 г.): «Всякий раз, когда я бывал с Мойером один, мне было грустно, но не о себе, а о Маше! все приходила в голову мысль, что, будучи с ним, она не будет иметь всего и может жалеть о прошедшем! И все, что меня убеждало в противном, меня радовало!.. Кажись бы хорошо, ан нет! во мне есть другой человек, которому бывает больно, когда он заметит привязанность Маши к Мойеру. Этот человек (сколько я заметил) бурлит больше к вечеру, и думаю, что он живет в желудке!! Но он связан крепкими кандалами и осужден умереть с голоду!!»³.

Мойер был умный, волевой, порядочный человек, Мария Андреевна поистине отдыхала в новой семье после воейковского ада, но полного душевного покоя у нее все же не было. По ее письмам к Жуковскому видно, что она любила его по-прежнему, старалась подавить в себе это чувство, но это ей не удавалось: «Если в моих эпистолах тебе что не понравится, то не бранись и не задумывайся об этом; думай просто, что это последний отгосок в старину вами избалованного сердца, которое все еще плачет об своих игрушках и которое радо бы было переначать всю длинную жизнь снова, единственно для того, чтобы поиграть так блаженно»⁴ (15 сентября 1819 г.); «Ты у меня в сердце так, как должно, в будни и в праздники; но прошедшее больше

³ Русская старина. 1883. VIII. С. 233.

⁴ Уткинский сборник. Т. 1. М., 1902. С. 229.

бунтовало, и Катька (дочь Марии Андреевны. — Б. Е.) со своими голубыми глазами не всегда могла усмирить бурю»⁵ (1 февраля 1821 г.); «Ты мое первое счастье на свете. — Катька мне дорога, мила, но не так, как ты... Брат мой! твоя сестра желала бы отдать не только жизнь, но и дочь, за то, чтоб знать, что ты ее еще не покинул на этом свете!»⁶ (11 декабря 1821 г.).

Тяжелые душевные переживания отразились на здоровье Марии Андреевны. Не достигнув еще и тридцатилетнего возраста, она была уже настолько больной и обессиленной, что не выдержала вторых родов. Она умерла 19 марта 1823 года. Так печально окончилась история любви Жуковского.

Презирая пустую жизнь светского общества, Жуковский наивно верил в возможность счастья в рамках узкого круга родных и знакомых. Этот идеал он неоднократно выдвигал в своих стихах, например, в послании к А. Тургеневу (1813):

...с каким презреньем
Мы бросим взор на жизнь, на гнусный свет;
Где милое один минутный цвет;
Где доброму следов ко счастью нет;
Где мнение над совестью властитель;
Где все, мой друг, иль жертва иль губитель!..
.....
Но дружба нам звездой отрады будь!

Однако в общественных условиях того времени наивная надежда поэта оказалась разбитой. Он и Мария Андреевна не смогли разорвать паутину условностей дворянского общества. Подобное разочарование испытал не один Жуковский. Но многие представители русской интеллигенции 1810-х годов постепенно приходили к сознанию, что надо не замыкаться от ужасов жизни в интимный мирок, а начинать борьбу за переустройство жизни. Жуковский же, мало связанный с передовыми центрами русской общественной мысли, не дошел до понимания этой необходимости. Более того, после трагедии, пережитой в личной жизни, консервативные элементы в его творчестве усилились (это особенно стало проявляться с 1820-х годов); однако главной причиной «поправления» поэта

⁵ Уткинский сборник. Т. 1. М., 1902. С. 251.

⁶ Там же. С. 267.

были объективные условия — обстановка общественной депрессии после восстания декабристов.

Но период кульминации его чувства, период наивысшего душевного подъема — 1810-е годы (совпадающие и с общественным подъемом в России) — плодотворно сказался в творчестве Жуковского. Именно в этот период Жуковским создано большинство его произведений, вошедших в золотой фонд русской литературы, оказавших значительное воздействие на творчество Пушкина, Языкова и других поэтов первой половины XIX века.

Особенно ярки те стихи Жуковского, в которых выражены сила и чистота большой человеческой любви и дружбы:

К НЕЙ

Имя где для тебя?
 Не сильно смертных искусство
 Выразить прелесть твою!
 Лиры нет для тебя!
 Что песни? Отзыв неверный
 Поздней молвы об тебе!
 Если бы сердце могло быть
 Им слышно, каждое чувство
 Было бы гимном тебе!
 Прелесть жизни твоей,
 Сей образ чистый, священный, —
 В сердце, как тайну, ношу.
 Я могу лишь любить,
 Сказать же, как ты любима,
 Может лишь вечность одна!

Многие из известных стихотворений Жуковского написаны в Тарту, в периоды его приездов к семьям Воейковых и Мойер.

Но в Тарту Жуковского влекли не только связи с семьей Протасовых. Как известно, одним из основных требований романтизма было изучение прошлого с целью нахождения в нем идеала жизни, отсутствующего в настоящем. Жуковский, как наиболее «ортодоксальный» романтик, давно мечтал серьезно заняться историей, о чем писал А. Тургеневу еще в 1810 году: «Я хочу получить об истории хорошее понятие; не быть в ней ученым, ибо я не располагаю писать историю, но приобрести философический взгляд на происшествия в связи. История из всех наук самая важная»⁷.

⁷ Письма В. А. Жуковского к А. И. Тургеневу. М., 1895. С. 75.

Внимание к истории, попытки осмыслить и обобщить отдельные звенья исторической цепи, естественно, еще больше усилились после Отечественной войны 1812 года. Немало пособий Жуковский находил в библиотеках своих московских и петербургских друзей, в первую очередь у Александра Тургенева. Но по средним векам, а также по истории Прибалтики он не мог найти многих материалов. Поэтому возможность переезда в Тарту очень обрадовала Жуковского с этой точки зрения: он надеялся поработать в богатой пособиями по этим темам библиотеке Тартуского университета, а также познакомиться с местными историками, которые могли оказать большую помощь в его занятиях. Действительно, вскоре после приезда в Тарту Жуковский сблизился с профессором Густавом Эверсом и слушал его лекции по истории России (с его старшим братом, Лоренцом Эверсом, Жуковский на студенческом празднике даже «побратался»; этому «побратиму» Жуковский посвятил стихотворение «Старцу Эверсу»). Жуковский пользовался и книгами из университетской библиотеки, близко познакомился с директором библиотеки К. Моргенштерном и библиотекарем К. Петерсеном; с первым он переписывался и общался на протяжении трех десятилетий, со вторым был связан еще более близкими дружескими отношениями.

По-видимому, к тартускому периоду жизни Жуковского относится тетрадь с конспектами и записями по географии и истории Прибалтики⁸. По всей вероятности, эти выписки сделаны из книг университетской библиотеки, прежде всего из книги А. Гупеля (A. Hupel) «Топографические известия о Лифляндии и Эстляндии» (3 части, Рига, 1774—1782).

В тетрадь Жуковский старательно перерисовал несколько карт Прибалтики, составил подробные таблицы с описанием губерний и городов Прибалтийского края, особенно Лифляндии и Эстляндии. Интересно, что Жуковский, описывая города, давал параллельно немецкое, русское и эстонское названия: «Везенберг-Ракобор, эст. Раквере. Вейсенштейн, русск. Пайда, эст. Пайделин. Оберпален, р. Полтшев, э. Полсама». А к наименованию Тарту он добавил и латышское название: «Тарбат, Тартолин, Юрьев».

⁸ Архив В. А. Жуковского в Российской национальной библиотеке в Петербурге. Опись 1. № 87.

В этой же тетради содержатся многие сведения из истории Прибалтики, в частности, из истории Таллинна. В дальнейшем, судя по заголовкам вверху страниц, Жуковский предполагал дать такие же описания Риги, Тарту, Пярну, Палдиски и других городов, но по каким-то обстоятельствам не успел это сделать. Возможно, что эта тетрадь — лишь небольшая часть материалов его занятий по истории Прибалтики.

Живя в Тарту, Жуковский интересовался также народным творчеством. В начале 1816 года он пишет родным в Тульскую губернию: «Я давно придумал для вас всех работу, которая может быть для меня со временем полезна. Не можете ли вы собирать для меня русские сказки и русские предания: это значит заставлять себе рассказывать деревенских наших рассказчиков и записывать их рассказы. Не смейтесь. Это — национальная поэзия, которая у нас пропадает, потому что никто не обращает на нее внимания. В сказках заключаются народные мнения; суеверные предания дают понятие о нравах их и степени просвещения, и о старине»⁹.

Кроме Моргенштерна и Петерсена, Жуковский познакомился в Тарту со многими другими представителями местной интеллигенции. В первую очередь здесь следует отметить Т. Е. Бока, автора известной антисамодержавной «Записки», посланной им в 1818 году Александру I (который тут же заточил Бока в Шлиссельбургскую крепость). Правда, как указывает первый исследователь жизни Т. Бока Н. Лыжин, знакомство Т. Бока с Жуковским состоялось еще раньше в Петербурге, но дружба завязалась, несомненно, в Тарту, так как в годы пребывания здесь Жуковского Бок проживал вблизи города и часто наезжал сюда. Он был близким другом и семьи Воейковых. Жуковский вместе с Боксом слушал курс лекций Г. Эверса.

⁹ Уткинский сборник. С. 89. Интересно отметить, что в РО Института русской литературы РАН (Петербург) хранится тетрадь родственницы Жуковского А. Зонтаг, озаглавленная «Собрание народных русских сказок. Часть II» (архив К. Грота, 16.011.XCIX б. 13). Это — явный отклик на приведенное письмо Жуковского. В сборнике записано двенадцать сказок (из них, собственно говоря, лишь пять — сказки, а остальные семь являются прозаическим пересказом былин). Порядковый номер тетради говорит о том, что это — не единственный сборник. Все эти неизвестные фольклористам материалы еще ждут своих исследователей.

Сохранились три стихотворных послания Жуковского к Боку, написанные в шутивно-дружеском тоне. Одно из них было приложено в виде посвящения к корректурному оттиску третьего издания известного стихотворения Жуковского «Певец во стане русских воинов». Это издание автор преподнес Боку перед его поездкой в действующую армию. Два других стихотворения относятся к приятельским взаимоотношениям тартуского периода.

Когда Жуковский издал небольшим тиражом серию брошюр со своими стихами с характерным для романтизма этого направления заголовком «Для немногих», то в числе этих немногих оказался и Бок. Жуковский подарил ему издание с надписью «Другу Боку». Интересно, что Бок на последней странице третьей книжечки стихов сделал полемическую надпись: «Для многих».

В связи с трагической судьбой Бока (даже родственники не знали места его заключения, переписка была запрещена правительством), эта дружба неожиданно оборвалась, а она могла бы сыграть в жизни Жуковского значительную роль.

Остальные тартуские знакомства Жуковского, в основном, связаны с университетом: в числе его знакомых были профессор физики Ф. Г. Паррот, профессор камеральных наук Ф. Э. Рамбах, профессор рисования и графики К. А. Зенф, а также основатель и руководитель школы, организованной по системе Песталоцци, М. Асмус, переводчик К. Борг, композитор Вейраух и др.

В доме Воейковых вокруг Жуковского и А. А. Воейковой образовалось подобие литературного кружка, в который входили местные поэты, в частности Языков. Жуковский посещал местные литературные собрания, где, по воспоминаниям К. Зейдлица, «Петерсон, прозванный «толстым», и Асмус превосходно читали новейшие произведения немецкой словесности и часто забавляли своих слушателей собственными стихотворными произведениями, например, едкой сатирической комедией (Петерсона): «Принцесса со свиным рылом»¹⁰.

Впоследствии Жуковский для многих из этих знакомых явился неутомимым ходатаем по самым различным делам. Используя связи и знакомства своего друга А. Тургенева, занимавшего

¹⁰ Зейдлиц К. Жизнь и поэзия Жуковского. СПб., 1883. С. 80.

в то время крупный чиновничий пост в Петербурге, Жуковский всячески стремился помочь тартуским приятелям. Письма его из Тарту к А. Тургеневу буквально переполнены различными просьбами:

«Податель этого письма есть доктор Лебрэн, учившийся в здешнем университете. Он едет в Петербург искать себе места... Ты очень обяжешь меня... если постарайшься помочь ему»¹¹ (12 апреля 1816 г.).

«Знаешь ли, брат, что, может быть, через полгода, если ничто не будет сделано для университета, Паррот, лучший его профессор, должен будет (дабы избегнуть от долгов) продать свои домишки и искать учительского места... Одним словом, как вы хотите, а профессорам суммы не давайте»¹² (начало 1817 г.).

«Здесь происходят чудеса. Профессор (теологии) Белендорф должен идти в отставку за то, что он оскорбил Богоматерь на лекции. Так доносит на него какой-то студент. Он оправдывается; но куратор, не принимая его оправдания, требует, чтобы он шел из университета... Теперь еще не решилось ничто, но если дойдет до министра, то помоги, если можешь, бедняку»¹³ (2 октября 1820 г.). В другой раз Жуковский просит защитить пастора Берга, книга которого подвергалась гонению за «возмущение правоверных».

В одном письме Жуковский просит А. Тургенева помочь М. Асмусу получить положенный чин губернского секретаря, в другом — содействовать в поступлении на службу Ф. Ф. Зарембе, успешно защитившему докторскую диссертацию в Тарту, в третьем — выхлопотать заграничный паспорт для проф. В. Я. Струве, в четвертом — помочь чудаку-поэту К. Белендорфу осмотреть Петербург, куда тот направляется пешком, и... продать его стихи¹⁴.

Жуковский пропагандировал также наиболее важные труды своих тартуских знакомых, и не только в частных высказываниях, а и в столичной печати. Так, в журнале «Вестник Европы» (1818, № 8) он опубликовал рецензию («О новой книге») о популярном сочинении проф. Паррота «Разговоры о физике», где дал

¹¹ Письма В. А. Жуковского к А. И. Тургеневу. М., 1895. С. 153.

¹² Там же. С. 170.

¹³ Там же. С. 191—192.

¹⁴ Там же. С. 168 и сл.

похвальный отзыв о книге: «Когда я находился в Дерпте, то почтенный автор, удостаивающий меня дружбой своей, сам читал мне первый том своей книги. Цель ее: сделать физику приятною, для незнающих предложить ее истины простым, привлекательным, для всякого равно понятным языком — имею некоторое право сказать, что автор совершенно достиг этой цели. Будучи совершенно незнающим в его науке, я слушал его с наслаждением».

Много сделал Жуковский и для университета в целом. Неоднократно он хлопотал о денежных средствах для университета. Но особенно большой заслугой Жуковского была защита университета в 1816 году. Летом этого года некие Вальтер и Вебер за взятку получили на юридическом факультете университета ученую степень доктора. Слухи об этом распространились очень быстро и проникли даже за границу. Министерство народного просвещения вынуждено было произвести расследование, скандальное дело закончилось изгнанием из университета двух профессоров и выговорами другим виновникам незаконного присуждения степеней. Но после этого стали подозрительно смотреть и на честных ученых, получивших ученые степени в Тартуском университете. Более того, университет находился под угрозой закрытия. В это критическое время Жуковский развил энергичную деятельность для реабилитации университета. Он засыпал А. Тургенева просьбами о помощи. Университет был спасен, вероятно, не без влияния этих писем.

Кстати сказать, и тартуская интеллигенция платила Жуковскому такой же большой любовью и уважением. В архиве Жуковского хранится много знаков внимания: здесь и теплые, дружественные письма профессоров, и стихотворные послания к Жуковскому М. Асмуса, К. Петерсена и других; авторы в большинстве случаев называют Жуковского «друг», «дорогой друг», «милый друг», «любимый друг».

Еще в начале 1816 г., по выходе в свет двухтомного собрания стихотворений Жуковского, совет Тартуского университета присудил поэту почетный диплом доктора философии. Приводим текст решения философского факультета (в переводе на русский язык): «Господин титулярный советник и кавалер Вас. Жуковский в настоящее время является одним из первых поэтов России и всюду известен как тот, кто, будучи близко знакомым с духом творчества лучших заграничных поэтов и философов,

много способствует повышению духовной культуры в России. Он представил нам свои превосходные поэтические сочинения в 2-х томах, и все его заслуги в совокупности подали повод факультету для принятия решения присудить этому выдающемуся русскому ученому почетный диплом доктора философии и одновременно с этим дать со своей стороны доказательство того, что факультет умеет достойно ценить старания мужей, направленные на развитие духовной культуры внутри страны» (Подпись: Ф. Гизе, декан философского факультета).

Жуковский был очень тронут этим. Приводим полностью его ответ по получении диплома:

Ваше высокоблагородие г-н декан философского факультета и господа члены.

Глубокоуважаемые господа!

С благодарностью и радостью принимаю я присланный мне почетный диплом доктора философии. Я усматриваю в этом почетном свидетельстве не столько награду, сколько поощрение, и это должно возложить на меня святую обязанность: все больше стремиться быть полезным и все увереннее следовать своей цели. Высокий знак вашего внимания, мои достопочтенные господа, разрешите мне принять поэтому как знак вашего дружественного мнения. Искреннее внимание и уважение воодушевляют меня.

Ваш покорнейший Жуковский.

Дерпт. 1 мая¹⁵.

Тартуские друзья всячески стремились привлечь Жуковского к постоянной работе в университете. Они выдвигали его кандидатуру на место профессора «российского языка и словесности», которое вскоре должно было освободиться в связи с отъездом Воейкова в Петербург.

Но Жуковский считал себя слишком мало подготовленным для профессорской деятельности в университете и поэтому отказался от этой должности (после этого первым кандидатом на должность профессора русской филологии был В. К. Кюхельбекер, который также вынужден был отказаться, в связи с поездкой за границу).

¹⁵ *Wiskowatow P. Rede zur Feier des hundertjährigen Geburtsfestes von W. A. Joukoffsky. Dorpat, 1883. S. 22—23.*

Пребывание Жуковского в Тарту имело важное значение и еще в одном отношении. Сблизившись с некоторыми местными литераторами, писавшими на немецком языке, он способствовал переводам лучших произведений русской литературы на немецкий язык и тем самым — пропаганде русской литературы в Западной Европе.

В период жизни Жуковского в Тарту эстонская литература еще только зарождалась. Произведений Жуковского эстонский читатель также еще не знал в то время на родном языке — переводы стихов поэта, причем в незначительном количестве, появились много лет спустя, главным образом, в связи со 100-летним юбилеем со дня его рождения, в 1883 году.

Жуковский занимает значительное место в ряду русских поэтов. Он сыграл также большую роль в истории Тартуского университета и вообще в культурной жизни Тарту. Это обязывает нас внимательно изучить тартуский период жизни поэта и по достоинству оценить его деятельность.

Н. П. ОГАРЕВ И НИЖНИЙ НОВГОРОД

1.

Девятого января 1847 года пензенский губернатор А. А. Панчулидзе получил особой почтой от начальника Рязанской губернии П. С. Кожина следующую бумагу: «Состоящий под секретным надзором полиции, по высочайшему повелению, отставной коллежский регистратор Николай Платонов Огарев выехал на жительство Пензенской губернии, Инсарского уезда, в село Акшено».

Новая секретная инструкция была отправлена Панчулидзевым инсарскому земскому исправнику Д. И. Евтропову: «предписываю вам немедленно учредить строгий надзор над коллежским регистратором Огаревым, донося мне об образе жизни и поведении его всякий месяц, как равно обязаны вы донести мне немедленно и о том, если он, г. Огарев, куда-либо выедет»¹.

И вслед за этим в канцелярию пензенского губернатора одно за другим посыпались донесения Евтропова, который как бы хотел компенсировать медлительность высшего начальства. В самом деле: ведь Огарев приехал в деревню уже два месяца назад, 17 ноября, а до Евтропова приказ о слежке дошел лишь в середине января!

При такой оперативности поднадзорный 50 раз мог бы скрыться от преследователей. В автобиографическом отрывке «Кавказские воды» (1861 г.) Огарев имел все основания писать: «...даже и при Николае тайная полиция, в сущности, была вовсе не страшна; она подчас била с плеча кого попало, человека совершенно политически невинного, и от этого нельзя было убежаться, как от бревна, падающего на голову; но систематически она никого не умела преследовать; ее агенты брали жалованье и любили попользоваться, при случае, пугнув какую-нибудь невинную, но богатую жертву, а к надзору за кем и чем бы то ни было были совершенно равнодушны и неспособны»².

¹ Пензенский обл. архив, ф. 5, оп. 1, № 2806, лл. 3—4 об.

² Огарев Н. П. Избранные социально-политические и философские произведения. Т. 1. М., 1958. С. 399.

Так начался новый период в жизни Огарева. А жизнь его не слишком баловала. Сын одного из богатейших помещиков России, владельца многих тысяч душ, Огарев мог бы, конечно, прожить свой век весьма вольготно, если бы пошел по стопам предков. Но он избрал другой путь. С детства подружившись с Герценом, он мальчиком поклялся на Воробьевых горах в верности идеалам декабристов и сдержал свое слово. В глухую пору николаевского деспотизма Огарев принимает живое участие в студенческих нелегальных кружках, становится ревностным поклонником современных социалистических учений, за что был арестован и сослан в 1835 г. в Пензу. Это его первый «пензенский» период. 22-летний Огарев был наивен и неопытен. Старый пройдоха Панчулидзеv, зная о несметных богатствах Огарева-отца, поспешил «обработать» молодого человека и женить его на своей племяннице, дочери промотавшегося пьяницы, саратовского помещика Л. Я. Рославлева. Этот необдуманый шаг очень дорого обошелся Огареву и в прямом и в переносном смысле. Его жена Мария Львовна имела «светские» претензии, была довольно чужда духовной жизни и идеалам мужа. Различие особенно сказалось несколько лет спустя, когда Огарев, получив освобождение от правительства и наследство после смерти отца, отправился путешествовать по Европе.

Здесь фактически произошел семейный разрыв, так как несоответствие интересов супругов стало слишком явным. Это не мешало, однако, Марии Львовне требовать от формального мужа больших денег на свои развлечения. Добрый и мягкий Огарев не только регулярно выплачивал ей 13 тысяч ассигнациями³ в год, но еще содержал и забуддыгу-тестя, выдавая ему ежегодно по 5 тысяч.

Однако финансовые дела Огарева ко второй половине 1840-х годов стали отнюдь не блестящими. Получив после смерти отца (в 1838 году) состояние в несколько миллионов рублей (если перевести имения и «крещеную собственность» на деньги), Огарев, воспитанный на идеалах утопического социализма, не собирался быть помещиком. Он тотчас же отпустил на волю около 2000 своих крестьян из села Верхний Белоомут в Рязанской губернии, что составляло почти половину всех его крепостных.

³ Бумажные деньги (ассигнации) были примерно в три раза дешевле серебряной монеты.

Увы, Огарев в малых масштабах как бы предвосхитил на 20 лет процесс, охвативший в 1860-х годах всю Россию: он мечтал о благоденствии своих крестьян, о сельской общине на началах равенства и братства, а на самом деле небольшая кучка богачей быстро захватила экономическую власть в свои руки, и вся масса бедняков попала в кабалу, ничуть не лучшую, чем кабала помещичья. Не улучшив положения крестьян, Огарев, однако, потерял значительную часть своих доходов.

Положение его было трагично: сознание полного несоответствия между социалистическими идеалами и паразитическим помещичьим бытом мучило его, и в то же время он увидел бесплодность попытки освободить крестьян. Это приводило его иногда к отчаянию, скепсису, к неверию в возможность улучшения народной жизни при данных обстоятельствах. Социальные неудачи переплетались с личными неприятностями (начинались серьезные идейные разногласия Герцена и Огарева с либеральным кружком Грановского, членов которого Огарев очень любил и разрыв с которыми остро переживал). В тяжелом душевном состоянии приехал Огарев в деревню. Но общение с народом, с жизнью деревни вскоре заметно повлияло на него, и Огарев загорелся новой идеей. Он решил создать в имениях фермы, фабрики, заводы, руководство которыми взять в свои руки и тем самым превратиться из тунеядца в рабочего, а крестьянам внушить, что они не будут больше подневольными рабами, а станут за работу на ферме или заводе получать соответствующую плату. Иными словами, Огарев решил, не уничтожая формально крепостной зависимости, фактически перевести крестьян на свободный труд, соответственно оплачиваемый. В какой-то степени Огарев в русских условиях повторял эксперимент, проделанный столетия назад в Англии великим утопистом Робертом Оуэном (тот организовал в Нью-Ленэрке фабричное производство так, чтобы рабочие были заинтересованы в успешной работе предприятия; вначале опыты Оуэна имели положительный результат, пока дело касалось одной фабрики; в дальнейшем, расширив поле деятельности, Оуэн потерпел ряд серьезных неудач). После краха в Белоомуте Огарев стал очень резко говорить о крестьянской общине («равенство рабства»⁴) и явно акцентировать вольнонаемный труд.

⁴ Огарев Н. П. Избранные социально-политические и философские произведения. Т. 2. М., 1956. С. 9.

Огарев, как и многие другие его современники, тогда не видел, что нет принципиального различия между феодальной и капиталистической эксплуатацией, что если к помещику и заводчику идет львиная доля от продукции, созданной крестьянином или рабочим, то нельзя ждать от последних трудолюбия и старания. Более того, искреннее желание помочь народу сочеталось у Огарева с наивной надеждой обогатиться, чтобы в дальнейшем спокойно сводить концы с концами (а в тот момент финансовое положение Огарева, раздававшего деньги своим друзьям без всякого счета, да еще выплачивавшего своеобразные «алименты» супруге, было весьма неважное). В этом вовсе не было корыстного расчета, наоборот, Огарев готов был вложить в предприятия последние деньги (и действительно вкладывал), готов был работать в качестве рядового труженика (и действительно работал), лишь бы добиться успеха. Был не расчет, а именно наивная надежда, что успех преобразований приведет не только крестьян, но и самого инициатора к материальному благополучию и даже к изобилию денег.

Полный новых замыслов Огарев решает на несколько лет засесть в деревне. И каков бы ни был результат, нельзя не удивляться смелости этих замыслов: в накаленной политической атмосфере, в самом центре крепостнического государства одинокий мечтатель берется за преобразования, к которым страна частично придет лишь 15 лет спустя, а во многом лишь спустя несколько десятилетий, в 1917 году.

Об этом эпизоде и пойдет речь в статье, так как интенсивная связь Огарева с Нижним Новгородом возникла именно в то время.

2.

Прежде чем начать практическое осуществление своих планов, Огарев основательно занялся теорией. Замыслы его были грандиозны. Естественно, в первую очередь он изучал сельскохозяйственные науки, ботанику, прикладную химию. Письма к столичным друзьям полны списков книг и просьб прислать их. Огарев запрашивает труды по лесоводству, скотоводству, агрономии, русской флоре, физике, химической технологии, метеорологии, медицине. Имение превращается в своеобразную экспериментальную базу. Огарев создает неплохую химическую лабораторию. Некоторые его опыты, правда, весьма наивны и,

как верно заметил Грановский, напоминают алхимические попытки превращать простые металлы в золото: Огарев, например, бился над получением искусственных алмазов. Это при тогдашнем-то уровне техники! Разумеется, единственное, что ему удавалось, — это сжигать алмаз, обратное же превращение — увы! — не получалось...

Или еще один трогательный пример. Огарев был глубоко опечален распространением пьянства в русской деревне, являвшегося следствием забитости и нищеты и — не в меньшей мере — причиной. Привлекая свои химические познания, Огарев всерьез занялся искусственным получением... мадеры! Он надеялся, что дешевое фабричное производство значительно понизит цену вина, и искусственная мадера, вытеснив водку, делается народным напитком.

Но ряд химических экспериментов был в самом деле полезным. Огарев, например, исследовал состав минеральных источников в округе. Позднее, купив бумажную фабрику, он изобрел новые краски и сорта бумаг, имевшие успех.

Огарев настолько был увлечен химией, что даже уехав с любимой женщиной на лето в Крым, завел там лабораторию и производил опыты.

В своих научных занятиях он, как видно, постоянно имел в виду практику, пользу для народа. Особо следует отметить его медицинскую деятельность. Выписав учебники анатомии, физиологии, терапии, он усердно изучает отрасли медицинской науки. Как он шутил в письмах, много он извел бараньих и телячьих жизней, прежде чем хорошо познал анатомию. Огарев открыл в Акшене больницу для крестьян, весьма большое для деревни здание (местные старожилы рассказывали литературоведу И. Д. Воронину, что больница была длиной не менее 30 аршин). Вместе с опытным врачом Штильмарком Огарев лечит крестьян. В его бумагах сохранились тетради с аптекарскими рецептами, с историями болезней, конспекты медицинских книг. Мужественно работал Огарев в периоды холерных эпидемий, рискуя своей жизнью и спасая жизнь многих и многих людей.

Вскоре после приезда Огарев приступает и к хозяйственной деятельности. И. Д. Воронин обнаружил в архиве Мордовской АССР (г. Саранск) интересные данные о том, что Огарев в Акшене «организует культурное садоводство, закладывает на пло-

щади пяти гектаров сад с лучшими сортами яблонь, слив, вишен, строит по последнему слову техники того времени оранжереи, в которых выращивает различные фрукты, вплоть до абрикосов, персиков и винограда»⁵. Весной 1847 года Огарев приступает к организации фермы. В письмах к Герцену он подробно излагает свой план: при барщинной системе из-за дурной обработки земли и других следствий подневольного труда хозяйство почти не приносит прибыли (примерный подсчет показывает, что в переводе на деньги земля стоимостью 2000 р. приносит чистого дохода помещику лишь около 50 р. в год); при свободном же труде и рационализации хозяйства чистый доход с пахотной земли ценностью в 1000 р. составит 235 р. При этом и крестьяне получают значительно большие деньги, что будет способствовать росту их заинтересованности в труде. Не освобождая крестьян формально от крепостной зависимости, Огарев фактически совершил реформу, выделяя крестьянам достаточное количество земли и не требуя с них вознаграждения (за исключением выплаты процентов с долга в Опекунский совет). Оставшуюся же землю Огарев отводил под ферму с вольнонаемной системой труда⁶.

При ферме Огарев задумал организовать школу для крестьянских детей. В подробном проекте он высказывал идеи, которые для своего времени были громадным шагом вперед в развитии педагогической мысли: Огарев настоятельно требует разностороннего образования крестьянских детей, при этом окончившие школу должны были освобождаться от крепостной зависимости. Под разносторонним образованием Огарев понимал тесную связь теоретических знаний с практической работой: в школе необходимо изучить основные ремесла, агрономию и другие прикладные науки. Огарев много времени уделял организации такой школы. В его архиве хранится много заметок на эту тему. Интересно, что он занимался и методическими вопросами: имеется его рукопись о методике преподавания арифметики. Друзья Огарева не только сочувственно отзывались о проекте, но готовы были принять в организации шко-

⁵ Воронин И. Д. Литературные деятели и литературные места в Мордовии. Саранск, 1951. С. 33—34.

⁶ См. письма Огарева к Герцену: Литературное наследство. Т. 61. М., 1953. С. 759—766.

лы прямое участие. Жена Герцена Наталия Александровна писала из Парижа в августе 1847 года: «А что же, школа будет у тебя в деревне? Тогда мы привезем наших детей туда учить, и учителей, и я сама буду учить чему умею <...> Саша (сын Герцена. — Б. Е.) учится здесь гимнастике, а тогда уж не надо будет — возле лес, и река есть? Заводи же поскорей школу, а я здесь поучуся поскорее, да мы выпишем туда и Гр<ановского> преподавать историю»⁷.

Характерно, что и сам Герцен, тяжело переживая поражение французской революции 1848 года, думал одно время о переселении к Огареву всей семьей: «Я думаю, кончится тем, что я поселюсь где-нибудь между Яхонтовым и Старым Акшеном»⁸.

Однако в полной мере замысел создания политехнической школы Огареву осуществить не удалось, от этого его отвлекли серьезные события, о которых речь будет ниже. Но все же школа для крестьянских детей Огаревым была открыта, а затем его деятельность в этом направлении продолжил Н. М. Сатин, о котором тоже речь будет идти ниже.

Калейдоскоп новых впечатлений явился благоприятной почвой для Огарева-поэта и писателя. В Акшене он создает известнейший цикл стихов «Монологи», две крупные поэмы — «Деревня» и «Господин», работает над драмой, план которой у него возник несколько лет назад: «Замысел огромный: 1-е, оба Иоанна, из которых IV будет разделен на две части; 2-е, Федор (до Годунова боюсь дотронуться), Шуйский и патриарх Никон»⁹.

Драматическая жизнь крепостного села вдохновляет Огарева на ряд рассказов, из которых особенно интересны «Саша», «Гулевой» и «Письмо из провинции».

Характерно, что именно в этот период Огарев окончательно формируется как реалист. От романтической абстрактности и фрагментарности ранних стихов он переходит к отражению конкретных явлений действительности в их социальной типичности. В его произведениях появляется сюжет, усугубляется конфликтность. Стих заметно прозаизируется, традиционная лексика исчезает, ис-

⁷ Голос минувшего. 1913. № 7. С. 196.

⁸ Герцен А. И. Собрание сочинений в 30-ти томах. М.: Изд. АН СССР, 1961. Т. 23. С. 106.

⁹ Русская мысль. 1890. № 8. С. 9.

чезает также неопределенность, романтическая метафоричность слова, которое теперь становится точным и однозначным¹⁰.

Процесс отхода от романтизма начался у Огарева еще в начале 40-х годов, но, несомненно, переезд в деревню ускорил этот процесс и довел его до завершения.

В акшенский период Огарев пишет и ряд публицистических работ. Литературно-философским проблемам посвящено 1-е письмо из цикла «Письма деревенского жителя» (цикл был оборван, так как при аресте у Огарева рукопись отобрали безвозвратно). В газете «Московские ведомости», где редактором был член герценовско-огаревского кружка Е. Корш, Огарев опубликовал две статьи на хозяйственно-экономические темы (критический разбор статистического районирования России и ядовитое замечание в адрес некоего Чихачева, махрового крепостника — см. 1847, №№ 116, 122).

В своей практической деятельности Огарев видное место отводил фабрично-заводскому производству. В Акшене были суконная фабрика и винокуренный завод¹¹, дававший ежегодно 30 тысяч ведер продукции, и Огарев серьезно занялся им. Завод был первой причиной поездок Огарева в Нижний Новгород. В первое же лето (1847 года) он едет в Нижний на ярмарку для заключения договоров на поставку вина: выгодно было заранее найти оптового покупателя, договориться о поставках и взять соответствующий задаток.

В 1858 г. в столице вышла интересная анонимная книжка «Очерк Нижегородской ярмарки». Отпечатанная всего в коли-

¹⁰ Подробнее об Огареве-поэте см. вступительную статью С. А. Рейсера к изданию: *Огарев Н. П.* Стихотворения и поэмы, Л., 1956; и *Хухадзе Л. Д.* Художественное творчество Н. П. Огарева как этап развития русской революционно-демократической поэзии // *Дисс. ... канд. степ. Л.*, 1953.

¹¹ Винокурение было очень распространено в помещичьем хозяйстве центральной России: использовалось зерно, отходы производства в свою очередь шли на корм скоту и т. д. Суконное же производство было особенно типично для Пензенской и Симбирской губерний: после Московской и Тамбовской они были самые крупные в России по сукноделию. В Нижегородской губернии в 1845 г. имелись всего 4 фабрики с выработкой 40 тысяч аршин сукна в год, а в Пензенской — 15 фабрик и около 700 тыс. аршин сукна, в Симбирской — 16 и свыше 600 тыс. (см. публикацию В. К. Яцунского «Материалы о состоянии суконной промышленности России в 1845 г.» — «Исторический архив», 1956, № 4. С. 89—91, 103—104).

честве 75 экземпляров, не поступавшая в продажу, она является большой библиографической редкостью. В Нижегородской областной библиотеке хранится экземпляр книги, вскрывающий тайну авторства и издания, так как на титульном листе имеется дарственная надпись: «В Нижегородский Статистический Комитет написавший эту брошюру по повелению государыни императрицы П. Мельников». Автор, известный писатель и краевед П. И. Мельников-Печерский, несмотря на некоторое сглаживание острых углов (объясняемое и умеренными взглядами автора, и происхождением заказа), дал очень ценный очерк торговли и нравов, царивших на Нижегородской ярмарке в те годы. В конце 1840-х и начале 1850-х годов, рассказывает Печерский, лишь две пятых сделок совершалось на наличные деньги, основная же масса операций шла в кредит. Добавим, что если при этом купец, уже имеющий товар, был в безвыходном положении и готов пойти на любые сделки, чтобы сбыть продукцию, то заводчик находился в несколько лучшей ситуации: он прежде договаривался с оптовым покупателем, брал задаток, а затем уже изготовлял соответствующее количество товара. Так уничтожалась возможность залеживания товара или продажи за бесценок. Впрочем, преимущество у заводчика будет лишь при условии, что заранее найдутся оптовые заказчики. В противном случае он должен или прекратить производство, или же готовить продукцию «на авось», сбывая ее затем на ярмарке в положении обычного купца.

В первый приезд Огарева в Нижний летом 1847 года судьба ему улыбалась: удалось получить поставок на 50 тысяч ведер вина, следовательно, можно было не сокращать, а расширять производство. Но в дальнейшем, как увидим, далеко не всегда удавалось так легко находить сбыт.

Конечно, Огарев приезжал в Нижний не только для торговых операций, хотя мы и имеем о других его делах весьма скудные сведения. Жандармские донесения дают очень мало: лишь сроки и место пребывания. Получив от Панчулидзева секретную бумагу с сообщением о выезде поднадзорного Огарева в Нижегородскую губернию, нижегородский военный губернатор князь М. А. Урусов запросил полицию, и старший полицмейстер А. К. Зенгбуш подал следующий рапорт: «На предписание Вашего сиятельства от 9 августа за № 326 имею честь донести, что состоящий под секретным надзором полиции по Высочай-

шему повелению отставной коллежский регистратор Николай Платонов Огарев в здешний город прибыл из Инсарского уезда 17 июля. Квартирование имел в гостинице купца Барбатенкова и обратно выбыл в оный же уезд 12 августа; во время проживания в Нижнем Новгороде ничего противозаконного за ним замечено не было»¹².

Нельзя еще раз не удивиться «оперативности» николаевской тайной полиции. Инсарский исправник Евтропов сообщил в Пензу Панчулидзеву о выезде Огарева в Нижний лишь 20 июля (при этом явно соврал о дне выезда — якобы 18 июля; но из донесения нижегородского полицмейстера, основанного, вероятно, на записях приезжих в регистрационных книгах, видно, что Огарев уже 17 июля был в Нижнем, следовательно он выехал числа 15-го, а Евтропов просто проморгал его отъезд). Панчулидзеv отправил запрос в Нижний 26 июля. Две недели понадобилось, чтобы Урусов, наконец, дал 9 августа предписание Зенгбушу о слежке. Приведенный выше рапорт датирован 13 августа. А Огарев-то 12 августа уже уехал из города! Поэтому полицмейстеру ничего больше не оставалось, как расспросив в гостинице Барбатенкова о жильце, приписать обтекаемую фразу: «противозаконного за ним замечено не было». Любопытно, что Панчулидзеv, почувствовав, по-видимому, всю опасность «замедленной» слежки, дал по возвращении Огарева следующую инструкцию Евтропову: «...предписываю вам сделать распоряжение, чтобы он не отлучался без разрешения губернского начальства»¹³.

Гостиница известного нижегородского купца Алексея Барбатенкова с сыновьями Евграфом и Петром, судя по «Справочной книге для приезжающих на Нижегородскую ярмарку» (Н. Новгород, 1847), считалась тогда одной из лучших гостиниц города. Находилась она в самом центре, на углу Большой Покровки и Дворянской улицы (ул. Свердлова и Октябрьской), напротив Дворянского собрания (клуба им. Я. М. Свердлова). 80-летняя Татьяна Петровна Морозова, прожившая свой век в соседнем доме (Октябрьская, 11), рассказывала в 1955 году автору этих строк, что ее покойный муж помнил, как в начале

¹² Нижегородский областной архив, ф. 2, оп. 6а, № 35.

¹³ Пензенский областной архив, ф. 5, оп. 1, № 2806, лл. 10, 12.

1880-х годов гостиница сгорела дотла. Уже позднее на этом месте был разбит сквер.

Итак, кроме дат и места, из официальных бумаг мы ничего не знаем о жизни Огарева в Нижнем в июле-августе 1847 года. Скучный материал находим и в письмах Огарева. К сожалению, не сохранилось ни одного его письма из Нижнего, имеются лишь упоминания о поездке в позднейшей переписке. Так, в письме Т. Н. Грановскому от 10 сентября 1847 г. Огарев сообщает: «Я сам узнал от Кобылина в Нижнем, что тебе нельзя ко мне приехать, и опечалился; да и Кобылина проводил за золотом с столькими раздумьями, что день был уныл»¹⁴. В другом письме, к Е. Ф. Коршу (20 августа), Огарев говорит в двух словах о поездке в Нижний, а затем добавляет: «Подробности можешь узнать от Самарина (актера), когда он вернется в Москву». Далее мы находим интересную характеристику Самарина: «Заметьте этого человека, *carissimi* (дражайшие — Б. Е.); это — мыслящая, добродушная и благородная натура, *что бы про него ни говорили...*»¹⁵.

Таким образом, мы все же кое-что узнаем о нижегородских встречах Огарева. Он имел общение по крайней мере с двумя лицами: Кобылиным и Самариным. Кто они такие? Первый из них, несомненно, Александр Васильевич Сухово-Кобылин, ставший позднее знаменитым драматургом, автором трилогии «Свадьба Кречинского» — «Дело» — «Смерть Тарелкина». Он со студенческой скамьи знал Герцена и Огарева. Последний был частым гостем в доме Сухово-Кобылина (одно время Огарев страстно увлекся сестрой Александра Васильевича — Душенькой). В 1847 году Александр Васильевич вел довольно беспорядочный образ жизни, но одновременно проявлял практические наклонности. Часто бывая на Выксунских железных заводах (село Выкса Нижегородской губернии), которыми управлял его отец. А. В. Сухово-Кобылин, по-видимому, не менее часто посещал и Нижегородскую ярмарку. Возможно, хотя и сомнительно, что за деньгами (т. е. «за золотом») для Огарева он ездил именно в Выксу, к отцу, где, конечно, мог достать нужную сумму. Более вероятно другое: Сухово-Кобылин вскоре после пребывания в Нижнем оказался в Томске, куда он отпра-

¹⁴ Звенья. Т. 1, 1932. С. 136—137.

¹⁵ Помощь голодающим. М., 1892. С. 523.

вился для приобретения рудников. Поэтому разговор о «золоте» мог относиться именно к Сибири. Отношения между Огаревым и Сухово-Кобылиным строились, в основном, на хозяйственной почве, так как последний, как и Огарев, усиленно занялся фабрично-заводской деятельностью. Но большой душевной близости между ними не могло быть: слишком полон был Кобылин крепостнически-дворянских предрассудков. Характерно, что заводами и рудниками он увлекся с чисто потребительской, паразитической точки зрения. Он писал сестрам из Томска о покупке рудника: «...если нам посчастливится, я надеюсь, у нас будет с чем совершить не одну круговую поездку по Европе и испробовать все удовольствия обеспеченного существования». ¹⁶ У Огарева же были совсем другие цели.

Иное дело — Самарин. Нет никакого сомнения, что Огарев встречался с известным московским актером Иваном Васильевичем Самариным (другой московский актер с такой фамилией неизвестен). Родившись в крепостной семье, И. В. Самарин с громадным трудом поступил в Московское театральное училище, где на него обратил внимание М. С. Щепкин, сам прошедший подобный путь. Самарин становится верным учеником Щепкина, в духе его школы совершенствует мастерство и уже в 1840-е годы приобретает большую известность (между прочим, высокую оценку его таланту дал Белинский). Наверное, через Щепкина, хорошего своего знакомого, Огарев и сблизился с Самариным. Представитель демократической театральной среды, выходец из народа, Самарин не мог не симпатизировать Огареву. Из биографических данных о Самарине ничего неизвестно о его поездке в Нижний Новгород в 1847 году. Более того, автор книги о Самарине М. В. Карнеев («50 лет из жизни артиста», М., 1882) категорически утверждает, что актер лишь три раза в жизни покидал Москву для поездок в Петербург и Тверь.

Оказывается, однако, что он по крайней мере четвертый раз отсутствовал в родном городе: летом 1847 года он был на гастролях в Нижнем. По-видимому, его приезд был уже заранее разрекламирован. М. Л. Михайлов, впоследствии известный поэт и революционер, а тогда скромный нижегородский слу-

¹⁶ Труды Гос. библиотеки СССР им. В. И. Ленина. М., 1934. Вып. 3. С. 197.

жащий, писал 20 июня знакомому, что из Москвы на гастроли уже приехал Живокини, и все ждут Самарина¹⁷. И действительно, вскоре начались гастроли Самарина, «Нижегородские губернские ведомости» в отчете о театральных постановках неоднократно упоминают имя актера. А в номере от 30 июля (т.е. как раз в то время, когда и Огарев был в Нижнем), фельетонист газеты так описал впечатление зрителей от игры Самарина: «Чудесно играет Самарин, из него со временем выйдет артист замечательный, — говорил какой-то господин, кажется, из приезжих.

— Да, — отвечал сосед его, — сегодня в «Записках Демона» в роли Робена он был превосходен <...>

— А видели ли вы Самарина на прошлой неделе в роли Чацкого?

— Нет, а что? Хорошо?

— Он из всех наших актеров первый понял эту трудную, но прекрасную роль, он первый на сцене понял Грибоедова: ни Каратыгин, ни наш московский Мочалов не могут с ним соперничать в «Горе от ума». Да, Самарин — явление замечательное».

По-видимому, Огарев близко сошелся с учеником Щепкина, если он характеризовал его в письме к друзьям как «мыслящую, добродушную и благородную натуру».

3.

Окрыленный первыми заводскими успехами Огарев решает расширить круг своей деятельности. Пожив два месяца в деревне, он едет в Пензу (теперь ведь нужно просить разрешение у Панчулидзева!) и затем в Москву, где совместно со своим сводным братом И. И. Маршевым покупает в январе 1848 года Тальскую писчебумажную фабрику (Корсунский уезд Симбирской губернии) со всеми материалами, землю, с 468 крепостными — за 48571 р. серебром¹⁸, из которых Огарев должен был бы заплатить половину, но так как у Маршева не было своих денег (а Огарев хотел его участия как специалиста и практического человека), то Огарев заплатил всю сумму, да еще добавил 10 тысяч для кредита. Исследователи жизни Огарева раньше считали, что

¹⁷ Литературный архив. Т. 6. М.; Л., 1961. С. 150.

¹⁸ РГАЛИ, ф. 359, оп. 1, № 124; см. также: *Воронин И. Д.* Литературные деятели... в Мордовии. Саранск, 1951. С. 37.

Огарев эти деньги одолжил у Герцена. Но в письме к Герцену от 8 января 1848 года Огарев, благодаря адресата за согласие на заем, сообщает, что помощь уже не нужна, так как он получил значительную сумму денег с крестьян из села Верхний Белоомут, которые еще были должниками своего бывшего владельца¹⁹.

Бывшая владелица фабрики М. А. Ульянова исключительно жестоко обращалась с крестьянами, и те непрерывно бунтовали. Например, в январе 1846 г. на Тальскую фабрику выезжала специальная военно-судная комиссия, приговорившая ряд крестьян к жестоким наказаниям: многие были прогнаны сквозь строй (по 1500—2000 шпицрутенгов!), затем отправлены в солдаты или даже на каторгу в Сибирь. Огарев немедленно занялся улучшением быта крепостных. Он на зло начальству губернии назначил бурмистром Гурьяна Волгина, брат которого получил 2500 шпицрутенгов и ссылку в Сибирь (к сожалению, впоследствии бурмистр оказался не на высоте: сдавал в рекруты неугодных ему людей). Огарев приказал бурмистру выдавать свидетельства для получения паспорта всем, кто только пожелает перейти на оброк. Вскоре Огарев организовал больницу для крестьян, купив для нее дом за 400 рублей²⁰.

С приобретением новой фабрики у Огарева прибавились новые хлопоты. Уже в мае 1848 г. он собирается ехать на ярмарку в Нижний, где у него «много торговых и других дел». К сожалению, кроме сентябрьского письма с лаконичным замечанием: «Холера нам более или менее испортила ярмарку, и с большим трудом мне удалось достать сейчас 1700 р. серебром»²¹, нет совершенно никаких сведений об этой поездке Огарева. Можно лишь предполагать, судя по последнему письму, что на этот раз торговые дела были не так блестящи (в предшествующую ярмарку лишь по одному подряду Огарев получил в задаток 5552 рубля)²².

¹⁹ Литературное наследство. Т. 61. М., 1953. С. 773.

²⁰ *Гриценко Н. П.* Н. П. Огарев на Тальской фабрике в 1848—1855 гг. // Краеведческие записки Ульяновского обл. краеведческого музея. Вып. 1, 1953. С. 187—196.

²¹ *Черняк Я. З.* Огарев, Некрасов, Герцен, Чернышевский в споре об огаревском наследстве. М.; Л., 1933. С. 348, 353—354.

²² Там же. С. 329. Ср. в письме М. Л. Михайлова к В. Р. Зотову от 11 июля 1848 г.: «И в Нижнем холера произвела большое влияние... На ярмарку собираются что-то туго. По обыкновению, не доставало лавок для купцов, а нынче 700 лавок до сих пор не наняты» (Литературный архив. Т. 6. М.; Л., 1961. С. 154).

А отсутствие сведений о поездках Огарева частично объясняется тем, что 26 июля 1848 года Николай I соизволил освободить Огарева из-под надзора полиции и тем самым дал немного отдохнуть Евтропову. Именно «немного», так как сложные события в жизни Огарева не только возвратили его вскоре под опеку жандармов, но и значительно отдалили от хозяйственной деятельности (он не был на следующих двух Нижегородских ярмарках в 1849 и в 1850 гг.).

События же заключаются в следующем. Осенью 1848 года из длительной заграничной поездки в Россию вернулся близкий друг Огарева и Герцена А. А. Тучков, в свое время участник декабристского движения, а в 40-е годы — энергичный общественный деятель Пензенской губернии. Служа инсарским уездным предводителем дворянства, он с удивительным старанием боролся против чиновничьих злоупотреблений и помещичьих зверств, чем заслужил любовь крестьян и ненависть не только своих коллег, но и самого Панчулидзева. За границей Тучков был в гуще европейских событий: он поехал в Италию в разгар итальянской революции, в Париже был в жаркие июньские дни, когда решалась судьба не только Франции, но и в какой-то степени судьба европейского революционного движения. Все эти месяцы он был с Герценом. В Берлине Тучкова провожал Бакунин со словами: «До свидания в славянской республике». Почти буквально пахнувший порохом приехал Тучков в свое имение Яхонтово, находившееся в 40 верстах от Акшена.

Можно представить ту радость, с которой ждал его Огарев: ведь здесь были и известия от заграничных друзей, ставших уже эмигрантами (Герцен и Бакунин), и точные сведения о всех европейских событиях — от верного свидетеля, а не из извращенных газетных статей.

О, из глуши моих родных степей
Я слышу вас, далекие народы,
И что-то бьется тут, в груди моей,
На каждый звук торжественной свободы.

Подолгу гостит Огарев у товарища. Так возник провинциальный кружок, куда вошли еще Н. М. Сатин, друг Герцена и Огарева со студенческих лет, женившийся на старшей дочери Тучкова: Елене Алексеевне; И. В. Селиванов, саранский общественный деятель; полковник Г. А. Римский-Корсаков и ряд других лиц

В кружке обсуждались самые злободневные социально-политические вопросы. При обыске у Тучкова и Огарева были найдены бумаги, которые «направлены против существующего порядка в России, в особенности обращают на себя внимание многие предположения Тучкова о преобразовании разных государственных отраслей управления <...> Записка Огарева о народных школах особенно отличается духом нынешнего учения». «В числе бумаг, взятых у Тучкова, — пишет жандармский генерал, — есть его мнения об *освобождении крестьян*. Этою идеей он достаточно проникнут». О круге чтения друзей также красноречиво говорят жандармские донесения: у Огарева отобрано 44 запрещенных книги, у Тучкова — 22, у Римского-Корсакова — 49²³.

Члены кружка делали также попытки конкретно помогать народу в его борьбе за освобождение. Панчулидзева доносит в III отделение: «Тучков по беспокойному характеру своему вступает в дела, до него не относящиеся, например: вмешиваясь в общественные дела казенных крестьян, старается восстанавливать их против начальников; во время рекрутских наборов крестьяне, подавшие неосновательные жалобы, объявляли ему, губернатору, что делали это по приказанию Тучкова: в том самом имении, в котором живет Тучков, скрывался около года беглый дворовый человек одной владелицы; наконец, подтверждается общей молвою, что Тучков своего бурмистра, простого крестьянина, сажает с собою как равного, делая это, вероятно, с намерением приобрести народность»²⁴.

Кружок Тучкова—Огарева войдет в историю как одна из немногих антисамодержавных и антикрепостнических группировок в России 40-х годов.

Огарев подружился с младшей дочерью Тучкова Натальей, вместе с отцом видевшей Рим и Париж. Наталья Алексеевна была совсем не похожа на жену Огарева, «плешистую вакханку» (выражение Герцена) Марию Львовну. Девушка ненавидела «свет», она была полна передовых идеалов эпохи, впитанных в семье и во время заграничного путешествия, близости к семье Герцена. Письма Огарева к ней говорят не только о нежных чувствах: «Ни я, ни вы не отдадим баррикад, потому что вместе будем там. Вот

²³ Черняк Я. З. Огарев... С. 168, 461; Пензенский областной архив, ф. 5, оп. 1, № 3015.

²⁴ Черняк Я. З. Огарев... С. 484.

этого-то я еще в жизни никогда не чувствовал, что есть женщина, которая с наслаждением умрет со мной на баррикаде! Как это хорошо!»²⁵

Дружба быстро переросла в страстное чувство. Н. А. Тучкова становится женой Огарева, а это принесло им не только радости, но и горе: ведь Огарев не был разведен с Марией Львовной. Пока не было формального развода, в жизни молодых ежечасно могли возникнуть юридические неприятности, не говоря уже о моральной стороне. Неловко себя чувствовал Огарев, очень больно было Тучкову, тяжело переживала Наталья Алексеевна. Но молодые люди были полны решимости бороться за свое счастье и не падали духом. Даже позднее, когда правительство репрессивными мерами хотело разрушить «незаконный» брак, Огарев обращался к любимой:

На наш союз святой и вольный —
Я знаю — с злобою тупой
Взирает свет самодовольный,
Бродя обычной колеей.
Грозой нам веет с небосклона!
Уже не раз терпела ты
И кару дряхлого закона,
И кару пошлой клеветы.
С улыбкой грустного презренья
Мы вступим в долгую борьбу,
И твердо вытерпим гоненья,
И отстоим свою судьбу.

Через Герцена Огарев связался с Марией Львовной, находившейся тогда за границей, и предложил официально развестись. Та, испугавшись осложнений в получении даровых доходов, наотрез отказалась (хотя Огарев не только обещал сохранить обеспечение, но и выдал ей уже векселя на громадную сумму — 300 000 рублей). Тогда Огарев нашел другой выход: бежать с Натальей Алексеевной за границу и тем самым завершить два дела: примкнуть к друзьям-революционерам, о чем он давно мечтал, и покончить вопрос с разводом, как с ненужной формальностью. Летом 1849 года Огарев и Н. А. Тучкова едут в Одессу, якобы, отдыхать, а на самом деле с целью найти какого-либо капитана,

²⁵ Русские пропилеи. Т. 4, М., 1917. С. 80.

который за соответствующее вознаграждение взялся бы перевезти их за пределы России. Но поиски оказались безуспешными. Остаток лета молодая чета проводит в Крыму и в тяжелом состоянии возвращается осенью на родину. А тут-то их, собственно говоря, ожидало лишь начало всех дальнейших мытарств.

Отец Марии Львовны, пьяный бездельник Рославлев, испугавшись не меньше дочери, когда узнал о новой семье Огарева, быстро настрочил донос в III отделение. Жалкий гнус вылил на честных людей столько вонючей грязи, что даже выдавшие виды чиновники III отделения далеко не всему поверили. Но Рославлев знал, с кем имеет дело: грязные сплетни он увенчал сообщением, что Тучков, Огарев и Сатин организовали «секту коммунистов». Этого уже достаточно. Время было для жандармов очень тревожное: недавно отгремела революционная гроза 1848 года, только что завершились аресты членов кружка Петрашевского, одного из первых русских социалистов.

Вы знаете: победа дряхлой власти
Свершилася. Погибло, как мятеж,
Свободы дело, рушилось на части,
И деспотизм помолодел и свеж.

«Секта коммунистов» в центре России — это уж слишком! Замелькали инструкции к начальнику корпуса жандармов Пензенской губернии подполковнику Родивановскому: что, как, почему?

Панчулидзева, давно точивший зубы на Тучкова и Огарева и еще в прошлом доносивший на Тучкова в III отделение, был рад стараться. Тупость его потрясающа: в верноподданническом усердии он, например, дает Тучкову строгое предписание запретить Огареву... носить длинную бороду!... Вместе с Родивановским губернатор стряпает серию доносов на «коммунистов». Последствий не пришлось долго ждать: в феврале 1850 года III отделение решило арестовать всех «заговорщиков», которых, по видимому, считали важными персонами, так как за ними были посланы высокопоставленные генералы и полковники, тратившие бешеные деньги (конечно, казенные) на свои «путешествия»²⁶. Предчувствуя надвигающуюся грозу, Тучков и Огарев,

²⁶ Только один Родивановский за поездку Пенза—Симбирск—Пенза получил 82 р. 44 к. серебром. Арестантам же в остроге платили от 2 до 10 копеек в день! (Пензенский областной архив, ф. 5, оп. 1, № 2925).

наверное, уничтожили многие документы, могущие быть уликами. К тому же, благодаря находчивости Н. А. Тучковой (она, узнав об аресте отца, немедленно послала верного крестьянина к мужу, находившемуся тогда на Тальской фабрике). Огарев был за несколько часов до ареста предупрежден и успел ликвидировать опасные бумаги. Арестованных доставили в Петербург и посадили в камеры прямо в III отделении.

Шепот смолк... Все тихо снова...
 Где-то Бог подаст приют?
 То ль схоронят здесь живого?
 То ль на каторгу ушлют?

Несколько недель длились унижительные допросы. Несколько недель родные и друзья жили в нервной горячке, ожидая самого худшего: ведь николаевские жандармы после революционных событий свирепствовали, как никогда раньше. Но у жандармов, к счастью, не оказалось существенных улик: письма и рукописи революционного содержания друзья, в основном, уничтожили, сохранившиеся большого «криминала» не представляли. Слухи об участии Тучкова в баррикадных боях в Париже подтвердить было трудно. Оставалась лишь «незаконная» женитьба Огарева. Но это для жандармов не тот материал, на котором можно было бы выслужиться перед царем. Поэтому арестанты отделались по тем временам сравнительно дешево: за всеми ними была установлена тайная слежка, кроме того Тучков был отстранен от должности уездного предводителя с запретом два года проживать в Пензенской губернии, а Огарев, наоборот, имел право проживать лишь в Пензенской и Симбирской губерниях. Селиванов был отправлен на службу в Вятку.²⁷

Ранней весной Огарев и Наталья Алексеевна возвращаются в деревню и ревностно принимаются за хозяйственную и культурную деятельность, наверстывая упущенное. Казалось, можно было бы временно забыть все тяжести пережитого и неопределенность будущего... Жизнь в работе, любовь, весна...

Брожу я по лесу тропюю каменистой:
 Трепещут и блещат в ветвистой тишине
 Зеленые листы под влагою росистой,

²⁷ Подробности о процессе см. упоминавшуюся уже книгу: *Черняк Я. З. Огарев...* М.; Л., 1933. С. 161—173.

И сосен молодых дух свежий и смолистый
В весеннем воздухе отрадно веет мне;
Пчела жужжит, и ранний луч денницы
Встречают песнями ликующие птицы.

Однако относительное счастье вскоре нарушилось новой неприятностью. Мария Львовна, не связываясь с III отделением, решила действовать более выгодным для нее способом: она подала в суд на Огарева, претендуя не на годовые, а на всю сумму сразу, которую он ей в свое время обещал (300000 рублей!) Так как у нее в руках были заемные письма, то суд в конце концов решил бы в ее пользу, а это означало для Огарева почти полное разорение. Если когда-то он легко мог обещать супруге 300.000 как небольшую часть своих богатств, то теперь он всеми наличными и недвижимыми капиталами еле-еле собрал 200.000, которыми, кажется, Мария Львовна была удовлетворена. Но — не рой яму другому, сам в нее попадешь! Мария Львовна не очень-то воспользовалась солидным кушем: его захватили в свои руки ее поверенные (особенно мошенник Шаншиев), которые крохами высылали ей, пока она в голоде и пьянстве не умерла во Франции в 1853 году. Лишь впоследствии Огарев узнал об этой гнусной проделке и добился возврата от Шаншиева части суммы. А тогда, в 1851 году, он лишился всех своих имений и денег. Так рушились планы Огарева о ферме, о школе, о преобразовании крепостнической деревни.... К счастью, Старое Акшено ему удалось продать — в долг — Сатину и Н. Ф. Павлову, известному писателю и журналисту, и Сатин в значительной степени смог быть продолжателем Огарева. Он, например, по-прежнему большое внимание уделял школе. И. Д. Воронин собрал интересные материалы о деятельности Сатина в Акшене, в частности воспоминания старожилов и внучки Сатина В. М. Беликовой: «У Огарева, а потом у моего деда Н. М. Сатина был приют, вроде пансиона, человек на 30—40, учили в нем и грамоте, и рукоделию, были учителя...» Не забросил Сатин и больницу, имевшую в народе большую популярность, продолжал использовать на суконной фабрике вольнонаемный труд и т. д.²⁸ У Огарева же единственное, что осталось — это Тальская писчебумажная фабрика. На нее теперь

²⁸ Подробнее см. в книге: *Воронин И. Д. Литературные деятели... в Мордовии*. Саранск, 1951. С. 48—49.

он возложил все свои надежды, переселился в Симбирскую губернию и энергично занялся производством бумаги.

Правда, летом 1850 года он не смог поехать для сбыта продукции на Нижегородскую ярмарку: ему запретили выезжать за пределы Пензенской и Симбирской губерний. Однако, несмотря на запрет, Огареву было очень важно посетить ярмарку и он, по-видимому, делал попытки вырваться из неволи: 16 августа симбирский губернатор тайно известил пензенского о том, что Огарев выехал из Тальской фабрики в Яхонтово (имение Тучкова), а оттуда намеревается 22—23 августа ехать в Нижний Новгород. Панчулидзеv тотчас же послал запрос нижегородскому военному губернатору: не появлялся ли в Нижнем Огарев? В случае же, если бы он оказался на ярмарке, то предписывалось немедленно отправить его обратно. Из Нижнего ответили, что Огарева не оказалось в Нижнем «при самом тщательном разыскании». По-видимому, Огарев не решился нелегально менять место жительства, рискуя навлечь новые неприятности. Во всяком случае, донесения исправника Евтропова, который регулярно сообщал о пребывании Огарева в Инсарском уезде, не содержат никаких сведений, что Огарев в августе-сентябре 1850 года выезжал за пределы уезда.²⁹ Лишь следующим летом Огареву удалось побывать в Нижнем: в декабре 1850 года министерство внутренних дел снова сняло с Огарева ограничение и слежку.

4.

Летом 1851 года, после двухлетнего перерыва, Огарев приезжает в Нижний Новгород. То же повторяется и в 1852 году, когда он пробыл в Нижнем три недели.³⁰ Несмотря на скудность сведений, у нас все же есть некоторые данные о тех встречах и знакомствах, которые Огарев имел в Нижнем в эти годы помимо своих хозяйственных дел. На сей раз знакомства происходили, главным образом, в музыкальной сфере. Приобретя Тальскую фабрику, Огарев часто бывал в Симбирске, где он

²⁹ Обширная переписка об Огареве за этот период хранится в специальном деле о Тучкове, Огареве и Сатине в Пензенском областном архиве (ф. 5, оп. 1, № 2925).

³⁰ Краткие сообщения об этих поездках имеются в письмах Огарева к М. Н. Островскому, брату драматурга (Звенья. Т. 6. С. 367, 370).

близко сошелся с М. Н. Островским (братом драматурга) и В. Н. Кашперовым.

Владимир Никитич Кашперов начал путь, типичный для дворянства николаевского времени: окончил школу гвардейских подпрапорщиков в Петербурге, в 1844 году выпущен в лейб-гвардии кирасирский полк, но затем круто изменил свою судьбу. С детства страстно увлеченный музыкой он увидел, что иного выбора у него быть не может. Молодой офицер уходит в отставку, отправляется в Берлин для продолжения музыкального образования. В 1848 г. он возвращается в Россию и некоторое время служит чиновником особых поручений при симбирском губернаторе. В Симбирске, а также в Нижнем Новгороде летом 1852 года Огарев часто встречается с Кашперовым, между ними завязывается тесная дружба, главным образом, на музыкальной почве. Ведь Огарев был тоже страстным любителем музыки, и не только слушателем, но и сочинителем. В «фабричный» период своей деятельности он особенно много занимается композицией. В основном Огарев сочинял камерные произведения: вальсы, прелюдии, романсы на слова Пушкина, Лермонтова, Фета.

Свои труды Огарев посылал видным столичным композиторам, знакомил с ними и Кашперова. В 1850 году у них возникает мысль о творческом содружестве: Огарев написал либретто на сюжет пушкинских «Цыган», а Кашперов — оперу. Работал он над «Цыганами» очень долго и усердно, закончив сочинение в 1855 году. Между прочим, опера была одобрена М. Глинкой, который пригласил после этого Кашперова опять в Берлин, где он тогда проживал, и стал давать начинающему композитору уроки, оборвавшиеся со смертью Глинки. Начался новый этап в жизни Кашперова: под влиянием Огарева и Глинки он окончательно порывает с чиновничьей службой и становится музыкантом-профессионалом.

Творческая дружба Огарева и Кашперова не ограничилась созданием «Цыган»; Кашперов написал музыку к нескольким стихотворениям Огарева («Дорога»; отрывок из поэмы «Саша»). Даже став политическим эмигрантом, Огарев не порывал связей с Кашперовым. В 1858 г. последний снова просит у Огарева либретто на тему из русской истории, на что Огарев ответил согласием (но, вероятно, не смог выполнить просьбу из-за перегруженности публицистикой). В дальнейшем Огарев посылает Кашперову на отзыв свои музыкальные сочинения, дает, в свою очередь, советы Кашперову, агитирует его, поддававшегося влиянию итальянской музыкальной

школы, вернуться к национальным мелодиям. Не без влияния Огарева Кашперов в 1860-е годы сближается с А. Н. Островским, создает оперу «Гроза», пишет музыку к «Воеводе». Огарев, по-видимому, все время следил за деятельностью Кашперова. Даже незадолго до смерти он запрашивал сестру: «Не знаешь ли что-нибудь о моем приятеле Кашперове, который был чиновником особых поручений, когда я был в Симбирске, но под моим влиянием удалился от службы и обратился к музыке, к которой имел талант».³¹

У нас нет точных данных о личном знакомстве Огарева с другим крупным музыкальным деятелем, жившим в Нижнем Новгороде, — с Александром Дмитриевичем Улыбышевым. Но трудно предположить, чтобы Огарев и Кашперов, заядлые музыканты и театралы, не встретились с самым видным в городе музыкантом и завсегдатаем театра А. Д. Улыбышевым. Упоминания о последнем в письмах Огарева из Нижнего являются хотя и не строго-математическим, но все же достаточно веским аргументом в пользу их знакомства. Характерно, однако, что отзывы Огарева по тону своему очень критические. В этом есть своя закономерность.

Улыбышев вошел в историю русской общественной мысли как один из видных членов около-декабристского общества «Зеленая лампа», автор наиболее известных публицистических и философских работ, созданных в этом обществе — «Письмо к другу в Германии» и «Сон». Но так как непосредственного участия в декабристских организациях он не принимал, то был оставлен в 1826 году на свободе. С 1830 года Улыбышев поселяется в Нижегородской губернии и до самой смерти в 1858 году живет в усадьбе и в Нижнем. Здесь он организовал музыкальное общество, имевшее большое значение для развития музыкальной культуры в Нижегородской губернии. В улыбышевском кружке воспитывались такие видные композиторы, как Балакирев и А. Серов.³² В 1843 году Улыбышев издал на французском языке трех-

³¹ Литературное наследство. Т. 39—40. М., 1941. С. 610. Подробнее о музыкальных связях Огарева и Кашперова см. статью: *Киселев В. И.* Н. П. Огарев — музыкант // Вопросы музыкознания. Т. 2. М., 1956. С. 361—386. См. также публикации Е. И. Канн-Новиковой шести писем Кашперова Огареву за 1864—1867 гг. и письма Огарева Кашперову от 15 ноября 1862 г. (Лит. наследство. Т. 62, 1955. С. 149—158; Т. 63, 1956. С. 125—128).

³² О нижегородском музыкальном кружке Улыбышева см. в статье: *Полуэктова Н. Н., Коллар В. А.* Музыканты — нижегородцы // Люди русского искусства. Горький, 1960. С. 246—250.

томный труд о Моцарте, получивший всемирную известность благодаря тонкому и оригинальному анализу, умению автора поновому рассмотреть ряд произведений Моцарта.

Все это и заставляет предполагать, что Огарев, бывая в Нижнем, не мог не посещать музыкальные вечера в доме Улыбышева, не мог не познакомиться с таким крупным мыслителем и художником. Но, как говорилось, отзывы Огарева о взглядах Улыбышева весьма критичны. Дело в том, что Улыбышев очень ярко иллюстрирует своими трудами эволюцию определенной группы дворянских идеологов от оппозиционных настроений декабристского периода к консерватизму, к реакционности во время революции 1848 года и Крымской войны. Уже в книге о Моцарте Улыбышев проявляет существенные слабости своего мировоззрения: историю вообще и историю искусства в частности автор рассматривает как божественное предопределение. Человек для Улыбышева — жалкое, несовершенное существо, пребывающее на «земле изгнания», полное горя и страдания. Поэтому, если в природе существует мажорное созвучие, радостная приподнятая тональность, то человек, согласно своему страдающему положению, выражая все свои несчастья, переделывает в музыке мажорный аккорд на минорный. Так возник тезис о преобладании в природе мажорного, а в человеческой музыке — минорного созвучия.

Огарев (под влиянием прочтенной книги Улыбышева, а, может быть, после личного спора) писал М. Островскому и Кашперову: «А вот что меня потешило, так это мажорный аккорд природы и минорный человека! А ведь, как вы думаете, в блаженные времена Гофмана и Новалиса это было бы очень эффектно, и не одна бы барышня над этой мыслью томно вздохнула бы всею грустью минорного аккорда, страдая всеми страданиями человечества. А нынче уж этим не надуешь! <...> Ох уж эти мне идеалисты!»³³

Огарев, переходивший на позиции радикального демократа, естественно, решительно возражал против идеалистической теории Улыбышева. Показательно, что именно с 1852 года в русской музыкальной критике начинается резкий отпор романтическим идеям, содержащимся в книге Улыбышева о Моцарте и в некоторых его статьях начала 1850-х гг. Улыбышев ответил на это книгой «Бетховен, его критики и его толкователи», выпущенной в

³³ Звенья. Т. 6, М., 1936. С. 371. Письмо датируется примерно 1852—53 гг.

1857 г. в Лейпциге и Париже (на французском языке), где еще более наглядно раскрыл свои карты: он увидел связь музыки Бетховена с революционными идеями того времени и осудил за это его наследие, но особенно резко Улыбышев выступил против революции 1848 года и против Фейербаха и Вагнера, отразивших идеалы этого периода. Так печально закончилась судьба большого мыслителя, яркого, талантливого человека, не смогшего идти в ногу со временем и эволюционировавшего вправо. Огарев зорко обнаружил эту эволюцию еще в самом начале, когда Улыбышев был в ореоле всемирной славы, когда реакционно-идеалистические элементы в его теории еще не бросались в глаза современникам. Не исключена вероятность, что Огарев критиковал эти элементы не только в письмах к друзьям, но и в личных беседах с Улыбышевым. К сожалению, об этом пока нет никаких сведений.

В письмах Огарева и к Огареву содержится еще ряд упоминаний о нижегородских встречах. Он виделся здесь с Павлом Васильевичем Анненковым, членом кружка Белинского. Анненков — один из первых русских деятелей, который начал изучать произведения К. Маркса. Будучи за границей, он познакомился с Марксом, вел с ним интересную переписку. В 1848 году Анненков вместе с Герценом видел весь ход революционных событий в Париже, которые он описал в корреспонденциях, печатаемых в журнале «Современник». Но в дальнейшем он отходит от самой гущи общественной борьбы, поселяется в казанском имении, а по дороге между столицей и деревней заезжает иногда и в Нижний Новгород, где и встречается с Огаревым. В начале 1850-х годов Анненков начал подготовку собрания сочинений Пушкина. Выход в свет шести томов этого издания в 1855 году было большим общественным делом, несмотря на то, что Анненков допустил редакторский произвол, объясняемый его осторожно-либеральной позицией. Интересно, что четыре тысячи экземпляров данного собрания сочинений Анненков привез на Нижегородскую ярмарку 1855 года, и издание было тотчас же раскуплено. Впоследствии Анненков написал интересные воспоминания о Белинском, Герцене, Огареве, но, к сожалению, в них он ни слова не говорит о нижегородских встречах. Переписка же между Огаревым и Анненковым в «фабричный» период жизни первого велась довольно интенсивная. Огарев делился в письмах своими художественными и хозяйственными планами, просил советов, помощи. Несомненно, что и в моменты нижегородских встреч Огарев обсуждал с товарищем все свои дела и планы.

В 1854 году, в одном из писем к И. К. Бабсту Огарев вспоминает о давней встрече с адресатом на Нижегородской ярмарке. Иван Кондратьевич Бабст, ученик Грановского и через Грановского знакомый Герцена и Огарева, был историком и экономистом. Большой близости между ним и Огаревым быть не могло, так как Бабст очень быстро эволюционировал вправо, став во второй половине 50-х годов защитником реакционных экономических теорий. В «Колоколе» была помещена такая заметка о нем: «И. К. Бабст получил тепленькое местечко, благодаря путешествию с наследником и перемене костюма красного на белый. Он теперь инспектор Лазаревского института восточных языков, заподозренного в либерализме».³⁴

Кроме этих известных лиц Огарев сообщает в письмах к Сатину и М. Островскому о следующих нижегородских знакомых: Павел Михайлович Варенцов,³⁵ Ефим Максимович Щеглов,³⁶ Петр Иванович Юрлов, Грибовский. Из них, судя по письмам, первые два — коренные жители Нижнего, а последние — приехавшие из Симбирска (они упоминаются в письме к М. Островскому).³⁷ На государственной службе состоял, как можно выяснить по «Адрес-календарю» тех лет, лишь Петр Михайлович Грибовский*, который оказался товарищем М. Островского: чиновником особых поручений

³⁴ Колокол. 1861. 1 декабря. Автором этой заметки был, очевидно, Огарев: ср. с его сатирическими стихами о Бабсте (1864):

Бедный князь наследник,
Бабст твой проповедник!
Вошел во дворец —
Вовсе не певец
(Может быть, подлец)... и т. д.

(Указано С. А. Рейсером)

³⁵ РГАЛИ, ф. 498, оп. 1, № 42, л. 14. Письмо 1853 года.

³⁶ РГАЛИ, ф. 476, оп. 1, № 44, л. 43. Письмо 1851 года.

³⁷ Звенья. Т. 6. С. 370. Письмо 1852 года.

* Позднее из «Собрания сочинений» А. И. Герцена я узнал, что в 1856 г. В. Н. Кашперов и П. М. Грибовский, приехав в Англию, посетили Огарева-эмигранта, познакомились с Герценом, и Огарев рекомендовал своих симбирских друзей, отправлявшихся в Париж, И. С. Тургеневу (см. том XXVI. М., 1962. С. 54); а из статьи Т. К. Шлыковой «Н. А. Островская — автор воспоминаний о Тургеневе и Добролюбове» («Казань в истории русской литературы». Сб. 2. Казань, 1968. С. 110—111) узнаем, что Грибовский был первым мужем мемуаристки Н. А. Островской, дочери известного симбирского и петербургского либерального деятеля А. Н. Татаринова; позднее, после смерти Грибовского, она вышла замуж за младшего брата Александра и Михаила Островских Андрея.

при симбирском губернаторе. Об остальных лицах официальных сведений не имеется; вероятно, это были торговые люди. Один из Варенцовых, Александр Петрович, был позднее директором Нижегородской ярмарочной конторы. Может быть, Павел Михайлович — его родственник?

Все эти встречи сыграли свою роль в жизни Огарева, одни большую, другие меньшую; но важно отметить и то, что они сыграли роль и для Нижнего Новгорода, о чем еще будет речь.

5.

В отношении хозяйственно-экономической деятельности Огарев все свое внимание уделял теперь Тальской фабрике. Надежды у него были радужные. Предварительный расчет очень оптимистичен. Приводим черновой набросок такого расчета:

Годовой оборот	Расход
1. Тряпья 25000 пуд. по 42 ⁶ / ₇ , коп. сер.	10714,25 (рублей)
2. Жалованья рабочим	3428,57
3. Убыток на муке (выдаваемой им в счет по 50 к. ас.) 6 коп. сер. на пуд: на 3600	216
4. Жалованья конторщикам и вольнонаемным	500
5. Для пробелки тряпья 10000 пудов для № 6, 5 и 4 бумаги:	
А) Купоросного масла 860 пуд. по 3 руб	2580
Б) Марганцу 290 3 руб.	870
С) Соли 860 40 к.	344
6. Для клея:	
а) Гарпиусу 300 пуд. по 1,70	510
б) Крахмалу картоф. 100 пуд. по 1,30	130
7. Красок разных на	300
8. Для осадки квасцов 1600 пуд. по 2 руб.	3200
9. Для поправок лесу, железа и пр.	1000
10. Подушные за рабочих	600
11. Провозов 14000 пуд. по 40 коп.	5600
12. Дров 1200 саж. по 1,70	2040
13. Сукон и медных полотен для машин на	2000
Всего:	33732,82 (руб.)

Приход

288 рабочих дней. В сутки выделяется 200 стоп бумаги, что составило бы 57600 стоп; но от весеннего и случайных простоев вырабатывается только 50000 стоп. Из оных:

Писчей № 7	20000 стоп по 1 руб. сер.	20000 руб.
№ 6	10000 по 1,10	11500
№ 5	5000 по 1,20	6500
№ 4	5000 по 1,50	7500
Цветных бумаг	5000 по 1,20	6000
Оберток	5000 по 1	5000
От мельницы не менее		600
Всего	50000 стоп на	57100 руб.

В расходе — 33732,82

Чистой прибыли — 23467,18³⁸

Итак, Огарев рассчитывал на 23500 руб. серебром чистой годовой прибыли. Как будто в плане было все предусмотрено. Жизнь, однако, давала другие цифры. Оказалось, что в месяц вырабатывается не больше 2000 стоп бумаги (вместо предполагавшихся 200 стоп в сутки!), что расходы отнюдь не уменьшаются. Но это все еще не самое главное. Беда в том, что общее положение на фабрике стало катастрофичным. Как уже известно читателю, предприятие было куплено Огаревым совместно с И. И. Маршевым. Это был типичный представитель эпохи «обуржуазивания» России. Незаконный сын Огарева-отца, он не мог рассчитывать на достояние предков и пробивал дорогу собственными средствами, став дельцом-коммерсантом и не гнушаясь любыми способами наживы. Огарев, зная практическую жилку своего брата (и не зная, конечно, о его махинациях), с удовольствием взял его в компаньоны и даже настолько надеялся на него, что предоставил ему все права для управления фабрикой в целом. Более того, Огарев ведь уплатил из своего кармана всю покупную сумму (45 тысяч р. серебром) да еще дал 10 тысяч на расходы. Маршев гарантировал свою часть наличием пензенского имения, которое в случае некредитоспособности Маршева ушло бы на уплату долга Огареву.

³⁸ РГАЛИ, ф. 359, оп. 1, № 70, л. 2.

Когда же много месяцев спустя (примерно через 2 года) Огарев решил проверить, как его братец управляет делами, проявилась потрясающая картина: бывшей владелице фабрики Ульяновой Маршев заплатил лишь часть Огарева (24300 руб.), а свою остался должен; кроме того для разных спекуляций Маршев давал векселей и доверенностей, гарантируя это фабричным достоянием. Короче говоря, на фабрике в 1850 году лежало 67 тысяч рублей серебром долга! В итоге, как с грустью писал Огарев М. Н. Островскому, он от фабрики попользовался 200 рублями, а Маршев — 80 тысячами...

Узнав о результатах маршевского хозяйничанья, Огарев решил срочно избавиться от компаньона: пишет ряд заявлений, хлопочет через М. Н. Островского в Симбирске!³⁹ Но добиться правды было не так просто, Маршев обдывал делишки обстоятельно, обеспечивая тылы: он заложил свое пензенское имение, получил денежки, и Огарев теперь разве что мог его посадить, как купца Большо-ва, в долговую яму... Но толку от этого было бы мало.

Пришлось Огареву идти на «мировую», заключить 20 мая 1850 года «полюбовный» договор. Читая текст договора, нельзя не поразиться наглости Маршева и уступчивости Огарева. Еще можно понять, что Огарев взял на себя все пошлинные и гербовые расходы. Но то, что он согласился принять все долги Маршева на себя, да еще заплатить Маршеву 25000 серебром за приобретение другой доли фабрики, — это уму непостижимо. Однако текст говорит об этом точно и ясно, не оставляя сомнений. В пункте 3 договора на двух страницах перечисляются кредиторы, общий долг которым с легкой руки Маршева составил «236266 р. 53¹/₂ к., а на серебро 67504 р. 72к.». И эту сумму «со всеми условиями» «я, Огарев, принимаю на свой счет, если кредиторы согласны будут долг этот перевести на мое лицо, в противном же случае исчисленную сумму долгов Маршева я обязуюсь выдать ему, Маршеву, для удовлетворения кредиторов».

А пункт 6 договора гласит: «Деньги по условленной цене за принадлежащую ему, Маршеву, по купчей половинную часть

³⁹ Черновик подробного заявления Огарева с перечислением всех «деяний» Маршева хранится в РГАЛИ (ф. 359, оп. 1, № 127). См. также письма Огарева к М. Н. Островскому (Звенья. Т. 6. С. 365—366). Окончательный договор о передаче всей фабрики Огареву также хранится в РГАЛИ (ф. 359, оп. 1, № 128).

Тальской писчебумажной фабрики со всем прописанным, землею и крестьянами, договорился я, Огарев, уплатить ему, Маршеву, 25 т(ысяч) рублей серебром». Такой дорогой ценой Огарев приобрел право единолично владеть фабрикой.

После этого два года уходят у него на беспрерывную борьбу с опасностью финансового краха. Разбросав свои деньги, он вынужден по мелочам занимать у приятелей и знакомых. Одолжив в 1850 году 3 тысячи рублей серебром у Кашперова, Огарев целый год не мог ему отдать эту сумму. На ярмарке ему пришлось не получать, а отдавать деньги: «Как я ни бился, но заплативши на Нижегородской ярмарке слишком 16 т(ысяч) р. сер(ебром) долгов, не могу никак собрать денег в нынешнем месяце, и потому убедительно прошу вас убедить Кашперова дать мне льготу до 1-го декабря»⁴⁰, — писал Огарев М. Н. Островскому в октябре 1851 года. Иногда Огарев одалживал на много месяцев даже небольшие суммы (сохранилось, например, его долговое обязательство М. Я. Вейсбергу на 300 рублей серебром).⁴¹

И хотя на Нижегородской ярмарке в 1852 г. Огареву удалось получить 37 тысяч рублей серебром, но долгов было еще больше. Приходится лишь удивляться мужеству и энергии Огарева. Он с поразительным воодушевлением бьется за претворение в жизнь своих планов и не думает складывать оружие. К финансовым неудачам он относится большей частью спокойно или даже с юмором. Например, вскоре после освобождения из-под ареста он пишет Панчулидзеву ехидно-дерзкое письмо с требованием... вернуть взятки, которые когда-то давал ему: «Милостивый государь, Александр Алексеевич. Обращаюсь к Вашему превосходительству с покорнейшей просьбою. Вероятно, Ваше превосходительство не забыли — о чем вы неоднократно и сами упоминали мне впоследствии, — что вы у меня занимали деньги, а именно: в 1838 году 5000 руб. асс., именно в том году, когда я, по милостивому ходатайству Вашего превосходительства, получил Высочайшее разрешение ехать к Кавказским минеральным водам для излечения, и в 1839 году 5000 руб., именно в том году, когда я, по милостивому ходатай-

⁴⁰ Звенья. Т. 6. С. 367.

⁴¹ РГАЛИ, ф. 359, оп. 1, № 130.

ству Вашего превосходительства, был переведен на службу в Москву. Ныне, имея по моим торговым делам надобность в деньгах, покорнейше прошу Ваше превосходительство возвратить мне, хотя бы и без процентов, занятый вами у меня в означенных годах капитал 10.000 р. асс. или, по крайней мере, часть оного, а на остальное благоволить дать мне срочное заемное письмо. Я уверен, что Ваше превосходительство, как по благородству души вашей, так и по справедливости, не откажете мне в этой покорнейшей и убедительной просьбе. С глубочайшим почтением»...⁴²

Или еще факт. В ноябрьской книжке «Современника» за 1854 год было опубликовано открытое письмо поэтессы Каролины Павловой (супруги Н. Ф. Павлова, который был еще должен Огареву за покупку части Старого Акшена), где она раздраженно реагировала на критику «Современника» в адрес ее стихов и доказывала свою правоту тем, что она отдала родине свои стихи, «все, что имела». Прочитав эту тираду, Огарев иронизирует в письме к П. В. Анненкову: «Как же она говорит, что она отдала *свое последнее* — свои стихи. А мой-то 30 тысяч серебром? А? Я-то чем тут виноват? Справьтесь хотя через контору Языкова, точно ли ее стих — ее последнее? И не нужно ли мне подать прошение в С.-Петербургский уездный суд?»⁴³

Конечно, это был смех сквозь слезы. Ведь спасаясь от кредиторов, Огарев был вынужден, как ему это ни было неприятно, буквально навязывать фабричную продукцию своим «денежным» знакомым и официальным лицам. В 1852 году он предлагает бумагу А. А. Краевскому для журнала «Отечественные записки». На протяжении нескольких лет он атакует Бабста просьбами найти казенных покупателей в Казани (там имелись две типографии: губернская и университетская). Но, по-видимому, адресаты не проявляли большого рвения. Долги продолжали расти, а расходы по фабрике составляли свыше 30 тысяч рублей в год!

Посоветовавшись с Тучковым и Сатиным, Огарев вырабатывает новый план. В главном павильоне Нижегородской ярмарки — Гостином дворе, в одном из бойких мест — суконном ряду —

⁴² Вестник Европы. 1907. № 12. С. 495—496.

⁴³ Анненков П. В. Лит. воспоминания. СПб., 1909. С. 163—164.

имелась лавка № 75 с выходом на две линии, т. е. с двумя торговыми пунктами. Ее снимали в конце 1840 и начале 1850-х годов то московские купцы братья Гехт (как бы прообразы щедринского господина Гехта, собрата Колупаевых и Разуваевых), то московский купец Иван Карпов, то компания Ценкера. И вдруг 18 августа 1853 года съемщиком лавки становится «помещик Николай Михайлович Сатин». Слева у него был «московский мещанин Алексей Читаенков» (лавка № 74), справа «московская купчиха Пелагея Нальхакова» (лавка № 76), а кругом и дальше — опять «купцы», «мещане», «почетные граждане», «крестьяне», или же, если принадлежали к национальным меньшинствам, то просто лишенные социального эпитета «греки», «армяне», «евреи», «татары»... И вот среди этой разноликой купеческо-крестьянской толпы появляется дворянин и помещик, как рядовой торговец, как равный... Кончилось барское царство, «чумазый» выходил на широкую дорогу. А если баре хотели идти в ногу с жизнью, им нужно было или поспевать за «чумазым», или же рвать с этим миром, начинать борьбу за его уничтожение. Огарев с Сатиным пока еще пытались поспевать за «чумазым». Они решили приобрести свое место на ярмарке, чтобы непосредственно принимать участие в торговле. Лавка давала возможность не только заключать торговые сделки, но и продавать изделия рознично.

К мелочной продаже Огарев раньше относился пренебрежительно. «Мочалы хочет купить все Лопаткин и дает по 65 коп., а денег половину. Других покупателей нет, кроме мелочных, с которыми в 3 года не распродашь мочалы»⁴⁴, — писал Огарев Сатину в 1850 году. Теперь же пришлось и розницу использовать. В лавке № 75 появился разношерстный товар: сатинские сукна, огаревская бумага и даже чулки, сита и мочала, которые выделывали крестьяне в Старом Акшене...

Несомненно, приобретение лавки на ярмарке было последним шагом, полностью вовлекающим Огарева и Сатина в орбиту буржуазного предпринимательства. И здесь нужно отдать должное своего рода смелости их проекта: собственноручная продажа дворянином его товаров, съёмка помещений в Гостином дворе для того времени были почти неслыханным делом.

⁴⁴ Черняк Я. З. Огарев... С. 395.

В 1840-е годы такие явления были исключительными. Да и в 1851 году в Гостином дворе (и вообще на ярмарке) не торговал ни один дворянин. В 1852 году в фарфоровом ряду появился «тайный советник Иван Сергеевич Мальцев», а в медном и оловянном — «дворянин Иван Григорьевич Баташев». В 1853 году, кроме Мальцева, Баташева, а также кроме Сатина, снимают лавки (причем тоже в суконном ряду) «сибирский помещик Василий Иванович Полочанинов» и «князь Николай Иванович Енгальчев» (впрочем, оба через год исчезают, оставив Сатина единственным представителем дворянского сословия в суконном ряду)⁴⁵. Короче говоря, 3—4 дворянина на 2500 лавок Гостиного двора!

6.

Так начался новый (и заключительный) этап хозяйственной эпопеи Огарева. Внешних событий в его жизни за эти годы было мало. Пожалуй, самым крупным из них было новое распоряжение Министерства внутренних дел от 8 сентября 1853 года об учреждении тайного надзора над Огаревым (в который уж раз!). На этот раз распоряжение будет последним: поднадзорным уедет Огарев за границу, и вскоре — в 1857 году — Министерство окончательно снимет с него надзор, именно в тот момент, когда начнет разворачиваться революционная деятельность соратника Герцена. Зоркие были глаза у царских жандармов!.. А надзор возник опять по проискам Панчулидзева. В 1852 году умер Г. А. Римский-Корсаков. Перед смертью он просил Тучкова написать завещание, где был пункт о полном освобождении крестьян, и, обесиленный, не успел поставить свою подпись. Свидетелями при составлении завещания были Огарев и Сатин. Но Панчулидзев не только не признал завещание, но еще и возбудил дело против своих врагов: якобы они сфальсифицировали документ. Дело затянулось на целый год, возникла пухлая папка⁴⁶, а в результате — снова надзор и снова крепостная неволя для крестьян...

⁴⁵ Материалы о съемщиках на Нижегородской ярмарке мы черпали в окладных книгах ярмарочной конторы за 1846—1855 гг. (Нижегородский обл. архив, ф. 489, оп. 286, №№ 857, 914, 953, 978, 997 и др.).

⁴⁶ «О действиях отставного поручика Тучкова по составлению подложной духовной от имени умершего полковника Римского-Корсакова» (Пензенский обл. архив, ф. 5, оп. 1, № 3011).

Но все эти кляузы Панчулидзева не могли привести к серьезному делу на манер арестов 1850 года, Министерство ограничилось надзором, и Огарев смог заниматься фабричными делами, не обращая особого внимания на слежку, к которой он уже привык.

Да и коммерческие неудачи не охлаждали пыл Огарева, он по-прежнему был полон проектов. «В Нижнем мне главное дело сделать *сoup d'état* (государственный переворот. — Б. Е.), т.е. взять под заказ 30.000 стоп 30 тысяч <серебром>»⁴⁷, — пишет он Сатину. М. Н. Островскому он сообщает о другой идее: «Теперь я опять вдался в науку и в индустрию. Работаю очень удачно картофельную муку и надеюсь выручить от нее в год тысяч 5 или 6 серебром». ⁴⁸ Более того, Огарев даже мечтал связаться с иностранными торговыми конторами и экспортировать товар за границу (этой идеей он делился с Анненковым).

Но жизнь опять шла своим чередом и вносила существенные коррективы в планы. В воздухе пахло грозой (осенью 1853 года началась война с Турцией), поэтому положение на Нижегородской ярмарке сильно изменилось. Ранее, как известно, большая часть торговых операций происходила в кредит, лишь две пятых сделок шли на наличные деньги. Далеко не все должники аккуратно расплачивались, но из-за неверия в суды денежные взыскания были очень редки (если же дело и доходило до суда, то еще неизвестно, в чью пользу решат продажные чиновники!), чаще торговля происходила с большим риском не получить нужной суммы. Единственное утешение состояло в том, что товар, отпускаемый в кредит, ценился дороже, однако эта дороговизна отнюдь не компенсировалась, если должники оказывались банкротами. С начала войны интенсивность торговли резко снизилась. Продавцы почти перестали доверять покупателям и желали торговать на наличные, оптовые же покупатели или не могли, или не хотели наличных расчетов. Уже в предвоенное лето 1853 года (как раз когда Сатин снял лавку в Гостином дворе) чувствовался упадок на ярмарке. «Ярмарка нынче очень туга, — писал Сатин Огареву 28 июля, — много лавок совсем не взято, много до сих пор не

⁴⁷ РГАЛИ, ф. 476, оп. 1, № 44, л. 81 об.

⁴⁸ Звенья. Т. 6. С. 375.

отворено, так что дирекция вынуждена была отсрочить окончательное открытие лавок до 1-го августа»⁴⁹. В отчете для ярмарочной конторы, составленном старшим надзирателем 4 квартала О. А. Малиновским (в этом квартале помещалась лавка Сатина—Огарева), отмечается, что в 1853 году торговля снизилась по сравнению с предшествующими ярмарками⁵⁰.

И тем не менее, на ярмарке по-прежнему действовали неписанные законы: всей торговлей заправляла кучка монополистов-оптовиков, которая устанавливала цены, размер задатков, надбавки, проценты и прочие торгово-финансовые единицы и эталоны. Насколько было трудно бороться с этой сплоченной группой, ярко свидетельствуют письма Сатина, который в течение нескольких недель ярмарки 1853 года бился со своим и огаревским товаром (Огареву, по-видимому, не пришлось этим летом приехать в Нижний, так как он был нездоров). Уже в самом начале ярмарки, 8 августа, Сатин дает унылый прогноз: «...наверное можно сказать, что уплаты вдвое больше, чем получения». Кредиторы одолевают так, что торговать невозможно. Через два дня Сатин пишет Огареву нервное письмо: тряпичники навезли горы сырья для фабрики, повысили цены, требуют деньги вперед. Но денег нет, а если не купить тряпье, то фабрика остановится. Было бы очень желательно, если бы Огарев поскорее приехал в Нижний. 13 августа Сатин раздраженно сообщает, что купцу-оптовику Попову доставлена 6571 стопа бумаги на сумму около 9 тысяч рублей серебром, но так как Попов в свое время внес задаток 4 тысячи, то даже если всю остальную сумму взять с него немедленно, то это только около 5 тысяч. А 16 августа, не выдержав, Сатин пишет отчаянное письмо Тучкову: «Научите меня, ради бога, что мне делать с делами Огарева? Я не предвижу никакой возможности не только кончить их, но даже хоть сколько-нибудь распутать их: помилуйте, получения за него едва на 5 тысяч <серебром>, а уплат самых необходимых слишком на 15 т. с., и каждый день я получаю новые требования, и сумма уплат увеличивается. Нового-то подряда сделать невозможно, потому что старый еще не выполнен слишком на 5 т. стоп. Попов и говорит: кончите

⁴⁹ РГАЛИ, ф. 359, оп. 1, № 112, л. 5 об.

⁵⁰ Нижегородский обл. архив, ф. 489, оп. 286, № 964, лл. 91—95.

старый, тогда будем говорить о новом; другие купцы тоже говорят: да вы еще не кончили с Поповым! Или предлагают такие цены и условия, на которые согласиться невозможно. Огарев пишет ко мне, чтобы послать, на уплату рабочим 2500 р. <серебром>; но где же я их возьму? Рублей 1000 может быть пошлю, да и то не знаю как!»⁵¹

22 августа — снова письмо Огареву: тряпичники надоели, как горькая редька, но товар нужен, а расплачиваться нечем; подрядов же пока невозможно взять: Попов требует 5 тысяч стоп бумаги, а деньги не платит, ссылаясь на задаток. Еле сдерживаясь, чтобы не выразиться более крепко, Сатин в письме от 25 августа именует Попова и Бабинцева (другого купца) страшными плутами и мошенниками, выжидающими, когда жертва совсем обессилит. И тут же, в конце письма, резким контрастом взволнованной речи Сатина — лисья, подхалимская приписка Бабинцева: «Позвольте мне иметь удовольствие засвидетельствовать почтение и принести жалобу на господина Николая Михайловича (на Сатина — Б. Е.). Что он такой недобрый человек, что не дал мне ни копейки денег». Разумеется, в конечном счете торжествовали Попов и Бабинцев, они в самом деле могли спокойно выжидать, а Огареву и Сатину ждать было нельзя: нужны деньги для жалования рабочим, для покупки сырья, для удовлетворения кредиторов, число которых все увеличивалось.

В 1853 году, когда истек срок займа в 24000 руб., бывшая владелица фабрики М. А. Ульянова подала на Огарева в суд. Тяжба тянулась много месяцев, и суд не мог взыскать с Огарева ничего, кроме самой Тальской фабрики, которую и предложил Ульяновой. Та отказалась брать фабрику назад. Затем в суд на Огарева подал жалобу управляющий Рейнер: Огарев, якобы, не уплатил ему жалованья. Корсунский суд описал фабричную продукцию, бумагу. Устроили аукцион, но никто не купил эту бумагу. Тогда ее предложили Рейнеру вместо денег. Тот не брал ее до тех пор, пока она не сгорела во время пожара фабрики в 1855 году⁵²... Подобных примеров было множество.

⁵¹ РГАЛИ, ф. 498, оп. 1, № 48, лл. 11—11 об. Письма же Сатина к Огареву приводятся из огаревского фонда РГАЛИ (ф. 359, оп. 1, № 112).

⁵² Гриценко Н. П. Н. П. Огарев... С. 201.

И Огарев, крутясь, как белка в колесе, вынужден был распродавать все за бесценок.

Было бы ошибочно поэтому все неудачи сваливать на внешние обстоятельства, в частности на замораживание торговли в период войны. Например, на Нижегородской ярмарке 1854 года Сатин значительно удачнее торговал: «Огарев! В нынешнем году твой товар пойдет кажется лучше, чем мой. Бумагу, первый транспорт, продал всю и продал опять Алексею Ивановичу (Попову. — Б. Е.) по прошлогодней цене, след^овательно, выше тех цен, которые ты назначил на нынешний год. Нынче Алексей Иванович тише воды и ниже травы, не смел торговаться со мной и не смел даже утверждать, что нынешний 7-ой № серее прошлогоднего»⁵³. А между тем спустя год Огарев по секрету сообщил Анненкову, что дошел с фабрикой до сплошного разорения и был под угрозой описи имущества...

Следовательно, дело заключалось не в большей или меньшей удаче на ярмарке, а в самом характере, механизме огаревского предпринимательства. Став фабрикантом, Огарев невольно втягивался в мир буржуазных отношений, и если бы он хотел процветать в этом мире, то должен был бы полностью воспринять его повадки и нравы, по принципу «с волками жить — по-волчьи выть». А волчью сущность буржуазной морали Огарев прекрасно понял. В письме к М. Н. Островскому еще от 27 сентября 1852 года он дал такую характеристику Нижегородской ярмарке: «Там торгуют и мошенничают, и чем чаще там бываешь, тем больше эти слова становятся адекватными»⁵⁴. И его просветительно-преобразовательская работа постепенно все сильнее и сильнее затягивалась в коммерческое болото. В 1854—1855 годах Огарев уже неоднократно подчеркивает в письмах к друзьям (особенно к Анненкову), что теперь главная цель в его хозяйственной деятельности — рассчитаться с кредиторами: «Если иногда и заинтересует что-нибудь, так сказать, сердечно, то это случается, когда есть какой-нибудь научный запрос; а чаще всего его нет, и результат тот, что оный запрос для фабрикации мало полезен, а то, что полезно, скверно и входит в разряд мошенничества»⁵⁵.

⁵³ Черняк Я. З. Огарев... С. 523—524.

⁵⁴ Звенья. Т. 6. С. 370.

⁵⁵ Анненков П. В. Литературные воспоминания, 1909. С. 159. Письмо Огарева от 9 февраля 1854 года.

Но мошенником Огарев не мог стать. Его все более и более тяготит необходимость иметь дело с разными Поповыми и Бабинцевыми. 17 декабря 1854 года он с отчаянием жалуется И. Бабсту на всю гнусность ежеминутной «войны» с торговцами и поставщиками⁵⁶.

Однако еще более серьезной причиной неудач, чем моральная чистоплотность Огарева, была его житейская непрактичность, неумение держать в руках сложное фабричное хозяйство. Он вынужден был пользоваться услугами управляющих, которые обычно один другого перегоняли в способностях набить свой карман. Громадное количество товара они сбывали на сторону бесконтрольно. «4 месяца работы, — пишет Огарев Тучкову в 1853 году, — составляют минимум 12000 стоп. Почему же у меня только 8 т<ысяч>? И сколько и когда отправлено, ничего не знаю»⁵⁷. Управляющие и механики пользовались мягкостью характера Огарева с удивительной наглостью. Некий Анже был приглашен на фабрику для ряда технических преобразований. Потом выяснилось, что он ничего не сделал. Между тем Огарев, как ни был сердит, все же уплатил за продуктивные дни работы Анже из расчета 150 рублей серебром в месяц, а за безделье... по 50 рублей в месяц!!! Но Анже еще был недоволен и не хотел уезжать с фабрики, пока, наконец, Огарев за свой счет не отвез его! Сатин сообщал Тучкову о Тальской фабрике в 1853 году: «Я вижу по книгам и по рассказам, что там дело ведется без всякой экономии, а со стороны Ог<арева> или стесненных обстоятельств (?) без всякого расчета»⁵⁸.

Подобная картина была, конечно, характерна для дворянского фабричного хозяйства. К. Д. Кавелин в путевых очерках привел однажды интересное мнение некоего заводчика о дворянах: «...им соперничать с нами никак стало нельзя, потому что мы везде все сами и ближе знаем заводское и фабричное дело; а у них — управляющие и приказчики, которые их обманывают, потому что они сами дела не знают и им не занимаются, как мы. Оттого-то помещичьи фабрики и заводы закрываются или идут плохо»⁵⁹.

⁵⁶ Шукинский сборник. Вып. 10. М., 1912. С. 225.

⁵⁷ РГАЛИ, ф. 498, оп. 1, № 42, л. 14.

⁵⁸ Там же, № 48, л. 12.

⁵⁹ Русский инвалид. 1866. № 254.

Но и это еще не все. Пожалуй, самая главная причина всех хозяйственных неудач Огарева заключалась в отношении народа к фабрике. Как бы субъективно ни желал Огарев путем ферм и фабрик перевести крестьян на свободный труд, добиться заинтересованности в работе, продуктивности труда, объективно получалось другое: крестьяне лишь видели, как управляющие грабят их жестоко, и поэтому они отнюдь не собирались производительно работать на господ. Огарев с грустью отмечал, что рабочие воруют на фабрике материалы. Управляющий фабрики Рейнер грубо обращался с поваром Хрисанфовым, и тот в отместку поджег квартиру управляющего, но при этом сгорел и целый корпус фабрики (15 декабря 1849 года), принесся Огареву 5000 руб. убытка⁶⁰.

Трагично обстоял вопрос и с механизацией производства: Огарев тратил большие деньги, чтобы облегчить ручной труд, выписывал машины, механизмы. А на деле оказывалось, что управители снижали рабочим жалованье, так что машины для них становились злейшим врагом. Подобные противоречия между техникой и благосостоянием народа были, конечно, типичны для капитализма (в России тех лет, например, развитие пароходства на Волге исключительно больно ударило по бурлачеству!). Трагедия Огарева была в непонимании смысла данных противоречий. Он мечтал о благосостоянии народа, он механизировал фабрику, а рабочие в благодарность за это в темную летнюю ночь 1855 года подожгли ее, наивно надеясь, что будет возобновлено ручное производство! И в этом была своя закономерность, которую Огарев не мог понять! «Странное дело, человек я добрый, никогда не дрался и распоряжался тихо и скромно: — а подожгли! Ты спросишь, за что? Это очень мудрено сказать: за то ли, что я насколько возможно добивался отчетности и следственно не давал случая красть, что рабочие любили по привычке и по охоте? За то ли именно, что я не дрался?»⁶¹

Не нужно думать, что Огарев ничего не увидел. Он не мог многого объяснить, но всю нелепость и противоречивость своего положения понял. В автобиографической поэме «Дерев-

⁶⁰ Гриценко Н. П. Н. П. Огарев... С. 196.

⁶¹ Письмо к И. Бабсту (Щукинский сборник. Вып. 10, М., 1912. С. 227).

ня», которую он писал, видимо, в 1855—1856 годах, Огарев довольно точно воспроизвел реальные размышления о минувших годах:

Я думал — барщины постыдной
Взамен введу я вольный труд,
И мужики легко поймут
Расчет условий безобидный.

Но вышло другое:

В нововведениях моих
Следы затей прихотливой
Мужик мой только увидал
И молча мне не доверял,
И долго я на убежденье
Напрасно тратил время и терпенье.
И... как мне это было ново!..
Чтоб труд начатый продолжать,
Я должен был людей стращать!
Да! гадко! Гадко и бесплодно!
Я этим верить приучу
Во власть мою, а хлопочу
Дать почву вольности народной!..

Огареву становится ясно, что из-под палки, по произволу свыше, нельзя произвести социальную реформу; стал ясен крах всего дела. Постепенно зреет мысль о ликвидации предприятия. Сатин, собственно говоря, еще в 1851 году советовал развязаться с фабрикой, так как за 3 года работы она дала не прибыль, а убыток. В 1853 году в цитированном выше письме к Тучкову он выразился еще убежденнее: «...дела плохи и, откровенно, я не предвижу никакой возможности распутать их, как продать фабрику за что бы то ни было; а то в том положении, в котором она находится теперь, она в явный убыток и разорит Огарева, задев через него и нас». И тут же Сатин советует самому Огареву разыскать в Москве некоего А. А. Демонси, охотника на писчебумажную фабрику⁶².

В конце концов и Огарев приходит к твердому убеждению, что фабрику нужно продать. Этому способствовало и все большее понимание того, что не здесь истинное поле деятельности

⁶² РГАЛИ, ф. 498, оп. 1, № 48, л. 12; ф. 359, оп. 1, № 112, л. 21 об.

для передового человека. Все чаще он думает об эмиграции, о работе с Герценом. В одном из писем к М. Н. Островскому он советует адресату: «Перечтите в IX томе Пушкина «Однажды странствуя среди долины дикой...». Конец этой пьесы будто обещает новую тему для поэзии»⁶³. Намек был очень прозрачен, Огарев имеет в виду следующую концовку пушкинского стихотворения:

Кто поносил меня, кто на смех подымал,
Кто силой воротить соседям предлагал,
Иные уж за мной гнались; но я тем боле
Спешил перебежать городское поле,
Дабы скорей узреть — оставя те места,
Спасенья верный путь и тесные врата.

Конечно, не религиозные мотивы стихотворения привлекли внимание Огарева, а изображение чувств и настроений *беглеца*. По-видимому, в это время (1852—1853 годы) он уже начал думать о новой попытке выбраться за границу. В письме к Сатину от 10 января 1853 года Огарев очень твердо заявил, что в конечном счете он видит дилемму — или смерть, или эмиграция: «...я сам готов идти в ларчик, где ни стать, ни сесть, потому что мне нет иного выхода: или этот ларчик, или *туда!*»⁶⁴.

С 1854 года Огарев уже интенсивно занимается поисками покупателя на фабрику: справляется о частных лицах, хлопочет о продаже государству. По-видимому, фабричная морочка настолько ему уже надоела, что в 1855 году он полушутя-полусерьезно пишет Анненкову: «А я тружусь все с одинаковою бесплодною скукой на фабрике. Дошло было дело до совершенного разорения, то есть описи (это между нами), и я как-то помолодел, предвидя, что можно перестать быть индустриалом-мучеником. Но теперь — увы! — опять дела поправляются, и надо допить эту чашу до конца, то есть пока добрый человек не купит»⁶⁵.

Некоторое улучшение финансовых дел вселяет в Огарева снова надежду на возможность «поправки». Но в ночь на 15 июля 1855 года на глазах хозяина фабрика сгорела дотла. По

⁶³ Звенья. Т. 6. С. 372.

⁶⁴ РО РГБ, Г. — О. VIII. 338, л. 1 об.

⁶⁵ *Анненков П. В.* Литературные воспоминания. 1909. С. 165.

его подсчетам, в воздух улетучилось до 100 тысяч рублей серебром. Имея веские данные о преднамеренном поджоге (уже за несколько дней до пожара по округе разнесся слух о готовящемся событии!), Огарев вначале предполагал заняться расследованием, но потом махнул рукой: он не слишком преувеличивал в письме к Анненкову, когда говорил о радости по случаю возможной описи имущества и продажи с молотка. Как ему ни было тяжело, но пожар невольно ставил крест на всей прошедшей деятельности и заставлял немедленно подумать о новом пути⁶⁶. Поэтому общая тональность писем Огарева после пожара Тальской фабрики хотя и носит несколько элегически-грустный оттенок (ведь что ни говори, а зачеркиваются как безрезультатные почти 10 лет трудной, напряженной жизни!), но в целом оптимистична и целеустремленна. И Н. А. Тучкова-Огарева указывала, что в общем они были рады событию. Пожар развязал им руки. Скорее *туда*, к Герцену!

Наскоро распродав остатки фабричных материалов и одолив у Сатина 12 тысяч в счет будущего выигрыша в тяжбе с Шаншиевым (Огарев подал в суд, требуя возврата денег, не высланных Шаншиевым и Панаевой его покойной супруге Марии Львовне), Огарев едет в Москву и Петербург; симулируя (или, точнее, преувеличивая) болезнь, добивается заграничного паспорта и в 1856 году навсегда покидает Россию.

⁶⁶ Современный исследователь жизни Огарева Э. Л. Рудницкая выдвинула гипотезу, что отрывок из записной книжки Огарева, опубликованный Б. П. Козьминым («Лит. наследство», т. 39—40. С. 356), относится к Тальской фабрике, а не к орловскому имению Уручье, как считал Б. П. Козьмин. Если это предположение верно, то перед нами замечательный документ: Огарев, предполагая после пожара, что Ульянова в счет долга все же наконец возьмет имение и крепостных, надеялся внести будущей хозяйке сумму денег на выкуп всех крестьян вместе с землею! Даже независимо от места (Тальская ли фабрика или Уручье), мы опять встречаемся с новой попыткой Огарева освободить своих крестьян от крепостной зависимости. Далее в отрывке идет речь об организации общинных мельниц или фабрик. Э. Л. Рудницкая справедливо отметила, что тем самым Огарев сделал шаг к «русскому» социализму: пытался применить идею ассоциации к тогдашним условиям в русской деревне, пытался использовать для этого крестьянскую общину. См.: Рудницкая Э. Л. Социальные эксперименты Н. П. Огарева // Вопросы истории. 1961. № 1. С. 76—85.

Но до конца
 Я стану в чуждой стороне
 Порядок, ненавистный мне,
 Клеймить изустно и печатно,
 И, может, дальний голос мой,
 Прокравшись к стороне родной,
 Гонимый вольности шпионом
 Накличет бунт под русским небосклоном.

Дальнейшая его революционная деятельность широко известна и нет необходимости ее пересказывать.

Так закончился большой, важный период в жизни Огарева. Как бы он ни был внешне, так сказать, материально бесплоден (материально он даже был «минус-плоден», так как Огарев угробил за это время миллионное состояние), значение его для Огарева очень велико. Герой поэмы «Деревня» Юрий, увидев крах своих деяний, размышляет:

Что ж выхожу перед собою
 И пред людьми я наконец?
 Что? Барин? подданных отец?
 То есть плантатор пред толпою
 Сих белых негров? Иль опять,
 Как и назад тому лет пять, —
 Мечтам не верящий мечтатель?
 В горячке вечной подвигов искатель?

И затем приходит к твердому убеждению, что необходимо прекратить утопические преобразования крепостной деревни:

Итак, мой друг! вперед ни шагу!
 Желанья тщетно пропадут,
 Я только на пустынный труд
 Растрочу силу и отвагу.
 Один не изменю я <...> государство.

Герой, как и его автор, понял бесплодность, точнее — невозможность одиночных преобразований в рамках феодального строя.

Честными средствами нельзя было добиться благосостояния — своего и народа — в обстановке, где царили Маршевы и Шаншиевы. Вот эти-то люди процветали, они благоденствовали! Маршев фактически содействовал окончательному разорению Огарева, развалив всю работу на фабрике. Петербургский адвокат А. Бильбасов преспокойно положил в карман

5000 рублей огаревских денег; когда же выяснилась ненужность дела и Огарев стал требовать сумму назад, то поверенный не возвратил ни копейки, сославшись на раздачу взяток! А Шаншиев, обманув жену Огарева, купил бывшее имение ее мужа за 25000 р. серебром, заплатил долг с имени Опекунскому совету (27000), а затем, дождавшись ревизии, снова заложил деревни с 603 душами за 51250 рублей. Таким образом за 750 рублей Шаншиев получил в свои руки шесть деревень с 1500 крестьянами (хотя и заложенные), т.е. заплатил по полтиннику за человека! Как верно заметил Я. З. Черняк, впервые раскрывший данную махинацию, «этот трюк и Чичикова заставил бы покраснеть от зависти»⁶⁷. Подобные типы были поистине «героями» того времени. Огарев попытался было идти по их дороге, хотя и не рядом с ними, а по своеобразной «обочине», но долго он не смог находиться в общении с Чичиковыми. К сожалению, чтобы понять ошибочность такого пути, ему пришлось затратить почти 10 лет. Так ценою колоссальных усилий, больших материальных и моральных жертв русская общественная мысль подходила к решению одного из центральных вопросов всякой эпохи: к проблеме социальных преобразований. Следующее поколение — демократы-разночинцы — были уже частично научены опытом русской и западной истории. В статье «Роберт Оуэн и его попытки общественных реформ» (1859) Н. А. Добролюбов уже видит слабые стороны великого утописта. Но русские шестидесятники были сами еще в значительной степени утопистами, поэтому Добролюбов не столько критиковал, сколько с уважением и любовью описывал самые уязвимые места в деятельности Роберта Оуэна: попытки добиться коренных экономических преобразований в рамках капиталистического государства, попытки организаций отдельных ферм и заводов на справедливых началах в окружении коррупции и грабительства. И хотя Чернышевский неоднократно подчеркивал необходимость коренного переворота, он все же был уверен, что уже в условиях тогдашней России возможна предварительная организация артелей на манер мастерских Веры Павловны из романа «Что делать?». Многие еще нужно было пережить: и развал слеп-

⁶⁷ Черняк Я. З. Огарев... С. 225.

цовской и других «коммун», созданных под влиянием романа Чернышевского, и трагедию «хождения в народ», — чтобы передовая общественная мысль России пришла к скепсису по отношению к утопиям. И хотя в этом напряженном и трудном пути огаревский эксперимент — лишь маленький незаметный участок, о котором знали очень немногие, тем не менее и он является своего рода этапом, пусть и небольшим, в движении к следующим важным ступеням общественного развития.

7.

Большое значение имела деятельность Огарева и для Нижнего Новгорода. Дело, конечно, не в торговых операциях на Нижегородской ярмарке, а в тех культурных и общественных знакомствах и связях, которые завел Огарев в периоды пребывания в городе и которые, обычно, не имели прямого отношения к его хозяйственной деятельности. Некоторые из этих связей не прерывались и в дальнейшем, когда Огарев стал политическим эмигрантом. Начав с некоторых либеральных иллюзий, Герцен и Огарев поняли затем дворянско-помещичий характер всех реформаторских мероприятий, проводимых царским правительством. Печатные издания «лондонских эмигрантов» (так называли в официальных кругах Герцена и Огарева), особенно журнал «Полярная звезда» и газета «Колокол», являлись блестящим образцом страстной, боевой публицистики, клеймящей все реакционное и прогнившее, и поэтому пользовались громадным успехом в России.

В Нижегородской губернии для этого была очень благоприятная почва. В годы революционной ситуации конца 1850 — начала 1860-х гг. в губернии была очень накаленная атмосфера. Большинство населения было в большей или меньшей степени недоволено современным строем. Крестьяне только и думали об освобождении из-под помещичьего ига. Интересный документ сохранился от той поры. Как только в Петербурге стало известно об объявлении «воли», солдат-нижегородец Свайкин написал своим родственникам в село Березовка Сергачского уезда следующее любопытное письмо: «Милые мои родители, уведомляю я вас, 1861 года, марта месяца 5 числа государь император изволил разрешить и объявить волю всем господским людям. Теперича я уведомляю вас, что

вы вольные. У нас 5 числа марта читали *ее* и объявляли. Имею честь вас поздравить вольными. И никаких податей на два года не брать — правда и правда. Милый мой брат, Федор Николаевич, имею честь вам объявить, что ты имеешь право «поклониться» своему барину: ты теперича вольный, и поздравляю тебя с волей»⁶⁸. За этим неуклюжим стилем скрывается яркое чувство; обильное повторение слова «воля» свидетельствует о страстном желании свободы. Характерно, что народ истолковывал волю как полную свободу от всяческих экономических притеснений («и никаких податей на два года не брать — правда и правда»).

Когда же народ увидел истинное лицо царской «милости», он начал бунтовать еще интенсивнее, чем раньше. В. Снежневский и Ф. Чебаевский, авторы исследований о крестьянском движении 1860-х гг., приводят интересные архивные данные о революционной ситуации в Нижегородской губернии. Земская полиция была завалена просьбами помещиков заставить крестьян повиноваться. Макарьевский исправник П. Зубов писал губернатору 20 марта 1861 года: «Я каждую минуту должен опасаться, чтобы натянутое положение не выразилось каким-нибудь беспорядком». В селе Чуфарове Сергачского уезда крестьяне убили ненавистного старосту и растащили господское имущество. Сильные волнения прокатились в Ардатовском, Горбатовском, Васильском и других уездах.

В активизации народных сил играла какую-то роль и радикальная пропаганда, в которой издания Герцена и Огарева занимали первое место. Продукция лондонской типографии начала проникать в Нижний Новгород уже вскоре после отъезда Огарева за границу. Из секретных бумаг графа Закревского известно, что сын знаменитого Щепкина, Николай Михайлович, летом 1857 года несколько раз ездил на Нижегородскую ярмарку, где распространил много экземпляров герценовских изданий⁶⁹.

⁶⁸ Цитирую по статье: *Снежневский В.* Крепостные крестьяне и помещики Нижегородской губернии накануне реформы 19 февраля и первые годы после нее // Действия Нижегородской губернской ученой архивной комиссии (сборник). Т. 3. Н.-Новгород, 1898. С. 84. См. также: *Чебаевский Ф.* Движение нижегородского крестьянства в 1861 году // Вопросы истории. 1950. № 11.

⁶⁹ Русский архив. 1885. № 7. С. 448.

Факт широкой популярности этих изданий подтверждается нижегородским дневником Т. Г. Шевченко, который как раз осенью 1857 г. прибыл в город, где его власти заставили пробыть на положении ссыльного до весны 1858 года. Уже в день приезда в Нижний, 20 сентября, Шевченко получил от Н. А. Брылкина, главного управляющего компании пароходства «Меркурий», один из выпусков «Голосов из России» (полупериодическое издание, где Герцен и Огарев публиковали письма и заметки, приходившие к ним из России). Знакомый Брылкина И. К. Якоби давал Шевченко брошюру Герцена «Крещеная собственность». У некоего Гранда Шевченко познакомился со вторым томом «Полярной звезды». Здесь была опубликована первая статья из задуманного Огаревым большого цикла под общим названием «Русские вопросы». Данный том «Полярной звезды» вышел еще в 1856 году, так что, возможно, он странствовал по городу уже много месяцев. Нижегородец Варенцов привез из Москвы портрет Герцена (уж не родственник ли он П. М. Варенцову, знакомому Огареву по Нижегородской ярмарке?). Известный поэт П. В. Шумахер привез в Нижний из-за границы 4-й номер «Колокола» за 1857 г.⁷⁰ По-видимому, судя по приведенным фактам, бытование герценовских изданий в Нижнем было вполне обычным явлением. Распространялись они и в дальнейшем. В 1861—1862 гг. Огарев печатал в Лондоне массовым тиражом (тысячами экземпляров) листовки, обращенные к разным сословиям: «Что нужно народу?», «Что надо делать войску», «Что надо делать духовенству» и т. п. Воззвания ходили по всей России, в том числе и по Нижегородской губернии. По-видимому, об этих листовках и запрашивал нижегородского губернатора министр внутренних дел П. А. Валуев специальным секретным письмом (29 сентября 1862 г.): «С некоторого времени появились в России присланные из-за границы два литографированные письма изгнанника Огарева, заключающие в себе призыв к действиям против правительства и наполненные возмутительными требованиями. Покорнейше прошу ваше превосходительство внимательно следить, не появятся ли эти письма во вверенной вам губернии и, в случае появления, принять меры как к открытию

⁷⁰ См. «Дневник» Т. Г. Шевченко в любом издании, записи от 20 сентября, 11 октября, 3 ноября, 10 декабря 1857 г. и 6 февраля 1858 г.

виновных в распространении, так и способов самого распространения, донеся министерству об оказавшемся»⁷¹.

Но судя по архивным документам, ответа не последовало: может быть, нижегородские жандармы не увидели листовок, может быть, не нашли виновных...

Важно отметить и другую сторону: систематическую публикацию на страницах лондонских изданий (особенно «Колокола») сведений из Нижнего Новгорода. Вот тут-то, по-видимому, и сыграли свою роль нижегородские связи Огарева.

Правда, ряд сведений Герцен и Огарев черпали из официальных источников. Так в «Колоколе» (1 декабря 1857 г.) было перепечатано сообщение из английской газеты «Таймс» об отправке флигель-адъютанта Эльстон-Сумарокова усмирять крестьян в Нижегородскую губернию. 1 сентября 1865 года перепечатано из газеты «Норд» курьезное распоряжение нижегородской полиции о правилах поведения жителей города. В номере «Колокола» от 1 января 1867 г. опубликовано постановление нижегородского генерал-губернатора (взятое из петербургской газеты «Голос»), запрещающее женщинам носить «коротко обстриженные волосы, синие очки, башлыки» и платье без кринолина, т. к. такие женщины дают повод подозревать их в «нигилизме», т. е. в принадлежности к радикально настроенным кругам молодежи.

Из «Голоса» же «Колокол» черпал данные о шумном «соляном» деле, публикуя о нем сведения в течение апреля-мая 1867 г. Это известная история о том, как нижегородские дельцы братья Вердеревские совместно с чиновниками и полицией расхитили полтора миллиона пудов казенной соли. Из русских же газет «Колокол» публиковал сообщения о расстреле в Нижнем двух крестьян Юнисовых (1 ноября 1865 г.), солдата Исакова (1 июня 1867 г.), о смертной казни крестьянина Рузавина (приложение к «Колоколу» «Общее вече», 1 ноября 1863 г.) и ряд других.

Некоторые материалы о Нижнем Новгороде издатели «Колокола» получали от своих корреспондентов из столицы. Так, в газете от 8 сентября 1862 г. приводятся выдержки из записки лесного департамента относительно мнений губернских лесных ведомств (в том числе и нижегородского) по вопросу о возможности отдать в распоряжение крестьянских обществ лесные уча-

⁷¹ Нижегородский обл. архив, ф. 2, оп. 6а, № 54, л. 1.

стки. Из Петербурга же было получено сообщение о возмутительном факте: аресте на нижегородской ярмарке известного писателя-демократа, собирателя фольклора П. И. Якушкина («Колокол» от 1 декабря 1864 г.). Наверное, из Петербурга издатели «Колокола» узнали и о том, что Мельников-Печерский готовит публикацию сведений о нижегородских раскольниках («Колокол» от 1 июня 1858 г.).

Некоторые заметки о Нижнем дают повод предполагать, что они напечатаны в «Колоколе» непосредственно по личным воспоминаниям. Например, публикуя 15 мая 1861 г. бюджет русского государства на 1860 г., издатели к графе, где заем причислен к доходам, дают следующий комментарий: «...это подражание тому помещику, помнится, Безобразову, Нижегородской губернии, который с 70 душ сделал 200 тысяч долгу; он и намерения не имел платить, стало: что ни заем — то доход».

Или следующий факт. В особом листке-приложении к «Колоколу» — «Под суд!» (15 января 1860 г.) была помещена статья о тайном советнике Жадовском, который своим дворовым крестьянам покупал на Нижегородской ярмарке гнилые продукты. Редакция снабдила сообщение таким примечанием: «На ярмарке этой, сколько известно, есть особые подземелья, где совершается более или менее торговля интимная, и при том товарами, от таких лиц, такого качества и по таким баснословно дешевым ценам, что всего этого на общий вид торговли продавцам показывать нельзя, да и опасно. Мошенники, в особенности, интересуются такими подземельями».

Кто из издателей «Колокола» обладал хорошими познаниями в области «интимных» торговых махинаций нижегородских купцов? Кто знал быт нижегородских помещиков? Герцен, проезжавший через Нижний в ссылку и из ссылки в 1830-х годах, т. е. более двадцати лет назад, вряд ли был так осведомлен о нижегородских делах. Другие лица из герценовского окружения (не считая Огарева), даже если и были как-то связаны с Нижним Новгородом, то не могли активно в течение ряда лет служить «советниками» по нижегородским делам. Например, в 1860 г. наборщиком в типографии Герцена работал уроженец Нижнего Новгорода В. М. Эберман, но вскоре обнаружили его связи с русским посольством, и Герцен выгнал его как шпиона. В 1865 г. за границу бежал известный польский революционер Я. Домбровский вместе с женой, отбывавшей ссылку в Нижегородской

губернии, но вряд ли она участвовала в «Колоколе». Если подобные лица и могли принять участие в герценовских изданиях, то оно было эпизодическим. Нет никакого сомнения, что «нижегородские» примечания в «Колоколе» принадлежат перу Огарева, который был в течение 10 лет в курсе городских событий, особенно относящихся к ярмарке. Вероятно, ярмарочная обстановка оставила след в душе Огарева, он не забывал о ней даже за границей.

Большой интерес в этом отношении представляет его заметка в записной книжке: «Написать к К. о Нижегородской ярмарке, и о других»⁷². Даты в записной книжке ограничиваются 1859—1860 годами, страница с данным текстом — самая последняя в книжке, следовательно, с большой степенью вероятности заметку можно отнести к 1860 году. К кому она относится и по какому поводу? Из друзей и знакомых Огарева в 1860 г. можно выделить Е. Корша и К. Кавелина. Но, насколько нам известно, в этот период Е. Корш не занимался работами или статьями, в той или иной степени связанными с Нижегородской ярмаркой. Кавелин же, наоборот, был в гуще экономических теорий того времени и писал публицистические работы по данному вопросу. В 1860 г. он проводил лето в своем имении Кавелинке Самарской губернии, и оттуда послал в «Московские ведомости» описание Мариинской-Исакинской ярмарки, которое и было опубликовано (в № 169 газеты) под нейтральным заголовком «Из Бугурусланского уезда». Статья содержит восторженную характеристику ярмарки; говорится о преуспевании торговли, о росте оборотов, о росте количества и качества товаров. В условиях напряженной социально-политической обстановки в стране, в условиях революционной ситуации, когда торговля была несколько заморожена, очень уж странно было читать такой дифирамб. Не был ли Кавелин заинтересован в продаже каких-либо товаров своего производства (в статье почему-то очень расхваливается местный сыр)? Во всяком случае редакция газеты почувствовала какую-то фальшь в заметке Кавелина и хотя и опубликовала ее, но с соответствующим примечанием от редакции: «Предлагая нашим читателям этот отрывок из письма, полученного нами от людей, лично заинтересованных в успехе описыва-

⁷² Описание рукописей Н. П. Огарева. М., 1952. С. 77.

емой ярмарки, мы не можем, конечно, ручаться за верность сообщаемых в нем сведений».

Огарев, регулярно читавший петербургские и московские газеты, вполне мог прочесть эту заметку Кавелина и мог в результате задумать ответ ему, где бы описал реальное положение дел на русских ярмарках, особенно на Нижегородской. Правда, можно предположить, что Огарев не знал авторство Кавелина (заметка была без подписи), но в таком случае он просто мог задумать письмо в редакцию «Московских ведомостей», редактором которых в 1860 г. был Валентин Корш, брат приятеля Огарева. В таком случае шифр «К.» мог относиться к нему.

Не исключена также вероятность, что строки в записной книжке Огарева явились в ответ на письма хотя бы того же Кавелина, где шла речь о ярмарках вообще или, может быть, о Нижегородской ярмарке, в частности, которую Кавелин хорошо знал, ежегодно проезжая через Нижний Новгород по пути в свое имение в Самарской губ. Но писем Кавелина к Герцену и Огареву почти не сохранилось, письма же «лондонцев» к Кавелину полностью исчезли, если не считать черновики, оставшихся у Герцена и Огарева, так как Кавелин, боясь возможных обысков и репрессий в 1862 г., сжег все компрометирующие его бумаги, в том числе и письма Герцена и Огарева. Поэтому у нас нет возможности точно установить, по какому случаю Огарев записал фразу о Нижегородской ярмарке.

Вернемся, однако, к «Колоколу». Выше мы говорили о столичных сотрудниках. Но подавляющее большинство фактов нижегородской жизни Герцен и Огарев черпали, несомненно, из писем местных корреспондентов. Иногда, вероятно, редакторам «Колокола» присылались прямо вырезки из «Нижегородских губернских ведомостей». Губернские издания Герцен и Огарев не получали в Лондоне, да и из столиц вряд ли им посылали соответствующие данные; наверное, сообщения из местной печати шли непосредственно из Нижнего. Такова, например, публикация в «Колоколе» от 1 сентября 1862 г. распоряжения нижегородского губернатора Одинцова о командировании правительством жандармского генерала фон-дер-Лауница в Нижегородскую губернию и о предоставлении ему самых высоких полномочий (в 1862 г. было особенно неспокойно в России, и царское правительство спешно рассылало по всем краям своих держиморд для усиления репрессий). Фон-дер-Лауниц не заставил

себя долго ждать. «Колокол» от 15 октября перепечатывает из «Нижегородских губернских ведомостей» его приказ о том, что замеченные в каких-либо даже незначительных проступках нижние чины будут отдаваться на действительную бессрочную службу (т. е. до смерти служить в солдатах) или же ссылаться в отдаленные уезды северных губерний.

Но значительно больше, чем начальственных распоряжений, Герцен и Огарев публиковали неофициальных сведений о положении дел в губернии. Характерно, что печатные материалы издатели «Колокола» сопровождали ссылками на приватные сообщения. Например, наряду с официальным известием в «Колоколе» от 1 сентября 1862 г. о командировании фон-дер-Лауница, в приложении к этому номеру «Колокола», в листке «Общее вече» издатели поместили заметку о реальном значении этого распоряжения: «Нижегородскую ярмарку оцепили войском, под командой генерала Лауница, одного из генералов, всех более ненавидимых солдатами и офицерами за мелочное, жестокое обращение. Стало, Нижегородская губерния, в самое рабочее и прибыльное время, будет разорена постоем, а торговля на ярмарке сгнетена военно-полицейскими притеснениями. Ярмарка, на которую собиралось купечество и крестьянство со всех концов России, где торговый человек и рабочий человек находили дело и прибыль, ярмарка, которая в этом году безденежья и обеднения хоть бы сколько-нибудь да поправила торговые дела и поддержала людей, — ее-то именно в этот год правительство и вздумало сгубить военной осадой».

А в «Общем вече» от 15 октября, т. е. в приложении к тому номеру «Колокола», где был опубликован приказ Лауница о нижних чинах, также дается интересное дополнение. Приводится рескрипт царя — благодарность Лауницу за «достижение цели». В рескрипте подчеркивается, что и купцы с ярмарки преисполнены «искренней благодарности» к генералу. А далее следует опять реальный комментарий, поясняющий, что означает полицейский надзор на ярмарке. В 1859 г. Александр II, побывав в Нижнем, отдал приказ, запрещающий скорую езду через мост на ярмарку. «Это высочайшее распоряжение, — поясняет редакция «Общего вечера» — дает нижегородской полиции доходу около двух тысяч рублей серебром в ярмарочное время. На мосту стоят казаки, хватают у проезжающих под уздцы лошадей и тащут в караульни, устроенные по концам моста. Тут надо дать

выкуп не менее полтины серебра; а если мужик или извозчик не дает, то для начала суда его дуют нагайками, после чего всякий и платит, иной и последнюю копейку. Генерал Лауниц не воспрепятствовал этому грабежу».

Много данных публиковали Герцен и Огарев о жизни в губернии. В «Колоколе» от 1 октября 1858 г. сообщается: «Нижегородское дворянство, несмотря на то, что комитет существует с ранней весны, ничего не сделало (для освобождения крестьян. — Б. Е.); большинство проникнуто сознанием о необходимости выработать такие начала, которые заставили бы крестьян жалеть о теперешнем порядке».

В «Колоколе» от 1 октября 1860 г. опубликовано большое письмо, где подробно рассказывается о возмущении крестьян в имении известного нижегородского магната С. В. Шереметева, о посылке туда для умирения царского флигель-адъютанта Бобринского и о зверствах последнего. Несколько раньше, в «Колоколе» от 1 сентября 1859 г., автор письма в редакцию приводит случай избиения купца нижегородским губернатором Ф. В. Анненковым.

Кто же посылал Герцену и Огареву все эти материалы? Проблема корреспонденции в «Колоколе» — одно из самых крупных «белых» пятен в нашей исторической литературе. Дело в том, что Герцен из конспиративных соображений безжалостно сжигал после напечатания все черновики и письма. Поэтому исследователи изучали вопрос лишь по косвенным данным, что в конце концов дало ощутимые результаты: М. Клевенский составил список сотрудников Герцена по его зарубежным изданиям, включающий 100 имен («Литературное наследство», т. 41—42, М., 1941). Но, к сожалению, из этой сотни лиц нет ни одного, кто бы посылал сообщения из Нижнего. Однако все же имеются материалы, позволяющие назвать в качестве герценовских корреспондентов хотя бы несколько нижегородцев и тем самым дополнить список Клевенского.

Здесь в первую очередь следует назвать Валерия Николаевича Левашова. Его мать, Екатерина Гавриловна, одна из ярких, талантливых женщин в московском обществе 1830-х гг., была близкой знакомой Герцена и Огарева, когда они были еще студентами; она делала все, что могла, чтобы облегчить их судьбу, когда их арестовали и сослали. Теплые, дружеские чувства сохранили к ней Герцен и Огарев на всю жизнь. Валерий Никола-

евич был значительно моложе их, в тридцатые годы он был еще гимназистом (между прочим, в 1837 г. его готовил к поступлению в университет В. Г. Белинский), и лишь десяток лет спустя он мог общаться с друзьями матери как равный. У нас нет документальных доказательств о таких встречах, но они вполне вероятны, особенно относительно Огарева. В 40-х годах Левашов поселяется в Нижегородской губернии, и, судя по данным «Нижегородских губернских ведомостей», в конце 1840-х — начале 1850-х гг. посещает почти каждую ярмарку. Трудно представить, чтобы он не встречался там с Огаревым. Впоследствии, в период реформы 1861 г., Левашов занимал очень радикальную позицию в вопросе об освобождении крестьян, о земстве, требовал, чтобы все административные лица в сельской местности выбирались народом. Левашов был связан с подпольными студенческими кружками 1860-х гг. Письмоводителем у него (он служил макарьевским мировым посредником) служил Контович, связанный с группой молодежи, которая распространяла в Нижегородской и соседних губерниях антисамодержавные листовки. В этот период, по-видимому, и начал Левашов сообщать Герцену о различных нижегородских событиях, достойных публикации в «Колоколе». Но вскоре об этом пронюхало начальство. Нижегородский генерал-губернатор Н. А. Огарев (однофамилец Николая Платоновича, не путать!), обвинив Левашова в переписке с Герценом, продержал его около двух лет в тюрьме, выпустив лишь в 1865 г.⁷³ К сожалению, не осталось данных, что именно посылал Левашов в Лондон. Не исключена вероятность, что ему принадлежит письмо о крестьянских волнениях в усадьбе Шереметева и об усмирении народа графом Бобринским (существует, впрочем, версия, что это письмо послано кем-то из приближенных А. Н. Муравьева, губернатора).⁷⁴

Другим известным сотрудником Герцена и в то же время нижегородцем был Н. А. Добролюбов. Пока обнаружены лишь два произведения Добролюбова, опубликованные в Лондоне: статья о Педагогическом институте и стихотворение «На смерть помещика Оленина». Но вполне вероятно, что Добролюбову принадлежат и другие материалы, пересылавшиеся Герцену и Огареву,

⁷³ См. Юдин П. Либеральный помещик // Русский архив. 1897. № 9.

⁷⁴ Стреммоухов П. Д. Нижегородский губернатор А. Н. Муравьев // Русская старина. 1901. № 5. С. 351.

в том числе и нижегородские. Имеется интереснейшее свидетельство по этому поводу В. Глориантова, соученика Добролюбова по Нижегородской семинарии: «...приехав в Нижний уже литератором, он (Добролюбов. — Б. Е.) просил учителя семинарии, г. Сахарова, сообщать ему о всяких административных распоряжениях: они были ему нужны для переписки, которую он вел с Искандером»⁷⁵. Л. И. Сахаров, преподаватель естествознания, один из самых близких для Добролюбова людей в период его семинарской учебы, вполне мог быть таким корреспондентом, так как, вращаясь в чиновничьих кругах Нижнего, он знал всю подноготную, все закулисные махинации в губернском городе. А Добролюбов, таким образом, оказывался посредником в пересылке материалов за границу (ему это было сделать значительно легче, чем самим нижегородцам, т. к. Добролюбов мог избегать риска подвергнуть материалы перлюстрации и уничтожению в тайной полиции: ведь он мог отправлять их с петербургскими знакомыми, едущими за пределы России). Возможно, что не только Сахаров, но и другие близкие Добролюбову нижегородцы, участвовали в доставлении ему соответствующих данных.

Затем нельзя не вспомнить Н. М. Сатина. Оставшись в России, продолжая изредка, при okazji вести переписку с друзьями и в то же время продолжая посещать Нижегородскую ярмарку, он мог быть одним из верных источников сведений о делах на ярмарке и в городе. В воспоминаниях Ф. Е. Михайловского, бывшего студента Московского университета, а в конце 1850-х гг. управляющего имением Сатина, есть указание, что он, Михайловский, отправил Герцену письмо о «деяниях» Панчулидзева в Пензенской губернии, опубликованное потом в «Колоколе»⁷⁶, поэтому вполне были возможны и письма о Нижнем.

Наконец, поставщиками нижегородского публицистического «товара» Герцену и Огареву могли быть те жители города, которые ездили за границу и посещали Лондон. Таковым мог быть поэт-нижегородец П. В. Шумахер,⁷⁷ который, как мы зна-

⁷⁵ Нижегородский листок. 1902. № 121. Искандер — псевдоним Герцена.

⁷⁶ Лит. наследство. Т. 41—42. С. 600.

⁷⁷ О нижегородском периоде жизни П. В. Шумахера см. статью: *Никитина И. П. В. Шумахер // Писатели-нижегородцы. Горький, 1960. С. 5—36.*

ем по «Дневнику» Шевченко, привез из-за рубежа номер «Колокола». Таковым, наверняка, был зять В. Н. Левашова А. И. Дельвиг, много лет живший в Нижнем, а в 1858 и 1860 годах посещавший Герцена, как он сам писал впоследствии.⁷⁸

Сохранилась перлюстрированная копия письма управляющего Нижегородской удельной конторой барона Розена к А. И. Герцену, где, в частности, говорилось: «Пользуюсь поездкою приятеля моего, Петра Александровича Рихтера в Лондон, чтобы послать вам, многоуважаемый Александр Иванович, теплое, сердечное приветствие из Нижнего. Рихтер порасскажет вам, что у нас на Руси делается. Для Н. П. Огарева готовится характеристика здешних мировых посредников. Сколько между ними замечательных экземпляров, достойных скотного двора»⁷⁹. Интересно, что нижегородские материалы готовятся специально для Огарева! Да разве мало было и таких, которые не оставили о своих поездках ни писем, ни мемуаров? Ведь чуть ли не всякий выезжавший за пределы России в те годы считал необходимым посетить в Лондоне Герцена и Огарева. Многие безвозвратно исчезло для историка, многое еще будет в дальнейшем открыто. Но важно для нас одно: Огарев был тесно связан с Нижним Новгородом в период пребывания в России, и эта связь в той или иной форме поддерживалась и в период эмиграции. Многочисленные материалы о Нижнем Новгороде в изданиях Герцена и Огарева — яркое тому свидетельство.

⁷⁸ Дельвиг А. И. Мои воспоминания. Т. 2. 1913. С. 432.

⁷⁹ Красный архив. 1937. № 2. С. 223—224.

АП. ГРИГОРЬЕВ В ПЕТЕРБУРГЕ

Историческое наличие в дореволюционной России двух столиц создавало весьма сложный спектр социально-психологических отношений деятелей культуры к Петербургу и Москве. Известны закоренелые москвичи, которые прекрасно чувствовали себя в древнем городе, но зато не любили новую столицу: семейство Аксаковых, Хомяков, Островский. Были, наоборот, настоящие петербуржцы (не обязательно по рождению!), которые вряд ли смогли бы постоянно жить в Москве: Гончаров, Григорович, Панаев, Дружинин, Салтыков, Бенуа. Для деятелей русской культуры довольно редки случаи доброго отношения к обеим столицам одновременно, как и редки попытки стремиться к относительно гармоничному устройству своей жизни в обеих столицах (Карамзин, Пушкин, кн. В. Ф. Одоевский). Более типично — особенно для послепушкинской России — трагическое, напряженное отношение к миру, обуславливавшее сложное слияние любви и ненависти (в числе прочих объектов такого отношения — и Петербург с Москвою). Людям этого типа было плохо, неуютно в обеих столицах (Лермонтов, Белинский, Гоголь, Достоевский, Андрей Белый).

Ап. Григорьев по своему психологическому складу ближе к последней группе, чем ко всем остальным, но он отличается значительно более сильной связью с Москвой, связью и биографической, и мировоззренческой, и характерологической. Ведь детство и юность его прошли в Замоскворечье, учился и воспитывался он среди профессоров и студентов Московского университета; в этом городе сложился кружок самых близких его друзей во главе с А. Н. Островским, кружок, который, став «молодой редакцией» журнала «Москвитянин», дал литературное имя и читательское признание и Островскому, и Григорьеву,

Однако из 20 лет творческой деятельности поэта и критика у Григорьева восемь, причем самых интенсивных и результативных, приходятся на Петербург. Так уж сложилась его судьба, что журнальные редакции Москвы, и вообще-то немногочисленные, оказывались чужими, даже враждебными, питерские же замани-

вали, приголубливали, хотя бы ненадолго, а Григорьев был, конечно, по крови, по профессии именно журнальный критик, он не мог жить без журнала и вдали от журнала. Приходилось жить в холодном, нелюбимом, бюрократическом Петербурге...

С самого начала Григорьев попал в Петербург, так сказать, негативно, вовсе не желая этого душевно.

Дома он страдал от деспотической любви родителей. Сердце его было изранено ревностью: любимая девушка, Антонина Федоровна Корш, согласилась на брак с К. Д. Кавелиным. Служебные дела молодого человека все более запутывались: блестяще окончив юридический факультет, он был оставлен при Московском университете, вначале библиотекарем, а потом секретарем Совета, но трудно было найти работника, менее подходящего к таким должностям: он без записи раздавал всем библиотечные книги, а затем без всяких протокольных записей оставлял заседания Совета. Романтическая душа поэта рвалась в широкий и неизведанный мир, ей было тесно в привычной, уютной Москве. И Григорьев решил бежать из дому... в Сибирь. Но так как ему не удалось официально добыть себе какое-то служебное место в сибирских городах, находясь в Москве, то он решил прежде всего бежать в Петербург.

Ранним февральским утром 1844 года, когда родители еще спали, Аполлон с маленьким чемоданчиком исчез из отеческого дома... Так впервые он попал в Петербург. «Волею судеб, или лучше сказать, неодолимою жаждою жизни, я перенесен в другой мир. Это мир гоголевского Петербурга, Петербурга в эпоху его миражной оригинальности (...). В этом новом мире для меня промелькнула полоса жизни совершенно фантастической; над нравственной природой моей пронеслось странное, мистическое веяние, — но, с другой стороны, я узнал, с его запахом довольно тухлым и цветом довольно грязным, мир панаевской «Тли», мир (...) других темных личностей, мир «Александрии» в полном цвете ее развития с водевилями г. Григорьева I и еще скитавшегося Некрасова-Перепельского; с особенным креслом для одного богатого купчика и вместе с высокой артисткой, заставлявшей порою забывать этот странно-пошлый мир».¹

¹ Григорьев Аполлон. Воспоминания. Л., 1980. С. 6. Все дальнейшие ссылки на это издание даются в тексте, после цитаты и сокращенно: Воспоминания, 6. Очерк И. И. Панаева «Литературная тля» (1843) посвящен журнально-литературному «дну»; «Александрия» — Александринский театр; высокая артистка — В. В. Самойлова.

Григорьев переехал в Петербург почти одновременно с Белинским, и, подобно Белинскому, был потрясен столицей, ее контрастами, существенно изменил свое мироощущение; но какая поразительная разница в их «переломах»! Белинский в Петербурге пришел к социально-политическому осознанию «гнусной расшейской действительности» и объявил ей беспощадную борьбу, а у Григорьева лишь усугубилось трагическое, романтическое восприятие жизни. Пошлость мира, превращающегося в буржуазный, социальные контрасты и несправедливости вызывали и у Григорьева клоочущую ненависть:

Нет, не рожден я биться лбом,
 Ни терпеливо ждать в передней,
 Ни есть за княжеским столом,
 Ни с умилением слушать бредни.
 Нет, не рожден я быть рабом,
 Мне даже в церкви за обедней
 Бывает скверно, каюсь в том,
 Прослушать августейший дом.
 И то, что чувствовал Марат,
 Порой способен понимать я,
 И будь сам Бог аристократ,
 Ему б я гордо пел проклятья...

Пожалуй, одно из лучших русских стихотворений о николаевском Петербурге принадлежит Ап.Григорьеву; это стихотворение «Город», написанное поэтом 1 января 1845 года:

Да, я люблю его, громадный, гордый град.
 Но не за то, за что другие;
 Не здания его, не пышный блеск палат
 И не граниты вековые.
 Я в нем люблю, о нет! Скорбящею душой
 Я прозираю в нем иное —
 Его страдание под ледяной корою,
 Его страдание больное.
 Пусть почву шаткую он заковал в гранит
 И защитил ее от моря,
 И пусть сурово он в самом себе таит
 Волнение радости и горя,
 И пусть его река к стопам его несет
 И роскоши, и неги дани, —
 На них отпечатлен тяжелый след забот,
 Людского пота и страданий.

.... ..

И в те часы, когда на город гордый мой
Ложится ночь без тьмы и тени,
Когда прозрачно все, мелькает предо мной
Рой отвратительных видений...
Пусть ночь ясна, как день, пусть тихо все вокруг,
Пусть все прозрачно и спокойно, —
В покое том затих на время злой недуг,
И то — прозрачность язвы гнойной.

Кажется, никто еще до Григорьева не смел поэтически белые ночи сравнить с гнойной язвой...

Но Григорьев — не Белинский, не революционный демократ. Он непостоянен и контрастен, как и город, в котором он жил: от маратовских чувств он бросается в подпольный масонский кружок и в мистику, от реалистического пафоса «Петербургских повестей» Гоголя — в защиту консервативно-романтических «Выбранных мест из переписки с друзьями»; а потом следуют новые крайности, снова «циничный» атеизм и радикальное отрицание, и так все три первых петербургских года.

Сибирь была забыта. Григорьев страстно увлекся петербургским театром, писал и переводил пьесы, стал хорошим театральным критиком. Вскоре по приезде он сблизился с редакцией единственного тогда в России театрального журнала «Репертуар и пантеон», с редактором его В. С. Межевичем, пригласившим Григорьева поселиться в доме редакции, и стал фактически помощником Межевича по редактированию журнала. Редакция «Репертуара и пантеона», квартира В. С. Межевича и, следовательно, первая постоянная квартира А. А. Григорьева в Петербурге находилась близ Театральной площади, на Никольской улице, 5, в доме С. И. Гюбеня (дом сохранился, ныне — ул. Глинки, 6).

Так как Межевич одновременно редактировал «Ведомости Санктпетербургской городской полиции», то возможно именно он устроил еще Григорьева и на чиновничью должность в совсем не романтическое место — в Управу благочиния, т. е. в высшее полицейское управление города. Ходить на службу Григорьеву было недалеко: Управа благочиния размещалась в двух домах по Садовой улице, начиная от угла Вознесенского проспекта по направлению к Сенной площади (дома сильно перестроены; ныне этот дом № 55/57 по Садовой).

Родители, узнав об успехах сына, простили побег и даже послали к нему слугу Ивана, по прозвищу «Гегель» (наслушавшись студенческих споров о Гегеле, Иван во время театрального разъезда вместо «карету Григорьева» крикнул «карету Гегеля!»). Но родители рано порадовались.

Через полгода Григорьев уже переводится на службу в Сенат («младший помощник секретаря 1-го отделения 5-го Департамента»): очевидно, не очень сладка была работа в Управе. Впрочем и в Сенате Григорьев выдерживает всего полгода; затем следует еще полгода службы снова в Управе благочиния, и, наконец, Григорьев навсегда освобождается от чиновничьей должности! 7 декабря 1845 года он был «уволен по болезни» (а поступил впервые 26 июня 1844 года).

Теперь он мог полностью отдаться литературной деятельности. Он издает свои «Стихотворения» (СПб., 1846); суровый тогда к молодым поэтам Белинский нашел здесь «блестки дельной поэзии», хотя далее предостерегал автора от «туманно-мистических фраз» (статья «Взгляд на русскую литературу 1846 года»). Особенно активно выступает Григорьев как рецензент, литературный и театральный, в «Репертуаре», в «Финском вестнике» и даже в полицейских «Ведомостях» Межевича.

Литературно-критические взгляды Григорьева тех лет тоже были весьма противоречивы, как и общее его мировоззрение: от защиты «натуральной школы» и писателей круга Белинского до критики в адрес «натуральной школы» за «фатализм», за подчинение человека низменной среде (здесь сказался романтический пафос «свободной воли» у гордой личности).

Чиновничье-казенная столица все больше начинает тяготить Григорьева, и уже в феврале 1846 года он пишет очень резкое стихотворение «Прощание с Петербургом»:

Прощай, холодный и бесстрастный,
 Великолепный град рабов,
 Казарм, борделей и дворцов,
 С твоею ночью гнойно-ясной,
 С твоей холодностью ужасной
 К ударам палок и кнутов,
 С твоею подлой царской службой,
 С твоим тщеславьем мелочным,
 С твоей чиновнической жопой,

.....

С твоей претензией — с Европой
Идти и в уровень стоять ...
Будь проклят ты, е - - а мать!

Радикальные настроения поэта усиливаются, он впервые в конце февраля 1846 года покидает столицу, едет в Москву, где пишет самое революционное свое стихотворение «Когда колокола торжественно звучат...» о вечевом колоколе:

И звучным голосом он снова загудит,
И в оный судный день, в расплаты час кровавый,
В нем новгородская душа заговорит
Московской речью величавой...
И весело тогда на башнях и стенах
Народной вольности завевт красный стяг...

Любопытно, что это стихотворение написано в Москве и с душой о Кремле: именно здесь он мыслил начало всенародного восстания, а не в чопорном Петербурге.

Однако в Москве Григорьев пока не нашел себе пристанища и вынужден был еще около года прожить в столице. Лишь в январе 1847 года он более чем на 10 лет покидает Петербург (за этот, второй московский период жизни, он лишь дважды эпизодически приезжает в Петербург: в апреле 1852 года он, желая работать в системе военно-учебных заведений, держал при Главном штабе экзамен на учителя истории, а в марте 1857 года был в столице по своим журнальным делам).

Много воды утекло за это время: Россия пережила крах европейской революции 1848 года, мрачное семилетие, смерть Николая I в 1855 году, начало новой эпохи, приведшей к крестьянской реформе 1861 года и к революционной ситуации в стране. А Григорьев за это время пропитался консервативными идеями погодинского «Москвитянина», вместе с Островским (хотя каждый по-своему!) медленно и трудно освобождался затем от власти патриархальных традиций, но он уже до самой смерти сохранит, при всей ненависти к самодержавию, враждебность к революционным демократам за их желание насильственной ломки «живой», «органической» жизни.

Перессорившись со всеми московскими журналистами, пережив мучительную любовную драму, весь опутанный долгами, Григорьев опять бежит из Москвы, на этот раз за границу; он согласился поехать во Францию и Италию с семьей князей Трубецких в качестве домашнего учителя.

Всегда, когда Григорьев находился в духовном или материальном кризисе, он пытался его преодолеть пространственными перемещениями. Веруя в Бога, в Провидение, он совершенно был чужд фатального ожидания, ибо сам желал познать свою судьбу, поэтому активно лез на «рожон», испытывая все новые и новые варианты жизнеустройства.

Вечером 7 июля 1857 года он приехал в Петербург, остановившись в какой-то гостинице, и прожил почти неделю, 12 июля он писал М. П. Погодину: «В городе Св. Петра — истинная мерзость запустения. Хандра да еще глазная болезнь меня в это время измучили (...) . Никого не видал, кроме Горбунова да Ап. Майкова». ²

13 июля Григорьев выехал за границу на пароходе «Прусский Орел», а вернулся в Петербург в конце октября 1858 года. Начался второй петербургский период его жизни.

В Италии, во Флоренции Григорьев познакомился с правнуком знаменитого екатерининского вельможи А. А. Безбородко графом Г. А. Кушелевым-Безбородко. Будучи писателем-дилетантом и одним из богатейших дворян России, граф рвался к активной деятельности, решил основать новый журнал «Русское слово», куда вербовал видных литераторов. Я. П. Полонский, уже приглашенный Кушелевым-Безбородко, рекомендовал графу своего студенческого товарища, и Григорьев, расставшись с Трубецкими, на деньги графа, с большими приключениями, приехал в Петербург главным критиком «Русского слова».

У нас нет сведений, где поселился Григорьев в первые месяцы петербургской жизни, но вся его литературная деятельность протекала в редакции «Русского слова», помещавшейся в собственном доме графа Г. А. Кушелева-Безбородко на Неве, на углу Гагаринской набережной и Гагаринской ул. (дом сохранился; ныне это набережная Кутузова, 24, угол ул. Фурманова). А летом 1859 г. Григорьев снял дачу в Полюстрове ³ (где он проводил

² Григорьев *Аполлон*. Письма. М., 1999. С. 138. Все дальнейшие ссылки на это издание даются сокращенно и в тексте: Письма. С. 138. Горбунов — Иван Федорович, известный рассказчик и актер Александринского театра.

³ «... крошечный домик, стоящий на конце Полюстрова, посреди ровного зеленого болотца...», — писал Н. Н. Страхов (цит. по изданию: Григорьев *Аполлон*. Воспоминания. М.; Л., 1930. С. 437; дальнейшие ссылки на это издание даются сокращенно и в тексте: *Восп.* 1930. С. 437).

летние месяцы и в сороковых годах), рядом с загородным дворцом графа, известным домом, построенным архитектором Д. Кваренги, огражденным галереей львов с цепями в зубах (ныне — Свердловская наб., 40), так как вся редакция журнала перебазировалась в эту дачную резиденцию мецената. Граф в духе времени любил приглашать и к себе на дачу, и в журнал разночинные круги литераторов, поэтому манерному Д. В. Григоровичу его дворец представлялся плебейским Вавилоном: «Странный вид имел в то время этот дом, или, скорее, общество, которое в нем находилось. Оно придавало ему характер караван-сарая, или, скорее, большой гостиницы для приезжающих. Сюда по старой памяти являлись родственники и рядом с ними всякий сброд чужестранных и русских пришлецов, игроков, мелких журналистов, их жен, приятелей и т. д. Все это размещалось по разным отделениям обширного, когда-то барского, дома, жило, ело, пило, играло в карты, предпринимало прогулки в экипажах графа, нимало не стесняясь хозяином, который, по бесконечной слабости характера и отчасти болезненности, ни во что не вмешивался, предоставляя каждому полную свободу делать что угодно».⁴

В конце 1858 — начале 1859 гг. Григорьев знакомится с Марией Федоровной Дубровской, женщиной с сомнительным прошлым и — тоже в духе времени — делает ее своей гражданской женой. Он поселился в ее квартире на Невском проспекте, между Владимирской и Грязной-Николаевской (ныне ул. Марата), в доме каретника И. Л. Логинова (ныне это участок дома № 61 по Невскому проспекту). Последовательность событий, т.е. вначале ли Григорьев поселился у незнакомой Дубровской, или прежде переезда они познакомились в другом месте (как об этом можно судить по автобиографической поэме «Вверх по Волге») — документально не устанавливается. Но если сюжет поэмы достоверен, то прежде состоялось знакомство где-то в гостинице, и лишь потом началась совместная жизнь.

В июле-августе 1859 г. Григорьев из-за разногласий с коллегами по редакции и с самим Кушелевым-Безбородко покидает «Русское слово» и обрекает себя на нищенское существование литературного поденщика. Зима 1859/60 года была одной из са-

⁴ Григорович Д. В. Литературные воспоминания. М., 1961. С. 160.

мых страшных в жизни Григорьева, он пережил, как сам выражался, не одну «некрасовскую ночь» (сравнение с ситуацией некрасовского стихотворения «Еду ли ночью по улице темной...»); М. Ф. Дубровская родила сына, который вскоре умер от холода и истощения. Григорьев так писал об этом Н. Н. Страхову: «Было время — зимою 1859 года в декабре — в холодной нетопленной квартире моей в доме Логинова на кровати лежала бедная, еще не оправившаяся от родов женщина — а в другой комнате стонал без кормилицы больной, умирающий ребенок, и добрый, великодушный Евгений Эдельсон являлся ко мне проповедником семейных обязанностей» (Письма. С. 275). А когда Григорьев попросил своего бывшего товарища по «Москвитянину» не о словесной, а о деловой помощи, то тот ретировался.

Очевидно, после марта 1860 года (последнее известное письмо, подписанное адресом дома Логинова — письмо Григорьева к Погодину от середины марта 1860 г.) он поселился на Невском же проспекте, в доме Лопатина. Об этой квартире сохранились воспоминания К. К. Случевского: «Аполлон Григорьев жил в то время в известном всему Петербургу доме Лопатина, длинном двухэтажном каменном строении, тянувшемся по Невскому проспекту в том именно месте, где и в настоящее время проходит, благодаря Трепову, Пушкинская улица. Григорьев жил во дворе». ⁵ Дом этот, тянувшийся от самой Лиговки, не сохранился; сквозь него была в 1874 г. пробита нынешняя Пушкинская улица (первоначально называвшаяся Новой). Однако в своей статье Случевский говорит о конце 1859 года, когда — достоверно известно — Григорьев жил еще в доме Логинова. Так что скорее всего Случевский посетил Григорьева в доме Лопатина не в конце 1859 года, а в середине или в конце 1860.

Именно о 1860 годе и, наверное, об этой именно квартире пишет другой мемуарист, А. П. Милюков: «...я в первый раз поехал к Григорьеву. Он жил в небольшой квартире, недалеко от Знаменской церкви, и застал у него несколько до тех пор незнакомых мне лиц, и в том числе А. А. Фета. Гости пили чай, а хозяин в красной шелковой рубашке русского покроя, с гитарой в руках, пел русские песни. Голос у Аполлона Александровича был гибкий

⁵ Случевский К. Одна из встреч с Тургеневым (Воспоминание) // Денница: Альманах 1900 года. СПб. С. 201.

и красивый, и ему придавали особую красоту какая-то задушевность в чувстве и тонкое понимание характера нашей народной поэзии. На гитаре играл он мастерски» (Восп. 1930. С. 558—559). Знаменская церковь, находившаяся на углу Невского проспекта и Лиговки, была как раз напротив дома Лопатина.

Журнальные связи Григорьева в 1860 г. были случайными, он сотрудничал то в «Отечественных записках», то в «Сыне отечества», то в «Светоче», то начал было издавать (и, конечно, неудачно) журнал «Драматический сборник».

Осенью 1860 г. Григорьев снова предпринимает попытку перебраться в Москву. Его приглашает к сотрудничеству в журнале «Русский вестник» М. Н. Катков. Но идейные разногласия с издателем и растрата денег, выданных Григорьеву на вербовку петербургских коллег, приводят к разрыву. Материальное положение Григорьева к концу 1860 года становится ужасным, он безнадежно запутывается в долгах. Ростовщик К. Лаздовский подает на него в суд за просрочку векселя в 400 рублей, и Григорьев 11 января 1861 года впервые попадает в долговую тюрьму.⁶

Долговая тюрьма, «яма», так хорошо знакомая читателям и зрителям пьесы А. Н. Островского «Свои люди — сочтемся», существовала за счет истцов, т. е. пострадавших купцов и ростовщиков: они содержали за свои деньги несостоятельных должников, пока те не расплачивались, или же пока кредитору не надоело кормить недруга, с которого нечего было взять. Естественно, что содержание было самое нищенское.

К счастью, смотритель тюрьмы был любителем русской литературы. А. П. Милюков оставил колоритные воспоминания о заключении Григорьева и о надзирателе: «Это был добрый старичок, большой почитатель пишущей литературной братии. Он смотрел на своего талантливую заключенника с нескрываемым

⁶ Р. Виттакер (Нью-Йорк), детально занимавшийся биографией Григорьева, первоначально предполагал (на основании донесения тайного полицейского агента от 30 января 1861 г. о Григорьеве, находившемся тогда на свободе), что Григорьев сел в долговую тюрьму лишь в феврале. Но скорее всего в дату агентурной записки вкралась ошибка, ибо в письме Григорьева от 11 января к А. П. Милюкову сообщается: «Я *сажусь*» (Письма. С. 244); его же письмо к М. П. Погодину от 30 января — 13 февраля отправлено из тюрьмы (там же), а в письме А. В. Дружинина к И. С. Тургеневу от 31 января есть строка: «Апол. Григорьев сидит» («Тургенев и круг „Современника“» М.; Л., 1930. С. 224).

уважением, оказывал ему возможное снисхождение и давал разные льготы, даже отпускал иногда в город, на честное слово воротиться ночевать; а если нашего узника навещал кто-нибудь из литераторов, то старик позволял видеться с ним, вместо общей залы, в своей собственной квартире и только просил позволения самому присутствовать, как он выражался, «при умной беседе господ сочинителей». Когда мы с М. М. Достоевским пришли в первый раз навестить Аполлона Александровича в заточении, его вызвали в приемную, где было в то время несколько других узников с своими гостями: грузинская царевна в золотой повязке с камнями, купец в длиннополом сюртуке и высоких сапогах, франт с предлинными усами в бархатном пиджаке и еще кое-какие долговые личности с сосредоточенными физиономиями. Мы едва успели оглядеться, как смотритель, узнав наши фамилии, немедленно разрешил идти в номер нашего приятеля, а потом пригласил всех на чай в свою квартиру» (Восп. 1930. С. 561—562).

В 1860-х годах долговая тюрьма в Петербурге помещалась в доме купчихи Т. В. Тарасовой (отсюда просторечное название «Тарасовка»), в начале 1-й роты Измайловского полка, сразу же после Павловского кадетского корпуса, расположенного на углу Царскосельского проспекта (ныне — Московского) и 1-й роты (ныне — 1-й Красноармейской). Дом не сохранился, находился он на участке дома № 3/5 по 1-й Красноармейской улице.

Вышел Григорьев из Тарасовки в феврале; расплатился ли он с кредитором или был отпущен с богом — неизвестно, но в тюрьме он довольно интенсивно работал, написал несколько статей, в том числе и известные большие статьи «Народность и литература», «Западничество в русской литературе», «Знаменитые европейские писатели перед судом русской критики». Все эти статьи вскоре будут напечатаны в новом журнале, организованном братьями Достоевскими — «Время». А в газете «Северная пчела» от 27 апреля 1861 г. Григорьев опубликовал уникальную для него статью, написанную под впечатлением пребывания в «яме»: «Несколько замечаний о значении и устройстве долговых отделений». По выходе из тюрьмы Григорьев сближается с Ф. М. Достоевским и вместе с ним стал основателем нового идеологического течения — почвенничества, стремившегося, несколько эклектично, впрочем, соединить в себе свойства западничества и славянофильства (антиреволюционный пафос наро-

да и народности в сочетании с идеалом просвещения, «подыма-ния» народа до вершин европейской культуры). Григорьев становится главным критиком во «Времени».

Однако начавшиеся вскоре сложные разногласия с Достоевским (наиболее заметными были споры о славянофильстве: Григорьев считал старших славянофилов — Хомякова, Киреевского — своими учителями, Достоевский же к ним относился холодно) и запутанные денежные дела побуждают Григорьева к типичному для него поступку: он неожиданно устраивается преподавателем Кадетского корпуса в Оренбурге и 20 мая 1861 года покидает Петербург вместе с М. Ф. Дубровской.

В Оренбурге Григорьев не выдержал и года, и в мае 1862 года он буквально бежит и от коллег по корпусу, и от Марии Федоровны. В конце мая он снова возвращается в Петербург, на этот раз уже окончательно, если не считать нескольких случайных поездок в Москву. Вернулся он все-таки в круг Достоевского и поселился близ редакции «Времени». Редакция помещалась тогда в квартире старшего брата Достоевского, Михаила Михайловича, на углу Малой Мещанской и Екатерининского канала, в угловой квартире 2-го этажа (дом этот и ныне сохранился: Казначейская, № 1, на углу канала Грибоедова). Здесь же жил в 1861—1863 гг. и Федор Михайлович Достоевский. С лета 1861 г. недалеко поселился другой сотрудник «Времени», ученик А. А. Григорьева Н. Н. Страхов: он жил на Большой Мещанской, в доме напротив Столярного переулкa (ныне улица Пржевальского), это ныне дом № 39 по Казанской ул., тот самый дом, где почти четыре десятилетия назад жил великий польский поэт Адам Мицкевич.

А Григорьев поселился на Вознесенском проспекте, в доме Соболевской, № 49, кв. 4. Дом по счастливой случайности и сейчас носит тот же номер. Это последняя известная квартира Григорьева. Здесь им написаны лучшие статьи для «Времени»: «Стихотворения Н. Некрасова», «Лермонтов и его направление», мемуары «Мои литературные и нравственные скитальчества». Здесь же, в его квартире, была редакция нового журнала «Якорь», издание которого организовал книготорговец Ф. Стелловский, а в главные редакторы пригласил Григорьева. Журнал, впрочем, успеха не имел, и последние месяцы жизни, после запрещения «Времени», Григорьев сотрудничал во втором журнале Достоевских, «Эпохе».

Активно выступает Григорьев и как театральный критик; участвует также в любительских спектаклях в качестве самобытного актера. П. Д. Боборыкин рассказывает об одной постановке «Горя от ума» в Кронштадте, где мемуарист играл Чацкого, а Григорьев должен был играть Репетилова. Григорьев перед спектаклем развивал очень глубокие мысли о Репетилове как поверхностном, но вовсе не карикатурном персонаже: иначе разве стали бы с ним знаться лучшие люди эпохи? Интересные идеи развивал Григорьев и относительно Чацкого, особенно о его аристократичности, которая мешает ему понять по-настоящему и Молчалина, и Софью. К сожалению, перед самым выходом на сцену Григорьев из-за обильных возлияний оказался, по выражению посланного к нему, «неудобен», и спектакль чуть не сорвался (Восп. 1930. С. 569—577).

Снова денежные дела Григорьева запутываются и из-за ничтожного долга в 100 рублей, который он был бессилён уплатить, он попадает в «дачу Тарасовку», как он стал теперь подписывать свои послания к друзьям из долговой тюрьмы. Сел он туда, очевидно, в конце мая — начале июня 1864 г. (8 июня он уже пишет Н. Страхову из «Тарасовки») и пробыл очень долго: кредитор оказался упорный. Да и старика-смотрителя, видимо, уже не было. Отчаянные письма к друзьям мало помогали. Вот, например, отрывок из письма к Страхову от 3 сентября: «... (не говорю уж о непереносной пище и недостатках в табаке и чае) — задолжавши кругом тут же людям, беспрестанно вертящимся на глазах, — протухши от пота, — ибо белье не отдаёт прачка, — не имея какого-либо костюма, можно что-либо думать? (...) хоть за прежние-то заслуги и за «Записки» — не третируйте меня хуже щенка, покидаемого на навозе» (Письма. С. 289).

Лишь 21—22 сентября — через 4 месяца! — Григорьев был освобожден: его выкупила меценатка генеральша А. И. Бибилова. Здоровье писателя было очень подорвано, он умер 25 сентября, через 3 дня по выходе из тюрьмы, от удара, т. е., по-нынешнему, от инсульта. А 28 сентября Григорьева хоронили на Митрофаньевском кладбище (за Балтийским вокзалом). Вот как описывает похороны П. Д. Боборыкин: «Проводить Григорьева собралось немного народу: редакция журнала «Эпоха», несколько человек из «Библиотеки для чтения», два-три актера, в том числе П. В. Васильев, и какие-то личности в странных одеждах,

как оказалось, пансионеры дома Тарасова, сидевшие с Григорьевым в одной комнате. В церкви все заметили бывшую актрису г-жу Владимирову. Она приехала проводить в могилу того театрального критика, который относился к ней всегда более чем снисходительно, находил даже в ней задатки большого дарования. И оказалось, что г-жа Владимирова никогда даже не видала в лицо покойного, почему и попросила одного из распорядителей похорон приподнять крышку гроба: гроб стоял в церкви закрытым. Это — черта чрезвычайно характерная и выгодно оттеняющая нравственную сторону деятельности Григорьева как сценического рецензента» (Восп. 1930. С. 585).

В 1930-х годах по инициативе проф. В. С. Спиридонова прах Григорьева был перенесен на Литераторские мостки Волкова кладбища и захоронен недалеко от могил Белинского и Добролюбова.

8 октября 1964 года, ровно через 100 лет после смерти Григорьева, литературная общественность Ленинграда организовала чествование большого и сложного литератора; у могилы Григорьева состоялся митинг, импровизированный литературный утренник, с чтением отрывков из произведений писателя.

Приложение: указатель адресов Ап. Григорьева в Петербурге

Наименование	Годы	Исторический адрес	Современный адрес	Современное состояние дома
А. А. Григорьев	1845 январь 1847	Никольская, 5, дом О. И. Гюбеня	Ул. Глинки, 6	Сохранился
	Начало 1859-март 1860	Невский пр., 60, дом И. Л. Логинова, кв. М. Ф. Дубровской	Невский пр., участок дома № 61	Не сохранился
	1860	Невский пр., 76—78, дом И. Ф. Лопатина	Невский пр., участок между Лиговкой и Пушкинской ул.	Не сохранился

	1862— 1864	Вознесенский пр., 49, дом Соболевской, кв. 4	Вознесенский пр., 49	Сохранился
Граф Г. А. Кушелев-Безбородко	1840— 1870-е	Гагаринская наб., 24, собственный дом	Кутузовская наб., 24	Сохранился
	1840— 1870-е	Полюстрово, собственный дворец	Свердловская наб., 40	Сохранился
В. С. Межевич	1840-е	Никольская, 5, дом О. И. Гюбена	Ул. Глинки, 6	Сохранился
Н. Н. Страхов	1860-е	Большая Мещанская, дом напротив Столярного переулка	Казанская ул., 39	Сохранился
Управа Благочиния	1840— 1860-е	Садовая ул., №№ 58, 60	Садовая ул., участок дома 55/57	Не сохранился
Тюрьма долговая	1860-е	1-я рота Измайловского полка, дом 3, Т. В. Тарасовой	1-я Красноармейская ул., участок дома 3/5	Не сохранился
Редакции журналов: «Репертуар и пантеон»	1845— 1846	Никольская ул., 5, дом О. И. Гюбена	ул. Глинки, 6	Сохранился
«Русское слово»	1858— 1860	Гагаринская наб., 24, дом графа Г. А. Кушелева-Безбородко	наб. Кутузова, 24	Сохранился

«Якорь»	1863— 1864	Вознесенский пр., 49, дом Соболевской, кв.4	Вознесенский пр., 49	Сохранился
Редакции газет: «Ведомости СПб. Городской полиции»	1840-е	Никольская ул., 5, дом О. И. Гюбена	ул. Глинки, 6	Сохранился

АП. ГРИГОРЬЕВ В ОРЕНБУРГЕ

К февралю — марту 1861 года количество бед и конфликтов у Григорьева опять перешло критический уровень и потребовало радикальных решений: запутался в долгах, запутался в семейных делах, начались ссоры с Достоевскими, хозяевами журнала «Время». И, как всегда, Григорьев обратился к перемене мест. На этот раз он отправился в Оренбург.

Очевидно во время отсидки в январе в долговой тюрьме он уже принял такое решение. В Оренбургском кадетском корпусе скончался учитель русской словесности, и Григорьев узнал о вакансии, подал документы; 29 марта вышел высочайший приказ по военно-учебным заведениям об определении его учителем в корпус. Последует год оренбургской жизни, бурной, драматичной, творческой...

О подробностях этого оренбургского года мы знаем благодаря архивным разысканиям и публикациям дореволюционного историка П. Юдина и помощи замечательного современного краеведа В. В. Дорофеева.

Григорьеву было приятно внимание, которое проявило к нему начальство корпуса: оно, заинтересованное в хорошем преподавателе, фактически и выкупило бедолагу из тюрьмы, заплатив за него 400 рублей долгов (наверное, в счет будущих жалований?) Но он не спешил уехать из столицы, после государева приказа он еще два месяца прособирался и выехал лишь 20 мая, да еще совсем забыл, что он должен был рапортовать Штабу военно-учебных заведений о своем отъезде — ведь он теперь был как бы военнослужащий! В штабе волновались несколько месяцев, 23 августа, наконец, сделали запрос в Оренбург: прибыл ли учитель Григорьев? и если прибыл, то почему не «донес» о дне выезда в штаб?

Директор корпуса генерал-майор М. С. Шилов потребовал от нерадивого учителя рапорт и получил следующий текст: «... в самый день отъезда моего из Санкт-Петербурга, мая 20-го дня, я написал рапорт об отъезде моем в Штаб военно-учебных заведений и опустил оный в ящик городской почты, не считая

обязательным привозить его лично». Так что сваливать вину на почту и тогда можно было!

Оренбургский кадетский корпус имел недолгую историю. Местное дворянство, не имея у себя гимназий, в начале XIX века стало добиваться открытия среднего учебного заведения. А так как создатель города адмирал и тайный советник И. И. Неплюев оставил некоторые средства, да еще были пожертвования оренбуржцев, то в январе 1825 года удалось при монаршем благоволении открыть военное училище, которое в 1844 году было преобразовано в неплюевский кадетский корпус.

Благодаря привилегиям, дарованным Александром I училищу (они потом перешли и к кадетскому корпусу), поступающим в него на службу выдавались двойные прогоны и не в зачет целое годовое жалованье учителя — в 1862 году оно составляло 810 рублей серебром, — чтобы по прибытии человек мог обзавестись квартирой и домашним скарбом. Правда, Григорьеву в Петербурге выдали не двойные, а одинарные прогоны, и пока не годовую, а полугодовую сумму, но он еще умудрился одолжить у петербургского купца Насовского 63 рубля, поэтому поехал с громадной тогда суммой, более 500 рублей серебром, их бы с избытком достало нормальному человеку доехать до Владивостока; но не Григорьеву, которому их еле-еле хватило дотянуть до Оренбурга.

Еще, слава Богу, с ним ехала М. Ф. Дубровская, без нее Григорьеву и до Оренбурга денег бы не осталось. Ехали медленно, почти месяц: до Твери на «чугунке», на поезде; от Твери до Самары на пароходе, но с остановками во всех крупных городах; от Самары до Оренбурга — на перекладных; учителю корпуса полагались две лошади. Тверь показалась Григорьеву мертвенной, лишь иконостас в соборе восхитил его, зато Ярославль очаровал. Четыре дня православный литератор обходил старинные церкви и монастыри, лицезрел чудотворную икону Толгской Божией Матери, которая особенно ему была близка: ее образком Аполлона благословила в свое время покойная мать. Нижний Новгород он оценил и как современный город (позднее в поэме «Вверх по Волге» писал:

Вот Нижний под моим окном
В великолепии немом
В своих садах зеленых тонет...),

и как историческую святыню, когда у гроба Минина в душе поэта всходила рассветная заря:

Хотелось снова у судьбы
 Просить и жизни, и борьбы,
 И помыслов, и дел высоких...

«Казань мне не понравилась, — писал Григорьев Н. Н. Страхову 18 июня 1861 года. — Татарская грязь с претензиями на Невский проспект». В районе Жигулей неисправимый романтик сожалел, что нет теперь разбойников, вместо «Сарынь на кичку» слышишь «на водку!» Все дальнейшие города (Самара, Бузулук, Оренбург) он характеризовал очень нелестно как «сочиненные правительственные притоны», а для Григорьева «сочиненное» в противовес «естественно рожденному» был худший эпитет.

В том же письме к Н. Н. Страхову он обрисовал Оренбург как «смесь скверной деревни с казармою». Главное, не увидел здесь старины: «Ни старого собора, ни одной чудотворной иконы — ничего, ничего...» В этих последних сетованиях он был глубоко неправ: многовековых соборов в самом деле в Оренбурге не было, город основан в 1743 году, но сразу же стараниями губернатора И. И. Неплюева построены две церкви: Преображенская (1750) и Введенская (1752), бывшие потом полтора столетия кафедральными соборами города (первая — летним собором, вторая — зимним). Преображенскую церковь, увы, взорвали в советское время; она находилась, как и Введенская, на набережной реки Урал, рядом с гауптвахтой (ныне на ее месте — большая трансформаторная будка). Да и в Неплюевском кадетском корпусе, где служил Григорьев, находилась историческая реликвия — походная церковь Воскресения Христова, пожалованная Петром I своему крестнику калмыку Баксадай-Дорджи (в крещении Петру Петровичу Тайшину); церковь была богата иконостасом и дорогими предметами крещения. А чудотворные иконы были если не в Оренбурге, то в Оренбургском крае. В городе Табынске Уфимской губернии (она входила в Оренбургское военное губернаторство до 1865 года) находилась чудотворная Казанская икона, которую ежегодно привозили в Оренбург.

Глубоко неправ также был Григорьев, не находя в Оренбурге «следов истории». Уж Оренбургский-то край никак не заслуживал такой оценки: а история казачества? а сложные взаимоотношения с южными соседями России? а Пугачевский бунт? Странно, что

хорошо знавший русскую историю мыслитель игнорировал *местную* историю...

Во время пребывания Григорьева в Оренбурге там, конечно, что-то было от «деревни» и «казармы»: ведь город был пограничный, в нем было много войск. Но столичный литератор преувеличивал убогость города. Оренбург тогда был центром генерал-губернаторства, включавшего две губернии — Оренбургскую и Самарскую (не забудем еще, что в Оренбургскую губернию тогда входили и Башкирия, и северные районы Казахстана). В 1861 году в Оренбургской губернии жителей было около двух миллионов человек, да еще 35 тысяч человек войсковых (казаки и солдаты). Население Оренбурга — 25 тысяч человек. Город был насыщен и окружен мусульманами (башкиры, татары, казахи, именовавшиеся тогда «киргизами»). Показательна таблица «инородцев» Оренбургского уезда 1861 года, составленная не по национальностям, а по вероисповеданию: католиков — 300 человек, лютеран — 280, мусульман — 120 тысяч.

С 1860 года генерал-губернатором края стал генерал-адъютант А. П. Безак. Местный летописец не очень высоко оценил его человеческие качества: «Был мелочен, подозрителен и придирчив, оказывал потворство кляузничеству и ябедничеству»; но в то время он был активным и толковым администратором: способствовал развитию торговли, почему пользовался авторитетом у местных купцов, много сделал для превращения кочевых казахов в оседлых землепашцев, организовал Комитет вспомоществования бедным; при Безаке по ходатайству епископа Антония в Оренбурге открыли духовное училище.

Но, как и во всей России, в городе царствовало бюрократическое чиновничество, процветало не только ябедничество, но и взяточничество. Незыблемо соблюдалась служебная иерархия. Безак мог продержать просителей в своей приемной несколько часов, не удосужившись выйти к ним. Григорьев, однажды оказавшись в числе таких унылых просителей, сочинил сатирическое стихотворение и на «хозяев», и на «рабов», ходившее по городу в виде песни; припевом было двустишие:

Эх-ма, спину гнут:
Кабы им хороший кнут!

Неожиданный всплеск сатирического таланта поэта принес ему большую популярность среди оренбуржцев, которые запомнили его обобщающую эпиграмму:

Скучный город скучной степи,
Самовластья гнусный стан.
У ворот острог да цепи,
А внутри иль хам, иль хан.

Ходила также легенда, что когда вышел приказ по Неплюевскому корпусу: учителя должны вместе с кадетами говеть на четвертой неделе Великого Поста и каждый преподаватель обязан был расписаться под приказом, то Григорьев вместо имени вписал четверостишие:

Хоть много я грехов имею,
В них каюсь, их стыжусь, —
По приказанью не говею,
По барабану не молюсь.

Поселился Григорьев в доме купца Лодыгина на главной улице города — Николаевской, в советское время переименованной в Советскую (дом по нынешней нумерации — 32). Занимал он скромную квартиру в две комнаты (возможно, в мезонине), помещение было удобно центральным расположением — напротив Гостиного двора, недалеко от учебных зданий корпуса. Дом этот был одним из самых знаменитых в Оренбурге: его снимали военные губернаторы края (П. П. Сухтелен, В. А. Перовский), в нем останавливался будущий император Александр II, когда он еще наследником престола путешествовал по России; в доме бывали Пушкин (вероятно), Жуковский, Даль... Увы, Григорьев ничего этого не знал.

Безденежный новосел сразу же попросил генерал-майора Шилова выдать ему на обзаведение 200 рублей — в счет второй половины «премиального» годового жалованья. Получил. Разумеется, вскоре и их потратил. Сколько бы ни имел он денег, они у него очень быстро уплывали. Казалось бы, в дешевом Оренбурге-то, где ведро картошки стоило 10 копеек, а фунт хорошей пшеничной муки — 2 копейки (копейки, увы, стоила и водка), мог и транжирщик при приличном жалованьи не нуждаться. Нет, Григорьев не мог. Он не мог не быть в долгах и безденежье... Конечно, ему еще помогала и Мария Федоровна: ее мещанский престиж не позволял самой убирать квартиру и кухарничать, значит, нужно было нанимать слуг. Нужно было одеваться «как люди». Григорьев любил угощать сослуживцев... В общем, деньги уходили браво.

Зато новосел, как всегда, вначале очень энергично взялся за свои преподавательские обязанности. Кадетский корпус состоял из двух эскадронов: в первом учились дворянские дети, во втором — дети казачьих офицеров и «туземцы», то есть казахи, которых тогда именовали «киргизами», «киргиз-кайсаками». Сословное разделение приводило Григорьева в ярость, но что он мог сделать?! Первый эскадрон помещался на Неплюевской улице (нынешний адрес — Ленинская, 25; здесь помещается ныне медицинское училище), второй — на центральной Николаевской (ныне Советская, 24; теперь это средняя школа № 30). Корпусный манеж был рядом, через Неплюевскую улицу. Ныне здесь драматический театр, но уже при Григорьеве манеж переделывался в театр для гастролей бродячих трупп. Наш театрал был приятно удивлен, когда стал посещать спектакли актеров, собранных известным провинциальным антрепренером Н. И. Ивановым. Позднее Григорьев в статье «Наша драматическая труппа» (1863) весьма положительно отозвался о гастролях этой труппы, в репертуаре которой был «почти весь» Островский и пьесы Гоголя.

Значительно позже оренбургской жизни Григорьева, в 1872 году, было на Караван-Сарайской площади построено единое здание Неплюевского кадетского корпуса (в 1865—1886 годах он назывался военной гимназией). Ныне это 3-й корпус Медицинской академии на Парковом проспекте, 7.

Григорьеву выпала доля преподавать во втором эскадроне. Может быть, это и к лучшему. По отзывам современников, дети местных помещиков были ленивы, равнодушны, а «туземцы», не получившие предварительного домашнего образования и жадно впитывающие знания, были благодарным объектом для желающего просвещать юношество учителя-романтика.

Учитель прежде всего отставил книгу А. Е. Разина «Мир Божий» — пособие для военно-учебных заведений, пропитанное вульгарным материализмом шестидесятых годов, и заменил учебник классным чтением исторических трудов и собственными лекциями; пытался расширять познания своих учеников и в дополнение к обычной грамматике русского языка ввел еще сравнительную грамматику славянских языков.

Такая самодеятельность при строгой регламентации в военно-учебных заведениях могла быть наказуема, но Григорьеву повезло: инспектор корпуса (говоря по-современному, заместитель директора по учебной части, завуч) полковник П. В. Ми-

турич преклонялся перед талантами и познаниями столичного литератора, ходил почти на все его занятия, не столько контролируя, сколько просвещаясь, да еще часто приводил и директора, генерал-майора Шилова, которому расхваливал уроки нового словесника, и директор тоже оценил такие уроки.

А ученики сидели не шелохнувшись, они млели от восторга: новый преподаватель читал свои лекции без учебников и шпаргалок, экспромтом, вдохновенно, широко используя свои мысли, память, познания, уводил молодые умы и души в романтические выси, проповедовал, наряду с сообщением предметных фактов, идеи гуманизма, патриотизма, нравственности. Учащиеся липли к учителю, провожали его, многих он приглашал к себе домой, в тесную квартиру, и продолжал вечером свои экспромтные лекции...

Вдохновленный своими успехами Григорьев решил прочитать для местной интеллигенции цикл лекций «О современном образовании и об улучшении воспитания юношества», но уже первая лекция охладила его пыл: почти все слушатели смотрели на лектора как на оторванного от практической жизни Дон Кихота, благородные идеалы и повышенные интеллектуальные требования которого невозможно осуществлять в российской действительности. Григорьев это сразу понял (возможно, ему и прямо говорили об этом) и прекратил чтение.

Но все-таки его тянуло к публичной пропаганде своих воззрений, и на рождественских каникулах он прочитал в Дворянском собрании (здание сохранилось: Советская, 17) цикл из четырех лекций «О Пушкине и его значении в нашей литературе и жизни». Лекции состоялись 27 и 30 декабря, 2 и 7 января. Первая называлась «Значение Пушкина вообще и причины разнородных толков о нем в настоящую минуту», вторая — «Пушкин как наш эстетический и нравственный воспитатель», третья — «Пушкин — народный поэт», четвертая — «Пушкин и современная литература».

Григорьев хотел читать эти лекции в пользу Литературного фонда. Вспомним, что в мае 1860 года фонд заимообразно выдал ему 300 рублей, и этот долг висел над Григорьевым, он надеялся с помощью публичных лекций не только рассчитаться, но и «подарить» фонду какую-то сумму денег. Однако генерал-губернатор А. П. Безак пожелал, чтобы лекции читались в пользу бедных города Оренбурга, и лектор не мог послушаться. Билеты на

одну лекцию стоили по рублю, а на весь цикл — по три рубля. Всего собрали 320 рублей, так что слушателей было приблизительно по 100 человек на каждой лекции. Для отдаленного от центров России губернского города это было немало.

В письме к Страхову от 19 января 1862 года Григорьев относительно подробно рассказал о своих идеях и о своих впечатлениях от прочитанного цикла: «Первая лекция — направленная преимущественно против теоретиков — а здесь, как и везде, все, кто читают — их последователи, привела в немалое недоумение. Вторая кончилась сильнейшими рукоплесканиями. В третьей защиту Пушкина как гражданина и народного поэта я озлобил всех понимавших до мрачного молчания. В четвертой я спокойно ругался над поэзией «О Ваньке Ражем» и о «купце, у коего украден был калач», обращаясь *прямо* к поколению, «которое ничего, кроме Некрасова, не читало», а кончил насмешками над учением о соединении луны с землею и пророчеством о победе Галилеянина, о торжестве царства духа — опять при сильных рукоплесканиях. Что ни одной своей лекции я заранее не обдумывал — в этом едва ли ты усумнишься. Одно только и было мною заранее обдуманно — заключение». Вспомним, что издевка над «соединением луны с землею» — это по поводу утопического учения Ш. Фурье; Галилеянин — Иисус Христос.

Григорьев, как всегда, плыл против течения. Он понимал, что молодое поколение воспитывалось на статьях «теоретиков», то есть радикальных публицистов «Современника» и «Русского слова», что Некрасов — их поэтический кумир (а Пушкина они все больше и больше отесняли на периферию, пока Д. Писарев и В. Зайцев вообще не низвели его до уровня «легкомысленного версификатора» и «мелкой и жалкой личности»). Григорьев, наоборот, восстанавливал величие Пушкина, но попутно принижал, увы, Некрасова, останавливаясь отнюдь не на лучших его стихотворениях (о «Ваньке Ражем» — «Извозчик», о калаче — «Вор»), хотя отношение Григорьева к Некрасову не укладывается в иронические рамки, он ценил его творчество, в большой статье «Стихотворения Н. Некрасова» (1862) честно сказал и о неприятии некоторых черт («рутинность» и «водевильность» тона целого ряда произведений, слишком большая отдача себя «музе мести и печали» и «миражной цивилизации»), и о своей любви к поэту, к «человеку с народным сердцем, с таким же народным сердцем, как Кольцов и Островский». Эту статью, опубликован-

ную в июльском номере журнала «Время», Григорьев, наверное, написал еще в Оренбурге, иначе она не поспела бы к летнему номеру.

Несмотря на обиду на Достоевских, отходчивый Григорьев, будучи в Оренбурге, постепенно восстанавливал связь с журналом «Время»: еще в январе он отправил Страхову для передачи Достоевским первую часть статьи о Льве Толстом, названной «Граф Л. Толстой и его сочинения», которая тут же, в январском номере журнала, несколько запоздавшем, была напечатана. Она была лишь вводной частью, фактически посвященной подробной характеристике современных русских журналов. А вторая, основная часть статьи, опубликованная в сентябрьском номере «Времени» и посвященная уже непосредственно творчеству Толстого, высоко ценимого критиком (не забудем, что речь идет еще о раннем Толстом, до «Казачков» и «Войны и мира»!), создавалась уже в Петербурге.

В оренбургский период Григорьев еще усердно переводил байроновское «Паломничество Чайльд-Гарольда», за год успел перевести 1-ю главу (песнь) и тоже опубликовал ее во «Времени» в июле.

В голове творческого человека зрели интересные замыслы, из которых особенно ценным представляется мечта о книге очерков в духе *Reisebilder* («Путевых картин») Г. Гейне; об этом замысле писатель подробно рассказал в письме к Н. Н. Страхову от 19 января 1862 года: «Провинциальная жизнь, которую, наконец, я стал понимать, внушит мне кажется книгу в роде *Reisebilder* под названием «Глушь». Подожду только до весны, чтобы пережить годовой цикл этой жизни. Сюда войдут и заграничные мои странствия, и первое мое странствие по России, и жажда старых городов, и Волга, как она мне рисовалась, и Петербург издали, и любовь-ненависть к Москве, подавившей собою вольное развитие местностей, семихолмной, на крови выстроившейся Москве, — вся моя нравственная жизнь, может быть... В самом деле — хоть бы одну путную книгу написать, а то все начатые и неоконченные курсы!»

Увы, читатели не дождались этой книги. С каждым оренбургским месяцем, особенно после перевала на 1862 год, состояние Григорьева становилось все более тревожным и раздрганым. Он страдал от успехов радикальных, ставших почти революционными, несмотря на репрессии, журналов «Современник» и «Рус-

ское слово». «Донкихотские» идеи самого мыслителя и литератора оказывались не востребованными широкой публикой.

Донимала бюрократическая обстановка военного корпуса. Как обмолвился Григорьев в письме к Страхову от 20 марта 1862 года: «Прибавь к этому ненависть ко мне барабанного начальства, интриги подлецов-товарищей, из которых только татары — истинно порядочные люди». К сожалению, он не назвал имен. Известно только, по его письмам и по воспоминаниям современников, что он подружился с обер-офицером С. Н. Федоровым, писавшим неплохие сатирические очерки (печатались в «Искре», а при ходатайстве Григорьева — и во «Времени»). Живой и остроумный, Федоров, однако, был выпивохой, и ему нетрудно было приобщить к своим кутежам и слабого Григорьева.

А в быту Григорьева очень мучила Мария Федоровна. Он пренебрегал мещанскими представлениями о нравственности, считал, что не юридическая, по официальным бумагам супруга, а реальная жена, близкий сердцу человек имеет моральные права быть его «половиной», и он принципиально в Дворянском собрании ходил под руку с Марией Федоровной. А на письменные жалобы Лидии Федоровны к генерал-губернатору Безаку «муж» давал откровенные разъяснения (впрочем, ему пришлось по требованию начальства посылать «жене» и отцу какие-то доли жалованья — нечто вроде нынешних алиментов). Но Марии Федоровне этого было мало. Она не могла не видеть косых взглядов обывателей, не могла не страдать оттого, что на вечера к сослуживцам, на званый обед к губернатору приглашали *одного* Аполлона Александровича... Несчастливая женщина, терявшая детей, истерически страдала от одиночества, бешеную любовь перенесла на собачонку, при этом дико ревновала Григорьева к женам сослуживцев, к частным ученицам...

Жизнь же главы этого неудачного семейства была тяжелейшей. Помимо напряженной работы в корпусе (почти ежедневно по 6 часов) он еще набрал частных уроков, в свободные минуты страстно отдавался критической прозе и переводной поэзии, был весь измочаленный от усталости — а тут еще истерики и брань Марии Федоровны... Снова зрело желание перемены мест.

В отчаянии от запоев и «невнимания» Григорьева Мария Федоровна умышленной инсценировкой его «безобразий» наивно пыталась привлечь на свою сторону начальство корпуса. Из

письма Григорьева Страхову от 20 марта 1862 года: «Человек отдает все, что может, готов испродаться до последних штанов, женщина буйствует, безумствует, бьет стекла в квартире и зовет полицию, обвиняя меня в буйстве, бегаёт к властям, и все смотрят на меня как на какого-то злодея. Женщина лжет, что ее оставляют без копейки, лжет, что я увез ее от родителей... Все это, разумеется, до первого призыва к властям. Власти видят, что я отдаю все, что имею, и все-таки не понимают, в чем дело. А оно очень просто. Когда эта несчастная убедилась, что нет поворота — она со всей дикостью своей натуры захотела мстить <...>. Вот я нынче услышал, что перед отъездом три часа она выла, бедная, — и пошел на урок. Хожу по классу и диктую грамматические примеры, — а что-то давит грудь, подступает к горлу и, того гляди, прорвется истерическими рыданиями!»

В этом письме непонятны слова «перед отъездом». Может быть, Мария Федоровна, не выдержав семейных скандалов, вознамерилась вернуться в Петербург? Ведь Григорьев не мог отъезжать в марте, он должен был закончить учебный год. Как бы там ни было, но разрыв созрел, и уезжал Григорьев из Оренбурга один. Он попросил отпуск на два месяца, указав совершенно фантастическую причину: «в города Москву и Петербург для устройства домашних дел и перевозки семейства в Оренбург». Какие в Петербурге у него могли быть домашние дела? и какое семейство перевозить? неужели Лидию Федоровну с детьми?! Начальство отпуск разрешило, и в конце мая 1862 года Григорьев выехал в Петербург (по официальным документам он выехал 5 июня, но имеется его письмо к А. А. Краевскому от 2 июня, из которого явствует, что он уже в столице). Всю боль нравственных мучений от разрыва с Марией Федоровной он передал в яркой поэме «Вверх по Волге» (1862):

... Иль совсем до дна,
 До самой горечи остатка
 Жизнь выпил я?.. Но лихорадка
 Меня трясет... Вина, вина!
 Эх! жить порою больно, гадко!

В восьми главах поэмы автор перемежает воспоминания о трудных годах любви, страсти, конфликтов, примирений с современной тоской по пути на пароходе по великой реке.

Каждая глава заканчивалась кульминацией страданий и обращением к вину, «Хоть яд оно, Лиэя древний дар — вино!..» Включение греческого бога Лиэя (Диониса) возвышает картину, а на самом-то деле поэт искал утешения не в благородных винах, а в самой банальной водке — и лишь в заключении поэмы сказано прямо:

Однако знобко... Сердца боли
Как будто стихли... Водки, что ли?

А путь обратный Григорьев совершал в самом деле вверх по Волге, то есть проделал прежний путь из столицы в Оренбург в обратном порядке.

В Петербурге он с головой ушел в журнальную работу, главным образом, в журнале Достоевских, и возвращаться в Оренбург и не думал ни с семейством, ни без оногo. Очевидно, уже уезжая, он не собирался продолжать преподавание. Начальство кадетского корпуса, прождав до ноября 1862 года, обратилось в Штаб с представлением — уволить учителя Григорьева. Возможно, желая узаконить увольнение, а особенно — опасаясь денежных претензий, тот начал представлять в Штаб медицинские справки о болезнях (и воспаление печени, и легочный катар, и расстройство пищеварения). Конечно, со справками получить приказ об увольнении было легче, но таковой вышел лишь 5 мая 1863 года. После этого корпусное начальство предъявило Григорьеву претензию на возврат 810 рублей: годовое пособие выдавалось лишь при условии трехгодичной службы в корпусе.

Сам учитель, конечно, никаких денег не вернул, а когда на его квартиру в Петербурге явилась полиция для описи имущества, то она убедилась, что описывать нечего. На таком печальном эпизоде закончилась оренбургская история Григорьева.

ЛИТЕРАТУРА

В книге используются следующие сочинения классиков:

Белинский В. Г. Полн. собр. соч. Т. I—XIII. М., 1953—1959.

Герцен А. И. Собр. соч. в 30-ти тт. М., 1954—1965.

Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. Т. I—XIV. Л., 1937—1952.

Добролюбов Н. А. Собр. соч. Т. I—IX. М.; Л., 1961—1964.

Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. I—XXX. Л., 1972—1990.

Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. I—X. М.; Л., 1949.

Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем в 28 т. М.; Л., 1960—1968.

Хомяков А. С. Полн. собр. соч. Т. I—VIII. М., 1900.

Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. Т. I—XVI. М., 1939—1953.

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

ГИМ — Государственный исторический музей.

РО ИРЛИ (или ИРЛИ) — Рукописный отдел Института русской литературы РАН.

РО РГБ — Рукописный отдел Российской государственной библиотеки.

РГАЛИ — Российский государственный архив литературы и искусства.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ

Русский характер // Из истории русской культуры. Т. V (XIX век). М., ЯРК, 1996. С. 51—79.

Национальное своеобразие русской литературной критики // Б. Ф. Егоров. О мастерстве литературной критики: Жанры. Композиция. Стилль. Л., «Сов. писатель», 1980. С. 22—41.

О сложности межнациональных отношений // Радуга (Таллинн), 1988. № 4. С. 75—79.

Славянофильство // Краткая литературная энциклопедия. Т. 6. М., 1971. Стлб. С. 930—935.

Славянофильство, западничество и культурология // Из истории русской культуры... С. 463—475.

О национализме и панславизме славянофилов // Там же. С. 491—503.

Некоторые особенности русских славянофилов на фоне японского традиционализма // Там же. С. 476—479.

А. С. Хомяков — литературный критик и публицист // А. С. Хомяков. О старом и новом.: Статьи и очерки. М., «Современник», 1988. С. 9—40.

Православные мыслители и литературные критики XIX века // «Пока в России Пушкин длится, Метелям не задуть свечу». Смоленский гос. пед. ун-т, 1998. С. 73—79.

Бухарев и русская интеллигенция // Архимандрит Феодор (А. М. Бухарев): Pro et contra. Антология. СПб., Изд-во РХГИ, 1997. С. 16—30.

А. М. Иванцов-Платонов — ученый, публицист, литературный критик // Поиск смысла: Сб. статей участников международной научной конференции «Русская культура и мир». Ниж. Новгород, Пед. ин-т иностранных языков, 1994. С. 33—42.

В. П. Боткин и А. И. Герцен // Герцен — мыслитель, писатель, борец. М., Гос. литературный музей, 1985. С. 101—104.

Н. А. Добролюбов и Н. Г. Чернышевский // Русская литература. 1986. № 2. С. 62—77.

Булгаков и Гоголь (Тема борьбы со злом) // Исследования по древней и новой литературе. Л., «Наука», 1987. С. 90—95.

Общее и индивидуальное: братья Бахтины // Невельский сборник. Вып. 1. СПб., «Акрополь», 1996. С. 22—27.

Бахтин и Лотман // Б. Ф. Егоров. Жизнь и творчество Ю. М. Лотмана. М., НЛО, 1999. С. 243—258.

Слово о Бахтине // Проблемы творческого метода: Межвузовский сб. Тюменский гос. ун-т, 1979. С. 3—5.

Диалогизм М. М. Бахтина на фоне научной мысли 1920-х годов // М. М. Бахтин и философская культура XX века (Проблемы бахтинологии). Вып. 1. СПб., РГПУ им. А. И. Герцена, 1991. С. 7—16.

Невельский «кружок» Бахтина и типология кружков // Невельский круг М. М. Бахтина: Тезисы докладов. М., «Наследие», 1995. С. 12—14.

Жуковский и Тарту // Эстония. VI. Таллинн, Эст. гос. изд-во, 1956. С. 237—246.

Н. П. Огарев и Нижний Новгород // Учен. зап. Горьковского гос. ун-та. Серия «Ист.-филол». Вып. 58. 1963. С. 323—368.

Ап. Григорьев в Петербурге // *Semiotics and the History of Culture*. In Honor of Yuriy Lotman: Studies in Russian. Columbus, Ohio, Slavica Publishers, Inc., 1988. P. 33—45.

Ап. Григорьев в Оренбурге // Б. Ф. Егоров. Аполлон Григорьев. М., «Молодая гвардия» (серия ЖЗЛ), 2000. С. 181—192.

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

- Абуладзе Т. — 57
Аввакум — 237
Авенариус Р. — 243
Аверинцев С. С. — 247
Азадковский М. К. — 75
Аксаков И. С. — 67, 69—74,
89, 96—99, 101, 116,
120, 123, 125, 127, 136, 138,
140, 141, 145, 162, 169
Аксаков К. С. — 51, 67, 70—
74, 81, 88, 89, 96, 112,
114, 115, 122, 123, 125, 126,
133, 134, 136, 138, 141,
142, 145
Аксаков С. Т. — 24, 33, 72, 119,
125, 163, 170
Аксакова В. С. — 75
Александр I — 262, 341
Александр II — 24, 27, 28, 29,
82, 119—121, 154, 319, 344
Александр III — 29
Александра Федоровна, им-
ператрица — 119
Алексеев М. П. — 49
Андреев И. Д. — 159
Андропов Ю. В. — 232
Андросов В. П. — 58
Анже — 305
Анненков П. В. — 46, 88, 174,
176, 212, 241, 242, 292,
298, 301, 304, 305, 308, 309
Анненков Ф. В. — 320
Антоний, епископ — 343
Арбе — 104
Арнольд М. — 40
Аскоченский В. И. — 166
Асмус М. — 263—265
Астафьев В. П. — 56, 57
Бабинцев — 303
Бабст И. К. — 293, 298, 305,
306
Бажов П. П. — 18
Байрон — 52, 240
Баксадай-Дорджи — 342
Бакунин А. М. — 26
Бакунин М. А. — 82—84, 95,
175, 183, 282
Балакирев М. А. — 290
Бальзак — 40
Барбатенков А. — 277
Барсуков Н. П. — 75, 122
Бартенев П. И. — 135, 138
Баташов И. Г. — 300
Бахтин М. М. — 87, 215—234,
237—239, 245—250, 252
Бахтин Н. М. — 210, 215
Безак А. П. — 343, 346, 349
Безбородко А. А. — 330
Безобразов — 316
Белендорф К. — 264
Белецкий А. И. — 186

- Беликова В. М. — 287
Белинский В. Г. — 21, 25, 31,
36—39, 42, 46, 47, 51, 52, 56,
69, 70—72, 74, 80, 82—85,
111, 121, 123, 125, 132, 135,
142, 157, 173, 178, 180, 183,
187, 188, 194, 195, 197, 201,
206, 208, 241, 255, 279, 292,
321, 324, 326—328, 337
Беллинсгаузен Ф. — 151
Белый Андрей — 324
Бенуа А. Н. — 324
Берг — 264
Бердяев Н. А. — 73, 74, 246
Березовский А. И. — 27
Берковский Н. Я. — 36
Бергсон А. — 246
Берне Л. — 36, 37, 40, 41, 45, 52
Берти Д. — 38
Бестужев А. А. — 106
Бестужев-Рюмин М. А. — 32
Бетховен Л., ван — 291, 292
Бетэа Д. — 216, 218
Бибикова А. И. — 336
Бильбасов А. — 310
Бирон Э. И. — 142
Блок А. А. — 127
Блудов Д. Н. — 122
Блудова А. Д. — 118, 130, 139
Боборыкин П. Д. — 336
Бобринский В. А. — 26, 320, 321
Бок Т. Е. — 262, 263
Большая Я. — 242
Бор Н. — 238, 245, 248
Борг К. — 263
Боткин В. П. — 25, 47, 52, 83,
84, 88, 173—177, 206
Боткина М. П. — 83
Бочаров С. Г. — 47, 226, 233,
234, 247
Брандес Г. — 36, 37
Бродский Н. Л. — 74
Брылкин Н. А. — 314
Бубер М. — 246
Булгаков М. А. — 56, 203—208
Булгарин Ф. В. — 188
Бурсов Б. И. — 36, 178, 191, 199
Бухарев А. М. (архимандрит
Феодор) — 14, 156—161, 166
Бялый Г. А. — 31

Вагнер Р. — 292
Вазов И. — 73
Ваккенродер В. Г. — 40
Валицкий А. — 74, 75
Валуев Д. А. — 67, 103
Валуев П. А. — 314
Вальтер — 265
Варенцов В. Г. — 314
Варенцов А. П. — 294
Варенцов П. М. — 293, 294, 314
Васильев П. В. — 336
Вахрушев В. С. — 229
Вебер — 265
Вегнер М. — 39
Вейраух — 263
Вейсберг М. Я. — 297
Велепольский А. — 95
Веллек Р. — 37, 38, 49, 50
Венгеров С. А. — 36, 74, 75
Веневитинов А. В. — 104
Веневитинов Д. В. — 104, 110
Вергилий — 104
Вердеревские, братья — 315
Верч И. — 217
Ветик Р. — 228

- Вильмен А. Ф. — 38
Вильсон Дж. — 37
Витенсон М. — 191
Виттакер Р. — 333
Владими́рова Е. В. — 337
Воейков А. Ф. — 255—257, 260,
262, 266
Воейкова А. А. — 263
Волгин Г. — 281
Волков В. К. — 94
Вордсворд У. — 45
Воронин И. Д. — 272, 273,
280, 287
- Гавличек-Боровский К. — 95
Гагарин И. С. — 119
Гай Л. — 95
Гайм Р. — 40
Гакстгаузен А. — 114
Галактионов А. А. — 75
Гальцева Р. А. — 75
Ганка В. — 73
Гарашанин И. — 95
Гаспаров М. Л. — 220
Гегель Г. В. Ф. — 226, 227,
229, 241
Гёдель К. — 238, 245, 248
Гейкинг, барон — 28
Гейзенберг В. — 245, 248
Гейне Г. — 40, 52, 240, 348
Герцен А. И. — 38, 51, 71, 74,
81—85, 95, 111, 114, 122,
123, 129—132, 135, 142,
173—178, 242, 251, 269,
270, 273, 274, 278, 281—
284, 292, 293, 300, 308,
309, 312—316, 318—323
Герцен Н. А. — 274
- Гете И. В. — 40
Геттнер Г. — 39, 40
Гехт — 299
Гизе И. Ф. — 266
Гильфердинг А. Ф. — 115, 117
Гиляров-Платонов Н. П. — 67,
74, 153—155, 161, 166, 241
Гитлер А. — 245
Глинка М. И. — 125, 134, 289
Глориантов В. И. — 322
Гоголь Н. В. — 31, 46, 52, 53,
70, 72, 80, 83, 85, 121, 125,
131, 163, 164, 183, 191,
192, 195, 203—205, 208,
209, 229, 324, 327, 345
Годунов Борис — 53, 110
Гольденберг Г. Д. — 28
Гомер — 164
Гончаров И. А. — 188, 190,
198, 324
Гораций — 104
Горбунов И. Ф. — 330
Горский А. В. — 165
Готье Т. — 40
Гофман Э. Т. А. — 291
Грабовский М. — 95
Гранд А. А. — 314
Грановский Т. Н. — 71, 82, 83,
111, 123, 157, 270, 274,
278, 293
Гревцова Г. Т. — 232
Гречулевич В. Я. — 91
Гржибек П. — 216—218
Грибоедов А. С. — 103, 104,
125, 280
Грибовский П. М. — 293
Григорович Д. В. — 324, 331
Григорьев А. Л. — 39

- Григорьев Ап. — 11, 12, 18, 19,
24, 37, 46, 47, 50, 53, 73, 91,
92, 159, 324—337, 340—351
- Гриневицкий И. И. — 29
- Грифцов Б. А. — 47
- Гриценко Н. П. — 281, 303, 306
- Грот К. Я. — 262
- Гуляев Н. А. — 36
- Гупель А. — 261
- Гурштейн А. Ш. — 37
- Гуссерль Э. — 246
- Гюбень С. И. — 327, 337—339
- Гюго В. — 40, 46
- Даль В. И. — 344
- Дамаскин, епископ — 128
- Данилевский Н. Я. — 73, 101,
160
- Данилова Е. — 13
- Дегаев С. П. — 29
- Декарт — 223
- Дельвиг А. И. — 323
- Дементьев А. Г. — 74, 75, 91
- Демонси А. А. — 307
- Державин Г. Р. — 42, 126, 163
- Дзюба И. — 91
- Диккенс Ч. — 128
- Дмитриев С. С. — 74, 75
- Дмитриев-Мамонов Э. А. — 99,
140
- Дмитрий, архирей — 115
- Днепров-Резник В. Д. — 231, 64
- Добролюбов Н. А. — 38, 39,
46, 53, 178—187, 189—
194, 196—202, 242, 251,
293, 311, 321, 322, 337
- Долгоруков В. А. — 119
- Домбровский Я. — 316
- Донн Д. — 44
- Дорофеев В. В. — 340
- Достоевский М. М. — 334,
335, 348, 351
- Достоевский Ф. М. — 14, 19, 39,
46, 53, 73, 154, 155, 160, 181,
190, 195—197, 211, 221, 229,
232, 233, 238, 242, 248, 249,
324, 334 335, 340, 348, 351
- Дрентельн А. Р. фон — 28
- Дружинин А. В. — 46, 82, 188,
324, 333
- Дубельт Л. В. — 167
- Дубровская М. Ф. — 331, 332,
335, 337, 341
- Дувакин В. Д. — 223, 224
- Дудышкин С. С. — 51
- Евтропов Д. И. — 268, 277,
282, 288
- Егоров Б. Ф. — 181, 203
- Елагин В. А. — 67, 99, 103
- Енгальчев Н. И. — 300
- Ермак — 21
- Жадовский, тайн. советн. — 316
- Жандр А. А. — 104
- Желваков Н. А. — 29
- Желябов А. И. — 29
- Жеребцов Н. А. — 186
- Живокини — 280
- Жилко Б. — 229
- Жохов М. Ф. — 27
- Жуковский В. А. — 26, 255—
267, 344
- Загоскин А. Н. — 157
- Зайцев В. А. — 153, 157, 241, 347

- Закревский А. А. — 30, 82, 119,
121, 313
Занд К. — 27
Заремба Ф. Ф. — 264
Зарецкий В. А. — 216
Засулич В. И. — 28
Зейдлиц К. К. — 263
Зеленой А. С. — 188
Зельдович М. Г. — 181, 182,
186, 187
Зенгбуш А. К. — 276, 277
Зенф К. А. — 263
Зеньковский В. В. — 74, 75
Золя Э. — 40
Зонтаг А. П. — 262
Зотов В. Р. — 281
Зубов П. — 313
- Иванов А. А. — 125, 128
Иванов Вяч. Вс. — 216, 218,
232, 234, 239
Иванов Н. И. — 345
Иванов-Разумник Р. В. — 180,
181, 185
Иванцов-Платонов А. М. —
152, 153, 161—170
Иларион, митрополит — 30
Иннокентий (Борисов), архи-
епископ — 136, 158
Иоанн Грозный — 20, 21, 77,
117, 143
Исаков Г. — 315
- Кавелин К. Д. — 51, 111, 305,
317, 318, 325
Каган М. И. — 222—224, 247,
252
Канн-Новикова Е. И. — 290
- Кант И. — 223—225, 227, 228
Каравелов Л. — 73
Каракозов Д. В. — 29
Карамзин Н. М. — 49, 125,
152, 153, 228, 233, 234
Каратыгин В. А. — 280
Карлейль Т. — 37, 40
Карнеев М. В. — 279
Карпов И. — 299
Касьянова К. — 34
Катенин П. А. — 104
Катков М. Н. — 333
Каухчишвили Н. — 216, 218
Кашперов В. Н. — 289, 290,
291, 293, 297
Кваренги Д. — 331
Кедров С. — 162
Кельсиев И. — 31
Киреевская А. П. — 256, 258
Киреевский И. В. — 67, 70,
71, 74, 87—89, 103, 111,
112, 117, 120, 121, 123, 129,
132—134, 136, 141, 142,
145, 160, 335
Киреевский П. В. — 67, 70,
71, 73, 75, 87, 89, 123, 129,
141, 142
Киселев В. И. — 290
Кларк К. — 224
Клевенский М. М. — 320
Княжнин В. — 92
Княжнин Я. Б. — 105, 126
Ковалевский А. И. — 91
Ковалевский П. М. — 182
Коген Г. — 223—226
Кожин П. С. — 268
Кожин В. В. — 225, 233, 234
Козьмин Б. П. — 309

- Коллар В. А. — 290
Кольридж С. Т. — 40, 45
Кольцов А. В. — 163, 347
Колюпанов Н. П. — 75
Конашевич В. П. — 29
Конрад Н. И. — 222
Контович — 321
Корбе Ш. — 39
Короленко В. Г. — 22, 62, 237
Корш А. Ф. — 325
Корш В. Ф. — 318
Корш Е. Ф. — 275, 278, 317
Кохановская (Н. С. Соханская) — 72, 163
Коцебу А. — 27
Коцюбинский М. М. — 56
Кошелев А. И. — 67, 71, 75, 89, 92, 96, 99, 121, 123, 134, 136
Кошелев В. А. — 111
Кошихин Г. К. — 70, 123
Кравчинский С. М. — 28
Краевский А. А. — 32, 298, 350
Кропоткин Д. Н. — 28
Кружков В. С. — 201
Крузенштерн И. Ф. — 152
Кудрявцев П. Н. — 82
Кузьмина-Караваева Е. Ю. — 74
Куинси Т., де — 37, 40
Кукольник Н. В. — 98, 108
Кулешов В. И. — 111
Купреянова Е. Н. — 36
Кушелев-Безбородко Г. А. — 330, 331, 338, 339
Кущевский И. А. — 23, 86
Кьеркегор С. — 42
Кюхельбекер В. К. — 105, 106, 266
Лавров П. Л. — 122
Лаздовский К. — 333
Ламанский В. И. — 99—101
Лаптун В. И. — 223
Лауниц фон-дер — 318—320
Лебедев А. А. — 159
Лебрен — 264
Левашов В. Н. — 320, 321, 323
Левитт М. Ч. — 151, 155
Лейбниц Г. В. — 227, 228
Леметр Ж. — 36
Ленин В. И. — 29, 213, 243, 244
Леонтьев К. Н. — 30, 47, 73, 75, 155, 160, 213
Лермонтов М. Ю. — 71, 72, 123, 125, 127, 163, 229, 240, 242, 289, 324, 335
Лесков Н. С. — 18
Лещиловская И. И. — 95
Лисов А. Г. — 223
Лихачев Д. С. — 20, 21, 216, 222, 252
Лобачевский Н. И. — 242
Лобов Л. — 75
Логинов И. Л. — 331, 332, 337
Лодыгин — 344
Ломоносов М. В. — 63, 153, 163
Лопатин И. Ф. — 332, 333, 338
Лопаткин — 299
Лопатто М. И. — 210
Лорис-Меликов М. Т. — 29
Лосский Н. О. — 73—75
Лотман М. Ю. — 227, 228
Лотман Ю. М. — 12, 216—222, 224—234
Луначарский А. В. — 221
Лыжин Н. — 262

- Ляпунов В. — 224
Лясковский В. — 104
- Майков Ап. Н. — 330
Майков В. Н. — 46, 50, 53, 195, 197
Макарий, митрополит — 118, 152
Маковицкий Д. П. — 109, 128
Макогоненко Г. П. — 36
Маколей Т. — 37, 40
Малиновский О. А. — 302
Мальцев И. С. — 300
Манделькер А. — 216
Мария Александровна, императрица — 120
Маркс К. — 42, 43, 94, 95, 113, 241, 242, 292
Марр Н. Я. — 244
Марсель Г. — 246
Маршев И. И. — 280, 295—297, 310
Матейка Л. — 218
Матюшкин Ф. Ф. — 154
Мах Э. — 243
Махлин В. Л. — 225, 226, 247, 248
Мацкин А. — 203
Маяковский В. В. — 14
Медведев П. Н. — 221
Межевич В. С. — 327, 328, 338
Мезенцев Н. В. — 28
Мелихова Л. С. — 233
Мельников-Печерский П. И. — 276, 316
Менцель В. — 40
Меринг Ф. — 41
Милюков А. П. — 332—334
- Минин К. М. — 342
Мирский Л. Ф. — 28
Митурич П. В. — 345
Михайлов А. А. — 91
Михайлов М. Л. — 190, 242, 281, 279
Михайловский Н. К. — 38, 39, 157, 230
Михайловский Ф. Е. — 322
Мицкевич А. — 95, 335
Млодецкий И. И. — 29
Мойер И. Х. — 258, 260
Мольер — 128
Моргенштерн К. — 261, 262
Морозова Т. П. — 277
Морсон Г. С. — 225 (см. также Morson G. S.)
Моцарт В. А. — 291
Мочалов П. С. — 280
Мунье Э. — 246
Муравьев А. Н. — 321
Муромцев Л. М. — 131, 132
Мюллер Е. — 74
- Надеждин Н. И. — 26, 53
Наполеон III — 27, 28
Насовский — 341
Наторп П. — 223, 228
Нахалькова П. — 299
Неклюдов С. Ю. — 225
Некрасов Н. А. — 51, 69, 82, 121, 127, 150, 151, 188, 196, 211, 281, 335, 347, 325
Неплюев И. И. — 341, 342
Нечаев С. Г. — 34
Низар Ж. М. — 40
Никандров П. Ф. — 75

- Никитин С. А. — 75
Никитина И. — 322
Николаев Н. И. — 224, 225
Николай I — 24, 27, 34,
69, 70, 94, 97, 98, 117, 120,
126, 131, 138, 167, 177,
241, 268, 282, 329
Николев Н. П. — 126
Никольский Ив. — 169
Никон, патриарх — 13, 274
Ницше Ф. — 211
Новалис — 291
Новиков Н. И. — 237
Норов А. С. — 116, 138
Носов С. Н. — 112
- Огарев Н. А. — 321
Огарев Н. П. — 37, 71, 82, 83,
123, 173, 175—177, 187,
251, 268—323
Огарева М. Л. — 283
Одинцов А. А. — 318
Одоевский В. Ф. — 104, 107, 324
Оксман Ю. Г. — 231
Оленин А. А. — 321
Орсини Ф. — 27
Осовский О. Е. — 210, 215
Островская Н. А. — 293
Островский А. Н. — 130, 190,
192, 201, 208, 290, 293,
324, 329, 333, 347
Островский М. Н. — 288, 289,
291, 293, 296, 297, 301,
304, 308
Оуэн Р. — 270, 311
- Павел I — 24
Павлов Н. Ф. — 287, 298
- Павлова К. К. — 298
Панаев И. И. — 82, 84, 324,
325
Панаева А. Я. — 309
Панов В. А. — 103
Панчулидзева А. А. — 268, 269,
276, 277, 280, 282, 283,
285, 288, 297, 300, 301, 322
Паньков Н. А. — 223
Паррот Ф. Г. — 263, 264
Паскаль Б. — 42
Паскевич И. Ф. — 103
Перлина Н. — 224
Перовский В. А. — 344
Песталоцци И. Г. — 263
Пестель П. И. — 21
Петерсен К. — 261, 262, 265
Петерсон А. П. — 263
Петр I — 21, 44, 77, 82, 116,
121, 142, 143, 342
Петрашевский М. — 23, 119,
285
Пирогов Н. И. — 185, 258
Писарев Д. И. — 39, 50, 53,
153, 181, 241, 242, 347
Писемский А. Ф. — 189
Планш Г. — 40, 45
Платон — 71, 228
Платон, митрополит — 161,
162
Плеханов Г. В. — 37, 74
Победоносцев К. П. — 155
Погодин М. П. — 58, 67, 69,
70, 75, 95, 96, 120—123,
159, 330, 332, 333
Полевой Н. А. — 26, 42, 53, 108
Полежаев А. И. — 71, 123
Полонский Я. П. — 330

- Полочанинов В. И. — 300
Полуэктова Н. Н. — 290
Поляков М. Я. — 42
Попко Г. А. — 28
Попов А. И. — 302—304
Попов А. Н. — 67, 117, 118
Попова Е. И. — 75
Пригожин И. Р. — 228
Приставкин А. И. — 59, 61
Протасов Н. А. — 118
Протасова Е. А. — 255—258
Протасова М. А. — 255, 257
Птушкина И. Г. — 174
Пумпянский Л. В. — 224, 247
Пушкин А. С. — 13, 23, 24, 26,
32, 51, 53, 57, 71, 72, 79,
95, 105, 108, 110, 123, 125,
149—154, 163, 170, 183,
188, 211, 227, 229, 234,
237, 242, 255, 260, 289,
292, 308, 324, 344, 346,
347
Пыпин А. Н. — 74, 75, 91, 184
Пырьев И. А. — 205

Рабле Ф. — 87, 210, 226, 227,
238, 248, 249
Радищев А. Н. — 45
Раевский В. Ф. — 105, 106
Разгон Л. Э. — 63
Разин А. Е. — 345
Рамбах Ф. Э. — 263
Рейд А. — 216, 217
Рейнер — 303, 306
Рейсер С. А. — 275, 293
Рейхель М. К. — 174
Рётшер Г. Т. — 40, 45
Риго Р. — 107
Риль В. Г. — 112
Римский-Корсаков Г. А. —
282, 283, 300
Рихтер П. А. — 323
Ровда К. И. — 75
Родивановский — 285
Роднянская И. Б. — 75
Розанов В. В. — 160, 249
Розен, барон — 323
Розенцвейг Ф. — 247
Рославлев Л. Я. — 269, 285
Ростопчина Е. П. — 121
Рубинштейн Н. Л. — 74, 75
Рудницкая Э. Л. — 309
Рузавин — 315
Рульяр А. — 173
Рылеев К. Ф. — 105—107

Салиас Е. А. — 31
Салтыков-Щедрин М. Е. — 22,
58, 163, 164, 194, 198, 324
Самарин И. В. — 278—280
Самарин Ю. Ф. — 67, 69, 73,
74, 87, 89, 99, 112, 116,
120, 127, 129, 133, 140
Самойлова В. В. — 325
Самсонова А. Л. — 199
Санктис Ф., де — 38, 39
Сатин Н. М. — 274, 282, 285,
287, 288, 293, 298—305,
307—309, 322
Сахаров Л. И. — 322
Свайкин — 312
Свербеев Н. Д. — 136
Свердлина С. В. — 201
Сегал Д. М. — 216, 218
Селиванов И. В. — 126, 282, 286
Сент-Бёв Ш. О. — 36—38, 40, 46

- Сенковский О. И. — 50, 51, 86
Серафим, митрополит — 150
Серебреников Н. В. — 156
Серов А. Н. — 290
Скафтымов А. П. — 208
Сладкевич Н. Г. — 74, 75
Сладкович А. — 73
Случевский К. К. — 332
Смелянский А. М. — 203
Смирнова А. О. — 92, 96
Снежневский В. — 313
Соболевская — 335, 338, 339
Солженицын А. И. — 15
Соловьев — 112, 159
Соловьев А. К. — 28
Соловьев Вл. С. — 74, 141,
160, 221
Соловьев Г. А. — 192
Соловьев С. М. — 88, 165, 167,
170
Сонкина Ф. С. — 232—234
Соссюр Ф. де — 218—220
Спиридонов В. С. — 337
Срезневский И. И. — 94
Сталин И. В. — 213, 244
Сталь А. Л. Ж., де — 35, 38
Станиславский К. С. — 203
Станкевич Н. В. — 180, 185
Старикова Е. В. — 132
Стародворский Н. П. — 29
Стасюлевич М. М. — 32, 33
Стелловский Ф. Е. — 335
Столыпин П. А. — 29
Страхов Н. Н. — 53, 73, 331,
332, 335, 336, 338, 342,
347—350
Стрельников В. С. — 29
Стремоухов П. Д. — 321
Строганов С. Г. — 117, 119,
135
Струве В. Я. — 264
Суворин А. С. — 33
Судейкин Г. П. — 29
Сунгуров В. П. — 251
Сухово-Кобылин А. В. — 278,
279
Сухомлинов М. П. — 74, 75,
97, 98
Сухтелен П. П. — 344
Сырокомля В. — 17
Тайшин П. П. — 342
Тамарченко Н. Д. — 221
Тарасова Т. В. — 334, 338
Тареев М. М. — 157
Татаринов А. Н. — 293
Тацит — 104
Тетерка М. В. — 29
Тик Л. — 40
Титов В. П. — 104
Титуник И. Р. — 216
Товяньский А. — 95
Толстой А. К. — 24, 72
Толстой А. П. — 115
Толстой Л. Н. — 22, 40, 53, 77,
87, 109, 125, 126, 128, 188,
195, 197, 211, 213, 237, 348
Топоров В. Н. — 232
Трепов Ф. Ф. — 28, 332
Трефолев Л. Н. — 17
Трубецкой Е. Н. — 221
Трубецкой С. Н. — 169
Трусова Е. Г. — 223
Туниманов В. А. — 196
Турбин В. Н. — 221, 231, 232,
234

- Тургенев А. И. — 257, 259, 260, 261, 263—265
Тургенев И. С. — 32, 33, 72, 82—84, 164, 175, 177, 188, 190, 195, 213, 242, 293, 332, 333
Тучков А. А. — 282, 283, 285, 286, 288, 298, 300, 302, 305, 307
Тучкова Е. А. — 282
Тучкова Н. А. — 283, 284, 286, 309
Тынянов Ю. Н. — 220, 226, 227
Тэн И. — 40, 45, 46
Тютчев Ф. И. — 72, 125, 127, 211, 226, 227
Уальд О. — 37, 45
Уваров С. С. — 117
Украинка Леся — 56
Улыбышев А. Д. — 290—292
Ульянов А. И. — 29
Ульянова М. А. — 281, 296, 303, 309
Унамуно М. де — 49
Урусов М. А. — 276, 277
Успенский Б. А. — 12, 86, 189, 231—234
Успенский Н. В. — 86
Ухтомский А. А. — 234
Файман Г. С. — 203
Федор Иоаннович — 117
Федоров С. Н. — 349
Фейербах Л. — 292
Фет А. А. — 83, 190, 211, 289, 332
Фиалкова Л. Л. — 224
Фигнер В. Н. — 34
Филарет, митрополит — 149—151, 161, 165
Филиппов Т. И. — 73
Фишер Ф. Т. — 40, 45
Флобер Г. — 47
Флоренский П. А. — 74, 137, 156, 160, 218, 246
Флоровский Г. В. — 128
Фонвизин Д. И. — 63, 126
Франко И. Я. — 56
Фрейд З. — 246
Фрейденберг О. М. — 230
Фридлендер Г. М. — 36, 196
Фурье Ш. — 113, 347
Халтурин С. Н. — 28
Хемингуэй Э. — 44
Хитрово В. И. — 80, 81
Хитрово Е. М. — 150
Хихадзе Л. Д. — 275
Холквист М. — 224
Хомяков А. С. — 24, 67—75, 80—82, 87, 89, 91—94, 96, 101—112, 114—118, 120—142, 145, 160, 163, 169, 324, 335
Хомякова Е. М. — 139
Хомякова М. А. — 80, 82, 106, 128, 129, 135
Хрисанфов — 306
Христоф П. — 74
Хрущева Е. А. — 83
Цейтлин А. Г. — 36, 37
Ценкер — 299
Цимбаев Н. И. — 89, 98, 99, 101, 111

- Чаадаев П. Я. — 26, 32, 81, 87,
90, 111, 129, 133, 142
- Чебаевский Ф. — 313
- Чеботарева В. А. — 203
- Челаковский Ф. — 73
- Черкасский В. А. — 67, 81, 84,
89, 99
- Чернышевский Н. Г. — 33, 38,
39, 46, 53, 70, 71, 74, 122,
123, 178—202, 212, 241,
281, 311, 312
- Черняк Я. З. — 281, 283, 286,
299, 304, 311
- Чертков А. Д. — 26
- Чехов А. П. — 25, 211, 237
- Чижевский А. Л. — 234
- Чижов Ф. В. — 97, 99
- Читаенков А. — 299
- Чихачев — 275
- Чичерин Б. Н. — 21, 75, 134
- Чудакова М. О. — 203
- Чулков М. Д. — 114
- Шаль Ф. — 40
- Шамиль — 90
- Шаншиев Н. С. — 287, 309,
311
- Шатобриан Ф. Р., де — 38
- Шевченко Т. Г. — 56, 60, 91,
92, 314, 323
- Шевырев С. П. — 26, 67, 69,
70, 80, 104, 123
- Шекспир В. — 128
- Шеллинг Ф. — 71
- Шёнберг А. — 245
- Шереметев С. В. — 320, 321
- Шерер — 40
- Шестов Л. — 246
- Шиллер Ф. — 40
- Шилов М. С. — 340, 344,
346
- Ширинский-Шихматов П. А. —
118
- Шишков А. С. — 35, 67, 125
- Шлегели А. и Ф. — 40
- Шлейермахер Ф. — 118
- Шлыкова Т. К. — 293
- Шоу Б. — 237
- Штакеншнейдер Е. А. — 122
- Штильмарк — 272
- Штур Л. — 73
- Шуйский В. И. — 274
- Шумахер П. В. — 314, 322
- Щеглов Е. М. — 293
- Щепкин М. С. — 279, 280
- Щепкин Н. М. — 313
- Щербина Н. Ф. — 190
- Эберман В. М. — 316
- Эбнер Ф. — 247
- Эверс Г. — 261, 262
- Эверс Л. — 261
- Эдельсон Е. Н. — 332
- Эджертон В. — 49
- Эйнштейн А. — 243, 245
- Эльстон-Сумароков Ф. Н. —
315
- Эмерсон К. — 225
- Энгельгардт А. Н. — 29
- Энгельс Ф. — 94
- Эннекен Э. — 40
- Юдин П. Л. — 321, 340
- Юдина М. В. — 224, 248
- Юнисовы, крестьяне — 315

- Юрлов П. И. — 293
Юрьевская Е. М., св. кн. — 24
- Языков Н. М.** — 67, 103, 125,
163, 260, 263, 298
Якоби И. К. — 314
Яковлев А. Н. — 63
Якушкин П. И. — 316
Янковский Ю. З. — 91, 111
Янов А. Л. — 75
Яновская Л. М. — 203
Ясперс К. — 246
Яцунский В. К. — 275
- Berti G.** — 39
Bethea D. — 217
Buber M. — 247
Christoff P. K. — 75
Christvian R. F. — 215
- Corbet Ch.** — 39
Croisat m-me — 129
Hettner H. — 39
Hupel A. — 261
Mandelker A. — 217
Milne L. — 203
Morson G. S. — 225
Müller E. — 75
Proctor Th. — 39
Reid A. — 217
Riasanovsky N. N. — 75
Segal D. — 216
Titunik I. R. — 216
Voloshinov V. N. — 218
Walicki A. — 75
Wegner M. N. — 39
Wellek R. — 37
Wiskowatow P. — 266
Żyłko B. — 229

Научное издание

Борис Федорович Егоров

ОТ ХОМЯКОВА ДО ЛОТМАНА

Издатель А. Кошелев

Оригинал-макет изготовлен О. Лисиновой

Художественное оформление переплета С. Жигалкина и Ю. Саевича

Подписано в печать 20.07.2003. Формат 60×90^{1/16}.
Бумага офсетная № 1, печать офсетная.
Усл. печ. л. 23. Заказ № 3126.

Издательство «Языки славянской культуры».

ЛР № 02745 от 04.10.2000.

Тел.: 207-86-93. Факс: (095) 246-20-20 (для аб. М153).

E-mail: lrc-kozlov@mtu-net.ru

Каталог в ИНТЕРНЕТ <http://www.lrc-mik.narod.ru>

Отпечатано с готовых диапозитивов на ФГУП ордена «Знак Почета»
Смоленская областная типография им. В. И. Смирнова.
214000, г. Смоленск, проспект им. Ю. Гагарина, 2.

*

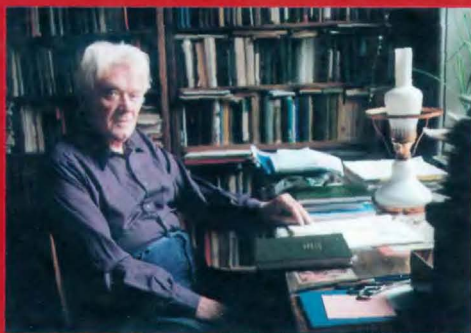
Оптовая и розничная реализация — магазин «Гнозис».

Тел.: (095) 247-17-57, Костюшин Павел Юрьевич (с 10 до 18 ч.).

Адрес: Zubovskiy 6-r, 17, str. 3, k. 6.

(Метро «Парк Культуры», в здании изд-ва «Прогресс».)

Foreign customers may order this publication
by E-mail: koshelev.ad@mtu-net.ru
or by fax: (095) 246-20-20 (for ab. M153).



Борис Федорович Егоров

(род. 1926) – профессор,
доктор филологических наук,
действительный член
Независимой академии эстетики
(Москва). В 1948 г. окончил
Ленинградский университет;
преподавал в вузах страны
и за рубежом; заведовал
кафедрами русской литературы
Тартуского университета
и ЛГПИ им. А. И. Герцена;
в настоящее время –
главный научный сотрудник
Института истории
(СПб.) РАН.

